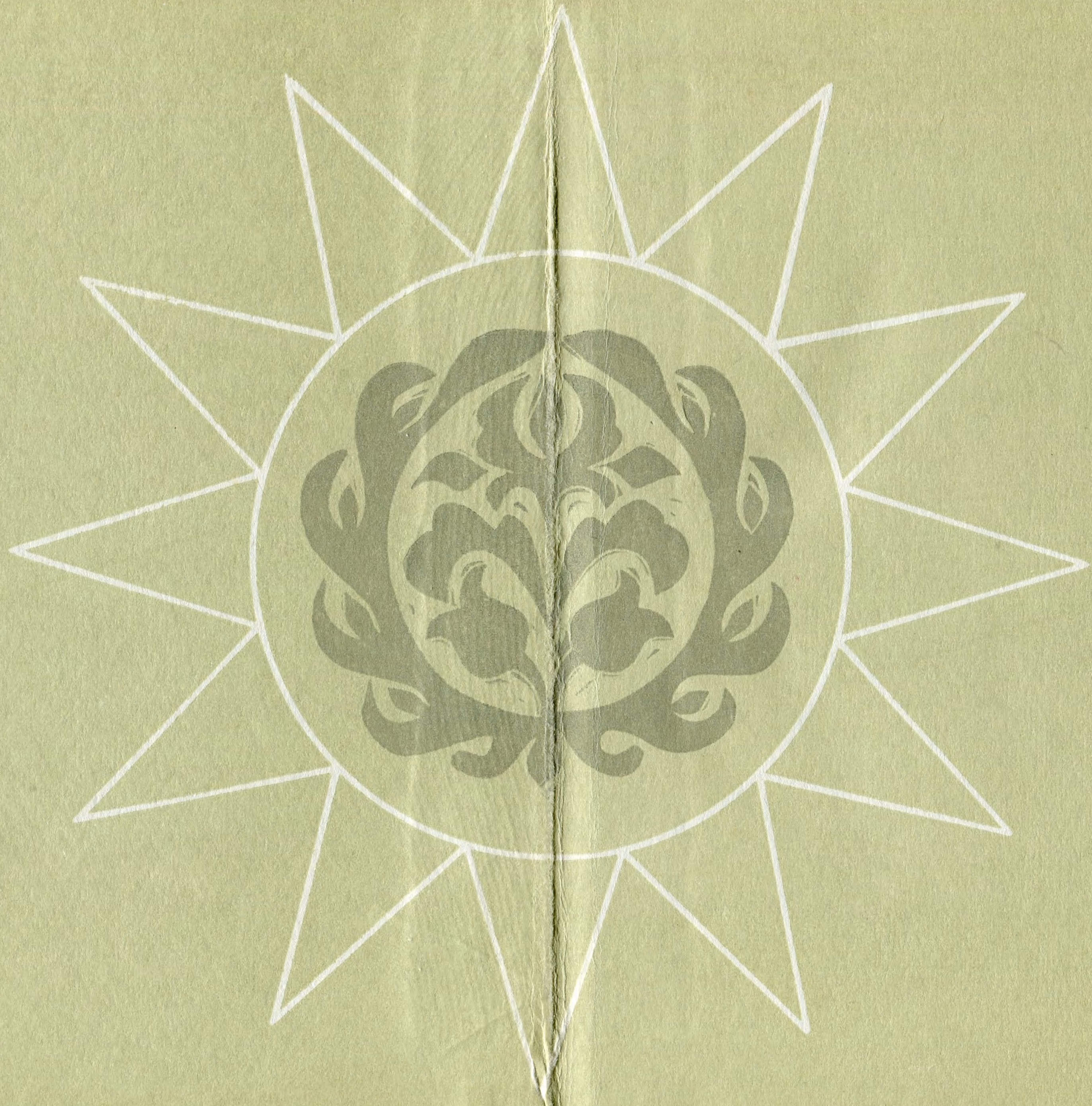




**СЕРГЕЙ БОЛДЫРЕВ**

**ПУТЬ  
НА  
ИНДИГИРКУ**









**СЕРГЕЙ БОЛДЫРЕВ**

---

# **ПУТЬ НА ИНДИГИРКУ**

*Повесть о том, что действительно было*



**ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»  
МОСКВА — 1975**

**Болдырев С. Н.**

**Б79** Путь на Индигирку. Повесть о том, что действительно было. М., «Сов. Россия», 1975.

208 с.

Писатель Сергей Болдырев— автор романов «Пламя снегов», «Решающие годы», повестей «В горах», «Трижды приговоренный». В своей новой книге «Путь на Индигирку» автор возвращается к тому времени, когда он, сотрудник газеты «Индигирский водник», работал бок о бок со своими героями в труднодоступных районах Якутии накануне и в первые годы Великой Отечественной войны.

В основу книги, посвященной трудовым будням речников Индигирки, положены действительные события из жизни людей, осваивавших дальний Север.

Б 11301—081  
М—105(03)75 94—75

9(С)26+9(С)27

**Сергей Николаевич Болдырев**

**ПУТЬ НА ИНДИГИРКУ**

Редактор А. Буртынский  
Художник В. Дудкин  
Художественный редактор В. Щукина  
Технический редактор В. Преображенская  
Корректор В. Данилова

Сдано в набор 15/VII-74 г. Подписано к печати 20/I-75 г. Формат бум. 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Физ. печ. л. 13,0. Усл. печ. л. 12,09. Уч.-изд. л. 13,83. Изд. инд. ХД-254. А09225. Тираж 50 000 экз. Цена 54 коп. в переплете. Бум. № 2.

Издательство «Советская Россия», Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25. Заказ № 2366.

# Часть первая

---





Ненастным выдался август сорокового года на рейде Индигирки в мелком арктическом море. Всю ночь вцепившийся якорями в песок бара<sup>1</sup> рейдовый пароходик «Шквал», на котором мы временно обосновались, швыряло из стороны в сторону. К утру ветер начал стихать. Глухие удары пятки руля о песчаное дно становились все реже и реже. Я поднялся с палубы каюты, где мы разлеглись на ночь на стеганках, и вышел наружу. Космы облаков неслись над самыми волнами, туманя даль. С кормовой палубы «Шквала», на которой я стоял, можно было рукой достать мутный гребень очередного вала, катившегося с носа. И все же ветер больше не срывал с волн пены и не оплетал их сетью ряби.

Мористее нас неподвижно, словно скала, врос в пенистые волны черный корпус большого грузового парохода «Моссовет». На нем мы приплыли сюда из Мурманска по Северному морскому пути. Но принимавшим с «Моссовета» грузы речным судам штормовой ветер сулил аварию, и они ушли ближе к земле, в устье Индигирки. Их совсем не было видно, и только одно из них, колесный плоскодонный пароходик, раскачивалось на волнах почему-то неподалеку от нашего «Шквала».

Перебарывая посвист стихающего ветра, с одиноко качавшегося речного парохода послышалось звонкое восклицание:

— Эй, капитан, любить будешь?

Там на корме, держась за буксирную арку, стояла худенькая девочка в светлой блузке с короткими рукавами. Удлиненный разрез глаз и широкое переносье изобличали в ней якутку. Сначала я даже не сообразил, кому она крикнула, потом вспомнил, что на мне непривычная морская форма, а на палубе никого, кроме меня, нет. Я смешался и отвернулся, сделал вид, что разглядываю волну у самого борта.

— Не туда смотришь! — крикнула она.

Я невольно поднял глаза. Ветер трепал у колен подол ее платья и спутавшиеся на плечах прядки смоляных волос.

— Давай лодку, приплыву к тебе, — донесся озорной возглас и залихватистый смех.

Знала бы она, что жить нам рядом, что мы еще встретимся.

Стекло рулевой рубки надо мной отодвинулось, выглянул сухо-

---

<sup>1</sup> Бар — подводный вал на небольшой глубине, отгораживающий устье реки от моря.



щавый человек в одной тельняшке, капитан «Шквала» Андерсен. Кивнул мне, сказал:

— Привыкла к мужикам девка. Не обращайтесь внимания. Заходите, — продолжал он, отворяя дверцу рубки.

Я поднялся по невысокому трапу и вошел в рубку. Приятно было, что капитан «Шквала» не оставляет без внимания меня, только что кончившего институт журналиста, приплывшего в распоряжение Индигирского политотдела. Ну что я для него в своих отутюженных черного сукна брюках и в таком же только темно-синем кителе? Не в пример той девчонке с речного парохода, он прекрасно понимает, что я никогда не видел моря и что морская форма на мне не более, как бутафория. В рубке я увидел висевший на переборке выцветший и потертый его китель, пуговицы совсем потускнели. И в первый раз мне стало стыдно своего шикарного вида, которым я наивно гордился и в поезде, и в Мурманске, и на «Моссовете», где в комфортабельных каютах чувствовать себя моряком было легко и приятно.

Девчонка на речнике обхватила себя за плечи и, спасаясь от холодного ветра, побежала по качающейся звонкой стальной палубе в кормовые каюты.

— Дуреха, — сказал Андерсен. — Лееров на корме там нету, не долго и за борт.

Девчонка благополучно добежала к трапу в каюты.

Капитан наклонился к начищенному медному рожку переговорной трубки и отдал распоряжение приготовиться к отходу.

— Надо у начальника речного пароходства спросить, когда возобновим перевалку грузов с «Моссовета», ветер стихает, — пояснил он распоряжение об отходе. — Как бы капитан «Моссовета» не ушел. Побойтся, что забьет льдом проливы, все бросит и уведет пароход. Да и мне, чем раньше, тем лучше обратно на Чукотку, в Певек. Я к вам только на время рейдовых работ, на Индигирке своего морского порта нет и в помине.

Машина ожила, корпус «Шквала» дрогнул. Лебедка потянула цепь якоря. Не дожидаясь, когда вся цепь будет выбрана, пароходик заспешил к «Моссовету» и подошел к его борту с подветренной стороны, качки здесь почти не было. Рулевая рубка рейдового пароходика едва достигала края борта морского великана. Андерсен надел свой потрепанный китель и, кивком пригласив меня, ловко полез по веревочному трапу на высокий борт. Не без опаски и я последовал за ним.

Начальник речного Индигирского пароходства Васильев, с которым собирался говорить Андерсен, и начальник политотдела Кирющенко во время шторма оставались на морском пароходе, приводили в порядок грузовые документы. Это были первые люди с Индигирки, которых я увидел три дня назад. Теперь мы застали их



в кают-компаний. Они сидели в глубоких креслах с парусиновыми чехлами и просматривали грузовые документы. Оба они, судя по осунувшимся лицам, не спали ночь, уточняя, что успели перегрузить на речные баржи и что еще, предназначенное для Индигирки, оставалось в трюмах «Моссовета». Начальнику пароходства Васильеву было лет сорок, редковатые его волосы торчали во все стороны, как наэлектризованные. У него было некрасивое, слишком широкое, с грубоватыми чертами лицо. Несмотря на усталость, весело светились живые глаза. Носил он охотничьи с низко отвернутыми голенищами сапоги, что придавало ему несколько экзотический вид. Мое главное начальство Кирющенко был сдержаннее и недоступнее. Китель на нем был помят, рукава наезжали на руки до самых пальцев. Мне он показался человеком простоватым и сейчас чем-то раздраженным. Едва оба они три дня назад появились на «Моссовете», приплыв на речных судах с далекой, не видной отсюда «земли», я почувствовал, что между ними идет внутренний поединок, смысла которого не мог понять. Чего-то они никак не поделят, в чем-то не могут согласиться друг с другом.

— Что будем делать? — спросил Андерсен, обращаясь к Васильеву. — Шторм стихает, надо бы речные суда подтянуть да начать разгрузку, каждый час дорог. Если ветер еще раз поднимется, капитан уведет «Моссовет», riskовать не станет, я давно Рынцина знаю, из поморов, дядька крепкий. Попомните мое слово, без грузов останетесь.

— Прикажи своему радисту вызвать суда из устья Индигирки, — сказал ему Васильев. — Да, пожалуй, ты здесь больше и не нужен, можешь топать на Чукотку в Певек, тоже конец не малый...

— Рано его отпускать, — суховато возразил Кирющенко, — рано, товарищ Васильев. «Шквал» еще может понадобится.

Светлые глаза Кирющенко, едва заметно щурясь, смотрели строго; обветренные, все в морщинках губы были плотно сомкнуты.

— Позвольте мне распоряжаться, — сказал Васильев. — За разгрузку я отвечаю, подменять начальника пароходства незачем.

— Отдавать распоряжения будешь ты сам, — сказал Кирющенко, уперев в Васильева холодный взгляд. — Рекомендую тебе, как коммунисту, не отпускать рейдовый пароход. Ответственность на мне не меньшая, чем на тебе, забывать этого не надо.

Андерсен, поглядывая то на одного, то на другого, примиряюще сказал:

— До Певека я в любое время дойду, спешить мне некуда, по дождю. Сейчас радисту скажу, чтобы вызывал суда из устья...

— Если сам останешься, дело другое, — сказал Васильев, как бы ставя точку.

— Один-то ваш пароход здесь, — сказал Андерсен, — «Индигир-



ка». Так и не ушел в реку, с вечера качается, небось вся команда от волны полегла.

— Как здесь?! — воскликнул Васильев, поднимая на Андерсена блеснувшие гневом глаза. — Зарылись мы в накладных, некогда было пойти взглянуть.

Кирющенко понимающе хмыкнул, сказал:

— Пьянствует опять капитан Лиев. Это точно. Взял бы ты его в оборот, товарищ Васильев. Так и пароход недолго угробить.

— Я с ним разберусь, — ответил Васильев таким тоном, точно отвергал вмешательство Кирющенко в свои отношения с капитаном «Индиgirки».

Андерсен встал и вразвалочку вышел из каюты.

— Сколько я его знаю, всегда такой, — сказал Васильев, провожая его теплым взглядом. — И спорить не станет, и в беде не оставит. Настоящий моряк!

Голос Васильева отдавал мужественной хрипотцой. Некрасивое лицо, освещенное улыбкой, совершенно преобразилось, стало мягче и теплее.

— Пойду-ка взгляну, где «Индиgirка», — сказал Кирющенко, словно возражая в чем-то начальнику пароходства, и тоже вышел.

Васильев крепко откашлялся и потупился, я понял, что он не пойдет смотреть, где «Индиgirка».

Мне хотелось понять этого человека, узнать, что происходит между ним и Кирющенко, но сказать об этом прямо было нельзя, и я спросил, трудно ли работать на Индиgirке.

— Неосвоенная река, — с охотой заговорил он, — всего пять лет назад, в тридцать пятом, первые пароходы морем перегнали. Ни береговой обстановки, ни пристаней... А душе широко живется... — неожиданно заключил он, и глаза его опять заискрились. — Все своими руками — и погрузочные работы, и строительство домов, и дрова для пароходов... Как на пустынном острове. Летом не пройти, не проехать, никаких дорог, только река. — Он посмотрел на меня и хриловато рассмеялся. — Вижу, не верите, — сказал он.

— А город Зашиверск? — немного запальчиво сказал я.

На карте в Большой советской энциклопедии стояло это название.

Васильев перестал смеяться.

— Старики говорят, в кривунах за шиверами, отсюда вверх по реке с тысячу километров, стояла в древности казацкая крепость, — обстоятельно и как-то строго заговорил Васильев. — Оттого и название: Зашиверск, за шиверами. Не раз доводилось мимо проплывать. Холмики под скалой стрелками дикого лука поросли, и стоит там старая-престарая церквушка. Смотришь с парохода, тоска одолевает. Говорят, люди давным-давно вымерли от какой-то болезни...



## II

Васильев нахмурился и замолчал. Вот и рассказать умеет интересно, и к судьбе тех людей не остался безразличен. Молчал и я, боясь потревожить его неловким вопросом.

— Про Семена Дежнева слышали? — негромко спросил Васильев.

Я кивнул.

— Состоял на казачьей службе в Тобольске, затем в Енисейске, — продолжал Васильев. — Потом объявился в Якутске. Установлено историками, без двух годов триста лет назад добрался до Индигирки и проплыл ее всю до Северного Ледовитого океана, где и мы сейчас плывем. Вот жизнь была! Ну а мы что — хуже дежневских казаков? Вот так подумаешь — и отступать, когда трудно, не захочется... — Он заговорил со свойственной ему живостью: — На морской рейд чуть не опоздал. На плоту пришлось по реке Аркале, притоку, сплывать в Индигирку. Катер мой на мель сел. Ходили разведать, можно ли геологов в верховья Аркалы, где охотники уголь нашли, катером забросить, и на мель напоролись.

— Как же геологов на Аркалу забросить? — живо спросил я, думая о том, что и я теперь буду жить этими заботами. Дела будничные разом заслонили собой подвиги дежневских казаков.

— По первому снегу, — сказал Васильев. — А путь немалый: триста километров от затона по тайге. Да-а, — протянул он, — жалко, сорвалось катером! Один неделю сплывал на плоту... Течение несет быстро, тишина, зверь непуганый, то лису увидишь на водопое, то медведя, лоси всем семейством у воды топчутся. Ну это я немного увлекся, к делу не относится... А вы спрашиваете, трудно ли? Я вам по-другому отвечу: интересно! Правда, это мое путешествие некоторым не понравилось...

Открылась дверь, вошел Кирющенко. Мой собеседник замолчал и нахмурился.

— А я-то думал, тут город... — сказал я, не обращая ни малейшего внимания на появление своего начальства.

Кирющенко окинул нас, мирно расположившихся в покойных креслах, неприязненным взглядом и, обращаясь ко мне, сказал:

— Город! Не туда приехал, может, и будет здесь когда-нибудь, лет через десяток, город, если найдем что-нибудь в земле... — И, видно, объясняя свою резкость, добавил: — Говорят, ты, пока плыли сюда, только и делал, что разгуливал по палубе в своем отутюженном виде. Арктикой любовался и самим собой. А Рябов отстоял несколько вахт в кочегарке.

Рябов, скромный человек в очках, с откинутыми со лба длинными прядями волос, был назначен редактором политотдельской газеты, в которой мне предстояло работать литсотрудником. Замечание



Кирющенко вогнало меня в краску, возражать было нечего, самим собой я любовался, пожалуй, даже больше, чем Арктикой.

— Вот что,— решительно проговорил Кирющенко,— в креслах сидеть некогда, возьмись-ка за организацию бригады грузчиков. Геологов позови, целая экспедиция приехала, они уже на «Шквале». Андерсен прав, без грузов можем остаться... «Индибирка» и верно рядом стоит,— сказал Кирющенко и уперся в Васильева своим холодным, немигающим взглядом.

Васильев опустил глаза и ничего не ответил. Шея у жесткого ворота кителя налилась крутым румянцем.

Мне хотелось подождать, послушать, что они еще будут говорить об «Индибирке», но Кирющенко напустился на меня:

— Шел бы, пока Андерсен у борта. Отвалит на рейд на якоря, и не доберешься до него.

Я отправился на «Шквал».

К середине дня вокруг «Моссовета» мерно покачивался на стихшей волне весь индигирский флот: вдобавок к «Индибирке», что самовольно осталась на морском рейде, несколько колесных пароходов, плоскодонные речные баржи и даже одна пятисоттонная морская с глубокой осадкой. Целый плавающий город!

Моя бригада из геологов и бухгалтеров перебралась на палубу одной из речных барж. Мы столпились неподалеку от трюмного люка, наблюдая, как баржевые швартуются к высокому борту «Моссовета». Работали они быстро, споро, и лишь один среди них, крепкий коренастый якут с развалистой походкой, выделялся своей неопытностью. То он хватался за крученый, неподатливый, в руку толщиной, канат не там, где надо, то мешался под ногами и его незлобиво отталкивали, чтобы быстрее накинуть канат на кнехты и задержать баржу у борта морского парохода. Матрос-якут покорно отходил в сторону и сейчас же опять бросался на помощь товарищам. Если успевал сделать то, что делали остальные, его никто не замечал, но стоило ему замешкаться, как опять его оттесняли и какое-то время он стоял в стороне, выбирая момент, чтобы прийти на помощь товарищам.

— Упорный малый,— с усмешкой сказал кто-то из моей бригады.

Поодаль от нас, сунув руки в карманы ладно сшитой телогреечки, зябко вобрав голову в плечи, стояла женщина в легкой юбке и сапожках и тоже следила за неопытным матросом. Спутавшиеся волосы ее выбивались из-под платка, я не сразу признал в ней ту, что утром кричала мне с палубы речного парохода.

— Данилов! — позвала она, когда матрос-якут оказался еще раз оттесненным.

Он отмахнулся от нее, бросился помогать собирать в бухту лишек каната, и опять его кто-то из матросов опередил.



— Да поди ж ты сюда! — раздраженно прикрикнула она и сказала что-то по-якутски.

Данилов подошел, она быстро заговорила на своем языке. Он односложно отвечал. Отходя от нее, сказал с акцентом, неправильно произнося слова:

— Нада работать... Матрос хочу... Нада...

Он снова засуетился, больше мешая своим товарищам, чем помогая им.

Озорное чувство заставило меня приблизиться к девушке в стеганке и, никак не называя ее, сказать:

— Ну вот я и пришел...

Она отчужденно, не узнавая, взглянула на меня. И тотчас блеснула улыбка, она засмеялась, запрокидывая голову.

— Капита-ан... — протянула она, переставая смеяться, наверное, восклицанием этим давая понять, что узнала меня, и опять звонко расхохоталась.

К нам подошел один из матросов, высокий, гибкий, как тростинка, с холодными синими глазами, в прожженном, с рваными полями брезентовом плаще, подвязанном обрывком веревки.

— Чего, Маша, он привязался к тебе? — спросил парень, будто и не замечая меня, но потеснив неожиданно сильным плечом.

— Так!.. — сказала Маша и отвернулась.

— Растакалась!.. — угрожающе воскликнул парень.

— А тебе какое дело? — зло сказала Маша. Улыбка сбежала с ее лица, взгляд стал острым, неприятным.

— Иди в рубку к Наталье, ветер холодный, — настойчиво произнес парень.

— Что ты смотреть за мной вздумал? — сказала Маша. — Тебе-то что, с кем я разговоры веду?

— А ничего, — огрызнулся парень. — Гляди, Наталья скажу...

Маша круто повернулась спиной к нему, поправила платок и вытащила из кармана телогрейки тетрадь и карандаш — принадлежности, как я успел узнать, учетчика грузов, тальмана.

Из шкиперской рубки вышла девушка, тоже смуглолицая якутка, в малиновых лыжных брючках, туфельках и не по росту большой мужской стеганке, свисавшей с плеч, с длинными рукавами, в которых тонули ее руки. На волосах, аккуратно подобранных сзади и лежавших волной на воротах стеганки, кокетливо, слегка набекрень, сидела меховая шапочка. Совсем не дешевой городской вид; если бы не мужская стеганка. Чья одежда? По размерам, наверное, этого парня. Вот оно что...

Девушка подошла к Маше, они о чем-то негромко заговорили.

— Федя! — позвала она, поворачиваясь к парню в прожженном плаще.



Тот, опустив руки в брезентовых рабочих рукавицах, подошел к ним.

— Ну, пришел... — пробормотал Федор.

— Зачем ты кричишь на Машу? — строго, словно выговаривая ребенку, спросила она.

— Лезет вон к посторонним... — парень кивнул в мою сторону. — А потом сама же будет жалиться...

— Наталья, не слушай его... — сказала Маша.

— Я тебя сколько раз просила не быть грубым. Неужели так трудно? — строго продолжала та, которую называли Натальей.

Федор стоял перед ней, потупившись, и молчал.

— Иди, раскрой трюм, — сказала она.

Федор, свирепо цокая подковками сапог по стальной палубе, покорно отправился к люку и принялся снимать брезент, прикрывавший сверху доски, которыми был задраен люк. Кто-то из наших попытался помочь ему, но парень нарочно с силой рванул край брезента, и помогавший выпустил его из рук.

— Обойдемся... — с усмешкой пробормотал Федор.

Тотчас к нему подбежал суетливый матрос, которого Маша назвала Даниловым, и, схватившись за грубую складку материи, принялся помогать стягивать брезент с люка. Я ждал, что Данилова постигнет та же участь, что и одного из наших. Ничего подобного! Раздражение Федора исчезло, он спокойно сказал Данилову, чтобы тот перехватил в другом месте, оба они согласно рванули тяжелый, неподдающийся брезент и, наклоняясь вперед, потащили его по палубе. Обнажились прикрывавшие люк побитые выщербинами замызганные доски. Оба матроса принялись дружно открывать люк. Когда дело было сделано, Данилов отошел к борту с просветленным лицом. Я понимал его: может быть, впервые к нему отнеслись со вниманием. И кто же? Тот самый парень, который так грубо разговаривал с Машей и оттеснил меня. Теперь я готов был простить ему и грубость и бесцеремонность.

Но за Даниловым следили не только мы. К нему подошла Наталья и, участливо заглядывая в лицо, заговорила с ним. Ветер относил ее слова, но по тому, с какой благодарностью смотрел на нее молодой якут, я понял, что она хвалит его работу. Кто же она, эта якутская девушка, откуда она?

### III

На морском пароходе тоже стягивали брезенты с люков — это было понятно по доносившимся сверху командам; лебедчики — судовой врач и механики, я их знал — готовили механизмы, направляли стрелы лебедок над трюмами; тальманы с пачками грузовых



документов стояли там у борта. И на соседних баржах все было в движении, раскрывали люки, чалились к бортам «Моссовета». И лица у всех были посветлевшими, радостными. Не странно ли: предстояла трудная, изматывающая работа сутки напролет, а люди были, как на празднике.

Мы опустились на слань трюма. В проем люка на наши головы падал широкий поток света. Лишь дальние углы трюма таились в темноте. Наверху заскрипели стрелы лебедок, послышались команды: «вира», «майна», «стоп», «вира»... Над люком повис загруженный мешками строп, осторожно опустился на слань у наших ног. Я неумело подставил свою спину навалыщикам. Никогда не думал, что восьмидесятикилограммовый мешок с мукой так тяжел. Под первым мешком, едва отойдя от стропа, я поскользнулся и свалился. И обидно стало, и краска стыда залила лицо, и сердце билось, как при беге. Навалили мне на плечи уроненный мешок, и шел я под ним с такой опаской, точно нес ящик с хрусталем. Донес. Вернулся за новым мешком, и еще за новым... После десятого или одиннадцатого спросил себя, долго ли выдержу? И когда разгрузили строп, привалился к штабелю мешков в глубине трюма, хватая губами воздух.

Вспомнил, как напористо говорил со мной Кирющенко, и дал себе слово: «Выдержу». А если бы он был мягче, хватило бы у меня упорства продолжать? Может быть, он и прав в своем неуступчивом стремлении укрепить волю людей, чтобы здесь, один на один со стихией, выстоять, разгрузить пароход в кратчайший срок, взять все, что предназначалось «Индибирке»? Может быть, так и нужно — без благодушия, без умиленности, без снисхождения друг к другу? Слишком сурова жизнь...

И злость на Кирющенко, и невольное уважение к нему охватили меня. И когда повис над трюмом новый полновесный строп, я оттолкнулся плечом от пыльного штабеля и пошел к ненавистным мешкам. «Работать, работать...» — шептал я сквозь зубы.

Во время перекура наша бригада, составленная из геологов и двух бухгалтеров, собралась у соседнего люка. Там были настоящие грузчики-матросы с речных судов, команда «Шквала». Любопытно было на них посмотреть. Среди грузчиков увидел я капитана Андерсена в его неизменной тельняшке, с пустым мешком, накинутым на голову и плечи, предохранявшим от муки и мусора, как и у остальных. Сначала подумал, что ошибся. Вгляделся — нет, Андерсен.

Грузчики столпились у трапа вокруг двух споривших. Один был немолод, с выгоревшими волосами, высокий, крепкий, звали его Луконин. Второй, тот самый парень, который оттеснил меня от Маши.



— Слабо, Федор! — говорил спокойно Луконин. — Куда тебе, мамкино молоко не обсохло...

— А ну, спорим, — горячился, наступая на него, парень. — Спорим, боцман.

— С кем взялся спорить, Федя, — сказал Андерсен отечески. — На таких Лукониных свет держится.

— А тебе что? — без всякой почтительности к капитану огрызнулся Федор.

Андерсен не принял за обиду возглас парня, сказал:

— Покажи себя, Федя, а потом поговорим.

— Пусть прежде боцман сладит, — резанул парень.

На слани лежало несколько, видимо, нарочно оставленных мешков. Луконин подошел к ним, сказал:

— Кто навалит?

Два добровольца подскочили, подняли мешок, бесперемонно бросили на сильное, не дрогнувшее плечо боцмана, подняли второй — и не смогли высоко забросить, попросили помощи. Вчетвером водрузили на Луконина второй мешок. Сильное тело боцмана напряглось, под тяжестью двух мешков — сто шестьдесят килограммов! — стало стройнее, красивее. Уперев локоть в бок, придерживая им мешки, он легко пошел в глубину трюма и так же легко перевалил оба мешка с плеча на верх штабеля.

Ребята зашумели, кто-то хлопнул вернувшегося от штабеля Луконина по плечу с такой силой, что меня бы так — наверное, споткнулся, а он и не двинулся, и ладонь товарища отскочила, как от дубовой доски.

Кто-то потянул меня за рукав, я оглянулся. Позади стоял Данилов.

— Зачем нада два таскать? — спросил Данилов и посмотрел на меня, напряженно вытянув шею. С наивным любопытством в глазах ждал ответа.

— На спор, — сказал я.

— Зачем нада на спор? Можно один таскать, он два таскал. Зачем два таскал?

— Спорят, кто сильнее, — сказал я и отвел Данилова в сторону, чтобы никто не слышал вопросов парня, чего доброго, еще подняли бы на смех. — Сейчас Федор понесет два мешка, чтобы не уступить Луконину. Понял?

— Да, понял, — Данилов часто закивал. — Теперь понял, — сказал он и благодарно взглянул на меня, опять подошел к мешкам, встал за спинами грузчиков и стал следить за происходящим.

Федор молча подставил острое плечо под мешок: выпрямился, и синие глаза его, казалось, стали еще синее. Андерсен помог навалить на парня второй мешок.

— Третий! — с натугой сказал Федор.



— Хватит,— повелительно сказал Андерсен,— грыжу захотел?  
— Третий! — упрямо сказал Федор.  
— Иди! — Андерсен легонько хлопнул его по плечу.— Не будем мы тебя калечить.

Подняли было третий мешок, но Андерсен помешал. Спорить с ним не стали, бросили мешок на слань.

— Иди, иди,— добродушно сказал кто-то сбоку,— капитан правильно говорит.

Федор понес мешки к штабелю.

Данилов выбрался из-за спин грузчиков, сказал, глядя на Луконина:

— Ладна, давай буду два таскать...

Под смех грузчиков, ему навалили два мешка, он согнулся под ними и, быстро переступая короткими сильными ногами в ичигах, заспешил в глубину трюма и почти одновременно с Федором перевалил мешки со спины на штабель.

Сверху раздался крик:

— Принимай!

Над трюмом повис загруженный доверху строп.

Федор, возвращаясь от штабеля, сказал:

— Мы еще с тобой потягаемся, боцман.

— Ладно, потягаемся,— спокойно сказал Луконин.— Навались, братва, каждый час дорог.

Не знаю, что произошло в душах этих людей, работа пошла бравее, как непривычно для меня сказал кто-то из них, с какою-то удалью, с веселыми возгласами, с беготней под мешками, будто полегчали мешки.

Мы, «интеллигенция», вернулись к своему люку, и нам тоже показалось, что мешки стали легче. Привыкли, что ли? А может, есть в человеке сокровенные запасы энергии, которые открываются лишь в какие-то особые минуты бытия?

Во время следующего перекура я долго украдкой разглядывал Луконина. Пожалуй, понятнее других был мне этот спокойный простой человек. Неподалеку от него сидел на мешках Данилов и улыбался, поблескивая белыми зубами, оглядывая лица товарищей.

Разгрузка закончилась ночью, на вторые сутки после шторма. Светил меж черных ленивых туч обломок луны. Масляно поблескивало в желтом лунном свете море. Потеплевший ветерок оведал лицо, будто пароходы стояли где-нибудь на Черноморье. Повернешь голову и увидишь колонны кипарисов и огни южного портового города. Изменчива, удивительна Арктика!

В темноте «Шквал» развез нас по речным пароходам. Кирющенко сам распорядился, кого из пассажиров на какой пароход. Были у него на этот счет какие-то свои соображения. Меня он направил



на «Индиگیرку» — тот пароход, что оставался в шторм на морском рейде. Когда «Шквал» проходил мимо пароходов, чтобы высадить нас, я прочел над колесом одного из них в свете бортовых огней название: «Память двадцатого августа». Принялся перебирать в мыслях торжественные даты и никак не мог понять, с чем связано название. Решил, что просто не знаю каких-то важных событий.

Я остановился на баке — носовой палубе «Индиگیرки» и тоскливо вглядывался в ночь, ловил меркнущие огни «Моссовета», уходившего на Чукотку.

Мимо меня в сумраке пробежала Маша, приметная своей легкой стремительной походкой и худенькой фигуркой. Узнав меня в темноте, она вернулась.

— Ты зачем у нас, капитан? — спросила она, близко подходя и заглядывая мне в лицо.

— С вами остаюсь, — сказал я. Мне было не до шуток, и я смотрел на нее сумрачно и строго.

— С нами? Такой... пригожий? — В голосе ее послышалось искреннее удивление.

— Маша, откуда ты? — спросил я.

— Я? — Маша на мгновение задумалась, наверное, стараясь понять, почему я спрашиваю ее об этом. — Из тайги, — сказала она. — Помогаю Дусе на камбузе. Зачем тебе?

— А та, вторая, Наталья, кажется... Кто она?

— Она тебе нравится? — спросила Маша, приближаясь ко мне, и негромко рассмеялась. — Федор за нее убьет.

— Федор за тебя заступался, — сказал я.

— По старой памяти, — сказала Маша и звонко рассмеялась.

Она повернулась и стремительно побежала прочь. Стальная палуба легко вызванивала под каблучками ее сапожек.

До слуха моего донеслись произносимые шепотом, хотя и довольно явственно, отменные ругательства. Надо мной на капитанском мостике, опершись руками на леера и широко расставив ноги в сапогах, стоял высокий, в перехваченной ремнем телогрейке человек. В сумраке все же можно было увидеть, что у него вытянутое лицо с вдавленными щеками, нос горбинкой. Я узнал его: капитан «Индиگیرки» Линеv. Едва я повернулся к нему, ругательства прекратились. Он был совершенно пьян, Кирющенко был прав. Линеv отошел от лееров и скрылся в рулевой рубке. Заработала машина, послышались удары плиц о воду, колеса вращались все быстрее, ожесточеннее, наматывая пенные струи. Пароход пришел в движение.



## IV

Позади меня на капитанском мостике кто-то разговаривал с капитаном, интонации были раздраженными, хлопнула дверь рубки.

Я упорно не поворачивался на голоса. Какое мне дело, в конце концов, и до ругани капитана, и до того, что он пьян, и что там на мостике идет какая-то возня. К черту!

По трапу загрели кованые сапоги. Кто-то спускался ко мне на палубу, впечатывая каждый шаг. Так шагать капитан не смог бы...

— Прошу покорно извинить, — слышался за моей спиной густой басок, — вы начальство наше, как я по одежке вашей понижаю? Рекомендуюсь: старпом Коноваленко.

Передо мной стоял кряжистый бородатый дядька без фуражки, лохматый. Одутловатое лицо, хитроватые глазки.

— Что вам надо? — спросил я довольно враждебно, подумав, что и он, наверное, не трезв.

Он, усмехаясь, сказал:

— Поскольку вы присланы к нам из Москвы, пойдите поговорите с капитаном, — он кивнул на мостки. — Меня, старпома, он слушать не желает. Ведет речной пароход в открытое море. Связывать его, что ли? Под суд неохота идти, тем более, что мне в случае чего многое могут припомнить...

— Но ведь он пьян, как же с ним разговаривать? — неуверенно спросил я.

— Эка невидаль — пьян, — Коноваленко усмехнулся. — Вы-то начальство, вам как с гуся вода. Чистенький, отглаженный, может, еще и партийный впридачу.

— Комсомолец, — сказал я и пожалел о своей откровенности, он явно насмехался надо мной.

— Н-да... — протянул он, — только крылышков не хватает...

— Каких крылышков? — не понял я.

— Светленьких, лебединых, в церквах на потолках малюют...

Я обозлился, сказал:

— Старпом, идите на мостки и заставьте капитана повернуть назад...

— Вот это другой разговор, — одобрительно сказал дядька, — так с нами и надо. Только я все-таки к нему больше не ходок, драться неохота, самоуправство припишут. Зайдите к радистке, прикажите ей отправить радиограмму на табор Васильеву, меня она не признает, ей только капитан может приказать. А вас она послушает, вид у вас такой... Испугается и послушает. Потом прошу в мою каюту, рядом с радисткой.

Он повернулся и отправился к себе, оставив меня наедине с мой-



ми сомнениями: на меня взвалили ответственность за то, за что я не мог отвечать.

Каюта радистки оказалась узкой, полутемной клетушкой. На переборке была смонтирована аппаратура, у столика, наглухо прикрепленного к переборке, с наушниками на голове, сгорбившись над стопкой листов, сидела женщина и быстро записывала пицавшие в наушниках сигналы. Она услышала, как я вошел, и, не глядя, отрицательно покачала головой, предупреждая, чтобы ей не мешали. По округлой щеке, которую я видел сбоку, и волне темных прядей за плечами, я узнал Наталью. Она кончила записывать, обернулась ко мне и невольно встала. Крупная, статная, с неширокими девичьими плечами.

Я сказал, что прошу передать на табор начальнику пароходства радиограмму. Она молчала. Я взял со столика чистую четвертушку бумаги и составил текст: «Распорядитесь капитану «Индикирки» повернуть табору тчк Идем открытое море зпт может быть авария тчк».

Она прочла.

— Вы из Москвы? — спросила она, глядя на меня чуть исподлобья. Взгляд ее был немного диковат и немного враждебен. — Какое-то начальство? — И объяснила свой вопрос, холодно добавив: — Я подчиняюсь только капитану.

— Из Москвы, — сказал я, — работник политотдела. Надо срочно передать, — продолжал я не терпящим возражения тоном. — Пароход может оказаться в опасности.

— Хорошо, — покорно сказала она и совсем по-детски спросила: — Мне не попадет?

Голос ее вибрировал, как сильно натянутая струна.

— Не попадет, можете быть спокойны.

Пряди волос закрывали ее виски и уши, глаза смотрели строго, яркие губы выделялись на смуглом лице. Она окинула меня быстрым настороженным взглядом и опустилась за столик. Щелкнули переключатели, тускло, угольно засветились лампы передатчика.

Через десять минут я читал полученный радисткой ответ: «Приказываю взять курс устье Индикирки тчк Случае неисполнения пойдете под суд тчк Начальник пароходства Васильев зпт начальник политотдела Кирыщенко».

Читая радиограмму, я мельком глянул на радистку. Она стояла, опираясь о край столика тонкими смуглыми пальцами руки и, слегка покачиваясь, поджав губы, следила за моим лицом. Я кончил читать, она опустила глаза.

— Отнесите капитану на мостик, — сказал я тоном приказа, — объясните, что на таборе заметили отсутствие парохода и потому прислали эту радиограмму.

Я хотел оградить ее от неприятностей. Нагнув голову, пряча от меня лицо, она тихо, враждебно сказала:



— Врать я не стану...

Она тряхнула головой, сторонясь, быстро прошла мимо меня и скрылась за дверью. Я вышел на палубу следом за ней. С трепещущим на ветру листком в руке, высвеченным тусклой электролампой над каютой старпома, она избегала по ступенькам трапа на мостик.

Я постучал в дверь старпомовской каюты.

— Прошу, прошу, — слышался за дверью знакомый басок, — для начальства моя каюта всегда нараспашку.

Старпом сидел на деревянном диванчике за столом, уставленным бутылками. Раскроенная надвое копченая рыбина с нежным жемчужно-белым мясом лежала тут же. Подле нее красовался полуметровый кинжал с остро отточенным лезвием. На стене каюты висела двустволка, рядом — книжная полочка, забитая произведениями классиков древней литературы — Эврипид, Аристотель, Гомер... Ну и ну!

Коноваленко оглядел меня нарочито пристальным взглядом — от новеньких сапог, флотских суконных брюк, кителя с иголки с горящими на свету электрической лампочки пуговицами, до застегнутого на оба крючка стоячего ворота.

— Блеск! — воскликнул он. — На море в первый раз?

— В первый, — угрюмо сказал я, уже однажды, в присутствии Андерсена, пережив неловкость за свой бутафорский вид.

— Люблю откровенность. Присаживайтесь, гостем будете. Водки? Спирту? — Коноваленко смотрел на меня смеющимися глазами.

— Не пью, — сказал я, опускаясь рядом с ним на диванчик.

— Верю, — отвечал он. — Однако со мной надо выпить, тем более за спасение парохода. Радиограмму вы отправили?

— Радистка понесла на мостик приказание повернуть к табору.

— Спирту не наливаю, человек вы, сам понимаю, к спирту не приученный, а водочки на досуге отведайте. Неужто в Москве и водку перестали пить?

Он налил в стакан водки, себе плеснул из другой бутылки.

— Рыбку придется руками. Ни вилок, ни тарелок не держу, отмывать лень.

— Это ваши книги? — спросил я, отодвигая стакан и кивая на полку с греками.

— Какой разговор! Читаю в свободное время, хотите на память, Аристотеля?

— Ну зачем же?.. — великодушно сказал я.

— Эка невидаль, греки! — Я и Макса Зингера лично знал. О Севе пишет, слыхали?

Макса Зингера я лично не знал, поскольку совсем недавно лишь кончил литературный институт и пишущей братии среди моих знакомых еще не числилось, но очерки его об Арктике в «Известиях» читал.



— Слыхал, — сказал я.

— И что он только пишет! На одной зимовке мы давали салют в честь праздника. Я стрелял из ружьишка, вот оно висит, из обоих стволов. А Макс пишет: залп салюта прогремел в белой пустыне! Это как называется? Какой же залп, когда всего одно мое ружьишко?

— Ну уж это вы придираетесь, — сказал я.

Коноваленко опять принялся оглядывать меня от сапог до ворота кителя. От этого взгляда мне захотелось оттянуть душивший ворот.

Старпом спросил:

— А вы-то кем будете?

— В газету к вам, в политотдельскую...

— В га-зе-ту?.. — сокрушенно покачал он головой. — Может быть, я что-нибудь не так сказал о газетчиках?

Снаружи послышался гудок какого-то парохода.

— Это еще что? — спросил старпом. — Откуда пароход в открытом море?..

Мы оба рывком поднялись и выбежали на палубу. Наша «Инди-гирка» продолжала идти в темное море. Видимо, радиограмма с угрозой отдать под суд не возымела никакого действия. Сзади нагонял нас быстроходный винтовой «Шквал». Его бортовые — рубиновый и зеленый — огни ярко светились, из трубы рвался густой чернильный дым. Несомненно, Андерсена послали в погоню за «мятежной» «Индигиркой». Вот когда я одобрил предусмотрительность Кирыщенко, рейдовый пароход и в самом деле отпустить вчера было рано.

## V

Прерывистый, приказующий гудок «Шквала» прорезал ночь. «Индигирка» сильно качнулась, и я с трудом удержался на ногах, пароход накренился и на полном ходу стал разворачиваться.

— Вот что вытворяет!.. — пробормотал Коноваленко.

Наш пароход развернулся на сто восемьдесят градусов и устремился на своего преследователя встречным курсом. До столкновения со «Шквалом» оставалось каких-нибудь двести-триста метров.

— Разобьет пароход, — воскликнул старпом и кинулся по трапу на мостик.

«Шквал» вновь дал тревожный гудок, более не смолкавший. Хриплый вопль повис над морем. Из рулевой рубки рейдового парохода выскочил Андерсен, по-прежнему в одной тельняшке, и, потрясая вздытыми к небу, сжатыми в кулаки руками, что-то отчаянно закричал.

«Индигирка» шла полным ходом, целясь прямо в форштевень «Шквала». Андерсен пытался отвернуть в сторону, но «Индигирка»



тогчас меняла курс и опять устремлялась на рейдовый пароходик. В самый последний момент и «Шквал», и «Индигирка» отвернули в разные стороны, видимо, старпом завладел штурвалом в рулевой рубке. Пароходы коснулись привальными брусьями бортов друг друга. Раскачиваясь, как на штормовой волне, не сбавляя скорости, мы пронесли мимо «Шквала». Обнос и привальный брус спасли колесо «Индигирки» от повреждения.

— По-од-ле-ец! — донесся до нас голос Андерсена, грозившего нам кулаком с мостика «Шквала». — Мо-орду побью!..

«Индигирка» мчалась теперь уже к табору, будто ничего и не случилось. С мостика спустился старпом.

— Прошу, — сказал он совсем будничным тоном.

В каюте я спросил:

— Что же теперь будет? Под суд его отдадут?

— Да за что? — удивился Коноваленко. — Пароходы целы, мы живы, «Индигирка» идет к табору. За что судить-то?

— Так ведь Андерсен пожалуется.

— Если каждый раз жаловаться, работать времени не останется. Ему к нашим «порядкам» не привыкать...

Старпом принялся рассказывать: Андерсен, латыш по национальности, из семьи тех, кого царское правительство ссылало на восточную окраину страны. Плавает Андерсен в Арктике с начала освоения Северного морского пути. Провел свой «Шквал» с Лены на рейд Индигирки, затем еще дальше на восток, в Певек на Чукотку. В последний момент, перед началом перегона, капитан порта на Лене побоялся ответственности и запретил Андерсену уходить из устья Лены. Андерсен вскочил в рубку в своей тельняшке, дал отвальный гудок, приказал радисту выключить радиоустановку и поднял якорь. В Певеке, где стояла на берегу полярная станция, Андерсена ждал выговор за самовольный уход. А в другом приказе его благодарили за смелый перегон рейдового пароходика по арктическим морям...

Слушал я этот рассказ, и Андерсен еще больше мне понравился.

— Морду нашему капитану он очень свободно набил бы, — сказал Коноваленко. — Лихой мужик, ничего не скажешь. А жаловаться не станет, вермени на жалобы нет, да и некем Линева сейчас заменить, людей у нас нет.

— Ну, а если бы пароходы побились?

— Тогда бы нашего капитана судили, да и меня, наверное, заодно. И тебя бы, работника политотдела, по головке не погладили — чего зевал. Думаешь, зря тебя к нам Кирющенко посадил? Понял?

— Спасибо, понял, — искренне сказал я.

— Слушай, давай еще по одной? — предложил Коноваленко. — Ты мужик вроде ничего.

— Не буду! Не буду, понимаешь, — с неожиданной злостью сказал я.



— Молодец! — воскликнул Коноваленко, чего я никак не ждал. — Вот таких нам здесь и не хватает. Только ведь ты долго среди нас пай-мальчиком не проживешь. Видел я таких, и крылышки как будто есть, а копнешь поглубже — одна труха, грешник пуще нашего. Да что с тобой говорить, поживем, увидим, долго ли ты протянешь со своей святостью. Комсомолец! Слушай, иди-ка ты в свою каюту, не расстраивай меня...

Каюты у меня не было, я вышел на палубу. Пароход плыл куда-то в темень, навстречу холодному ветру, и только далеко-далеко по носу мерцали острые искры огоньков табора.

Впереди меня кто-то стоял на носу парохода и так же, как и я, смотрел на искры огней, затерявшихся в ночи. Я подошел ближе и узнал Данилова. Он оглянулся на звук моих шагов. Мы постояли молча. Я спросил, давно ли он пришел на пароход матросом. Оказалось, перед самой разгрузкой морского парохода был пастухом в оленьем стаде в низовьях Индигирки.

— Погибал голод, — сказал Данилов, — однако остался живой...

— Кто-нибудь у тебя из родных есть? — спросил я.

— Один я, больше никакой люди нету, — ответил Данилов.

— Трудно на пароходе? — поинтересовался я.

— Чужой все, — сказал он, помолчав. — Не знай, как жить; туда пошел — люди говорят: не ходи; сюда пошел — опять не ходи... Как жить, не знай... Федор плохого не говорит. Тоже один, никого у него нету...

Около каюты старпома за нашими спинами послышалась возня, с размаху захлопнулась дверь, кто-то ударил в нее кулаком.

— Что это там? — спросил я.

— Не знай, — сказал Данилов. — Ходить не буду, опять люди скажет: туда не ходи, сюда не ходи... Однако, спать пойду...

Он мягко, бесшумно в своих ичигах зашагал по другому борту.

Я стоял в полосатой от ступенек трапа тени и старался разглядеть, что происходит у старпомовской каюты. В тусклом свете одинокой лампочки, порождая мечущиеся угловатые тени, кто-то дергал ручку запертой двери. Присмотрелся: радистка. Волосы ее растрепались, бились по плечам, она всем корпусом откидывалась назад, но ничего не могла поделать с дверью.

— Откройте, Коноваленко... Откройте... — негромко восклицала она, дергая ручку. — Слышите, людей позову... — Голос ее звенел, как перетянутая, готовая лопнуть, струна.

Радистка прислонилась лбом к двери и бессильно обмякла. Я подошел, отстранил ее плечом и принялся молча дергать ручку двери. Потом собрал всю силу и рванул. Дверь заходила ходуном и, хрястнув, распахнулась. Крючок, которым каюта была заперта изнутри, со звоном отлетел на стальную палубу. В дверях стоял старпом, в глубине каюты у столика с бутылками на диванчике сидел Федор.



— Чего тебе? — угрюмо сказал Коноваленко, глядя на меня воспаленными глазами.

— Уйдите, — сказала Наталья, отстраняя меня и выступая на свет, падавший из каюты. — Зачем вы Федора спаиваете? — спросила она Коноваленко.

Федор поднялся, подошел к двери, выглянул из каюты, отыскивая меня глазами. Наталья попыталась взять его за руку, он с силой отдернул ее.

— Чего этому здесь надо?.. — спросил Федор. — Чего он около тебя крутится?

Наталья загрозила меня.

— Не надо, Федя, оставь, Федя, — заговорила она своим тугим звенящим голосом, пытаюсь предотвратить драку. — Федя, слышишь?

Коноваленко густым баском заговорил:

— Да ты что, Федя? Ну чего развоевался? Слышь, чего ты?

— Не твое дело, — сказал Федор и попытался ближе подвинуться ко мне.

Старпом сгреб, смял острые плечи парня, приговаривая:

— Да ты постой... Постой, Федя. Да что ты, постой...

Радистка бросилась было к ним, ухватила за сильную, напрягшую руку старнома, но, поняв, что он не собирается бить Федора, отступила. Федор вырывался, изгибаясь всем телом, стремился опрокинуть Коноваленко на себя, ударить его в лицо головой. Но старпом был силен, тяжел и опытен в драке, ни вырваться из его объятий, ни свалить его было нельзя, и парень наконец затих.

— Отпусти, — попросил он.

— Так-то лучше, — сказал Коноваленко, размыкая руки.

Федор поежился, повел плечами. Наталья охватила его руками, думая, наверное, что он собирается опять броситься на меня.

— Силен! — проговорил Федор. — Си-илен ты, Коноваленко.

Он спокойно отстранил девушку, продолжая разминаться.

— Выпить нам с тобой не дали, — сказал старпом. — Провались они пропадом, бабы...

— Ладно, — сказал Федор, — в другой раз...

Он еще раз передернул плечами и шагнул в темноту. Наталья пошла за ним.

Ну вот! Вот они здешние «порядки»! Я поехал на Север искать героев, такова моя профессия. А вот она реальная жизнь в этой реальной обстановке за тысячи километров от обжитых районов страны в конце сорокового года... Что же мне делать? Убеждать себя, что ничего этого нет, не может быть, потому, что мне хочется другой, красивой, героической жизни? А что делать с этой невыдуманной, некрасивой? А ведь надо что-то делать, она сама не станет вдруг иной...



Коноваленко шарил ногой по палубе в поисках вырванного крючка. Наткнулся на меня.

— Ты чего здесь? — спросил он. — В каюту тебя определили?

— Нет еще...

— Чего же ты молчал?! Ну, интеллигенция, ну беда с вами! Идем ко мне, на диванчике ночь переспишь, а там разберемся. — Он нащупал ногой крючок, поднял его. — Вот, брат, какая у нас житуха, видал?

— Видал... — враждебно сказал я.

— Привык я к водке, отец еще приохотил, и отвыкнуть не могу. Как зараза какая...

Мы вошли в каюту. Коноваленко закрыл дверь, попытался приладить крючок на место, выдрал его обратно, бросил на столик и безнадежно махнул рукой. Мы опустились на диванчик. Коноваленко временами покручивал головой, хмыкал и чему-то горько усмехался.

— Принцесса! — пробурчал он. — Выискалась на нашу голову, всем мозги вправляет...

Я понял, что он говорит о радистке.

— Откуда она? — спросил я.

— С Якутска, говорят... Отец ее будто с матерью не поладили. То ли она от него ушла, то ли он, врать не буду, не знаю. Дочка курсы радистов окончила — и к нам. Вырастили идейную на свою голову. И нам покою нету. Капитану стала указывать... — Коноваленко засмеялся: — О-хо-хо... — И захрипел, давясь кашлем и смехом. — Тот ее с мостика к такой эдакой... Она как зыркнет на него глазами, — веришь, на леера полез прыгать за борт. Ну, ясно дело, под этим самым... — Коноваленко звучно, как по деревяшке, щелкнул себя ногтем по горлу. — «Идите, говорит ему, проспитесь...» Это капитану, понял? Какой он ни есть пьяный, а все же капитан. И что бы ты думал? Ушел! Я его не мог сегодня проводить, не знаю, как штурвал отнял, тебя он не побоялся, а от нее будто от нечистой силы сбежал с мостика и замкнулся в каюте. Сутки не вылезал на белый свет...

## VI

Утром мы вошли в устье Индигирки. Водная ширь с ровно катившимися вслед пароходу, отдававшими прозеленью речными валами; прерывистая линия далеких берегов на горизонте; свежий ветер в корму, с моря... Пока я спал в старпомовской каюте, «Шквал» ушел в Певек, а «Индигирка» взяла на буксир две баржи. Рассказывая все это, старпом добавил, что ночью на борт к нам перешел начальник пароходства Васильев.

— Должно, Кирющенко заставил, — сказал старпом, доверитель-



но наклоняясь ко мне.— Он ночью тут Линева драил за историю на рейде... — Коноваленко хмуро помолчал, хмыкнул и продолжал: — А после за меня взялся. Ты спал, ничего не слышал. Зашел он в дру- гую половину каюты, запер за мной дверь и давай совестить. Не нужен ты, говорит, нам в таком виде, уходил бы ты, говорит, поско- рее, куда подале. Я ему начал было рассказывать, как штурвал у ка- питана отнял, отвернул от «Шквала», а он все одно: ты бы не позво- лял себе водкой баловаться, и капитан бы держался... Вот какую я благодарность заслужил за то, что пароходы спас.

— Прав Кирющенко! Прав! — сказал я с ожесточением.— Видел я вчера вапшу «житуху», с меня ее тоже достаточно, шагу без водки не можете. Некем вас тут заменить, вот и терпят вас, а вам еще благодарность какая-то нужна. Да за что благодарить? Как вы вчера Федора спойть хотели? За то, что ли?

Коноваленко сидел на диванчике, уставившись на палубу каюты, застеленную линолеумом, и молча слушал гневные мои слова. Вчера ночью не мог я сказать ему всего этого, устал, время было позднее, да он и не стал бы слушать во хмелю.

— Да-а... — прохрипел он,— вот так все вы, праведники, гоните, не принимаете... Да, может, и правильно не принимаете, а хоть кто- нибудь из вас спросил: «Отчего ты такой, Петро? Может, помочь тебе надобно чем?»

— Слышал я вчера от вас: отец пить научил... — Я готов был на- говорить ему еще каких-то горьких гневных слов, но почему-то запал мой прошел и я пробормотал: — Чем тут поможешь? Ну, чем?..

Коноваленко поднял на меня свои слезящиеся, немного навывкате глаза и, без озлобления, горестно покачивая лохматой головой, ска- зал:

— Да какая от тебя помощь?

Я снял с гвоздя телогрейку, напялил фуражку, спросил:

— В какой каюте мне поселиться?

Коноваленко тяжело вздохнул, не глядя на меня, проговорил:

— Васильев у капитана поместился, должно, сейчас отсыпается. В кормовых каютах у команды свободных мест нету, все под завяз- ку... Выходит, нам с тобою вместе плыть, хотя, конечно, приятного мало...

Я вышел наружу, на палубу. Плицы колес с натугой молотили по воде. Впереди в кипени солнечных бликов шел пароход с баржа- ми, и сзади виднелись, словно распластавшие по воде крылья, другие пароходы, тянувшие целый город из барж. Суда ярко желтели под солнечными лучами.

На «Индибирке» — тишина, порядок, в рулевой рубке смотрит вперед штурвальный, боцман Луконин, на спор поднявший сразу два мешка. Нет и намека на ночные происшествия.

На корме, под арками, по которым то и дело перекатывался из



стороны в сторону втугую натянутый, уходящий к баржам трос, была навалена груда метровых поленьев с красной корой. И не елка, и не сосна — лиственница. Так равнодушно сказал мне Данилов, вахтенный матрос, подметая по стальной палубе ошметки коры. Простую работу свою он выполнял старательно, хотя, может быть, движения его были слишком резки, угловаты.

Выслушал я ответ Данилова — «лиственница» — и разволновался, вот, значит, какая тайга на Индигирке — краснокорая, дерево крепкое, с тонкими годовыми слоями, немного желтоватое. Первая встреча с Индигиркой! Лишь тому, кто долго пробыл в море и все время изо дня в день видел лед, холодную зеленую воду да небо, понятным станет мое волнение...

Я стоял на палубе, вглядываясь вдаль, следил, как постепенно, словно разрубленные, черточки берегов сливались в одну линию слева и в другую — справа, и лишь прямо по носу водная гладь с редкими блесками — небо теперь покрылось облаками и солнце проглядывало лишь кое-где — простиралась до горизонта.

Как-то неожиданно берега сблизились и стало ясно, что пароход шел посреди русла. Из-за поворота показалась свесившаяся над водой пышная, бронзовая бахрома лиственниц. В душе моей наступил праздник: лес! Настоящий лес. Где-то здесь мы будем брать дрова.

Я поднялся на мостик. За штурвалом стоял Луконин. Рядом с ним, широко расставив ноги, утвердился Данилов и, не отрываясь, из-за его плеча смотрел на реку. Переднее стекло было убрано, речной посвежевший ветер ворвался в рубку.

— Возьми штурвал, — сказал боцман Данилову, — держи, чтоб остров по носу приходился, поменьше рыскай и не сваливай со струи.

Данилов встал на место штурвального, расправил плечи, крепко взялся за отглаженные ладонями рукоятки штурвала.

— Ладна! — сказал он.

— Ученик? — спросил я Луконина.

— Надо присмотреть. Паря тихий, самостоятельности нету... Охотник он был, погода время — пастух. На пароходе непривычный. Стоит у меня, когда свободный от вахты. Все лучше, чем спиртом баловаться...

Я спросил, почему переднее стекло открыто.

— Как иначе? — удивился Луконин, — слива воды за стеклом не углядишь, пароход надо по сливу вести, где самая струя... — Он помолчал и сказал: — Летом в верхнем плесе стоишь у штурвала, солнце так и стегает, будто кто песку в глаза насыпал.

— Трудно вам приходится, — пожалел я.

— Трудно, не трудно — тут никто не спрашивает. Без трудов не проживешь, — резковато ответил боцман.

— Давно вы тут? — спросил я как можно более сдержанно.



Луконин искося, с хмурым прищуром взглянул на меня, но ответил:

— Да-к вот с аварии... Три года назад пришли с Качуга, с Лены на пустое место, построились...

— С какой аварии?..

Он опять взглянул на меня, усмехнулся как-то странно.

— Название соседнего с нами на рейде парохода читали? — спросил он, глядя теперь уже на поверхность реки. — «Память двадцатого августа» — потому, что двадцатого августа в море пароход у нас затонул. Льдиной прошибло борт ниже ватерлинии.

Он замолчал. Молчал и я, может быть, у него на том пароходе кто-нибудь погиб.

— Не слышали про ту аварию? — оборачиваясь ко мне, спросил Луконин.

— Откуда же мне было слышать?

Он помолчал и, вглядываясь в поверхность реки, разрисованную все время меняющимися кругами и вспучинами от быстрого течения, негромко заговорил:

— Матросом я на том пароходе плавал. Дружок у меня был, боцман Федоренко. Приказал мне перебраться по тросу на баржу принимать женщин и детей, а после того и команду. Всех, кроме него и капитана, спасли. Жену его, Авдотью, последней приняли, не хотела от него уходить, силком он ее к тросу привязал... Беда нас с Авдотьей соединила, так с тех пор вместе и плаваем, я боцманом стал, как и Федоренко, она коком, как и была. Хошь жалея, хошь не жалея — такая у нас жизнь, — добавил он и, плечом отстранив Данилова и взявшись за рукоятки штурвала, стал быстро поворачивать колесо. Пароход входил в крутой изгиб русла.

Далеко впереди на отблескивающей глади воды что-то чернело.

— Смотри, лоси! — воскликнул Луконин.

Весь он напрягся, наклонился вперед, мне показалось — того глади схватит штурвал и повернет пароход вдогонку за зверями. Охотничья душа!

Течение сносило двух плывущих зверей ближе к пароходу, стали видны широкие рога над головой одного из них, едва торчавшей из воды. Загремели ступени трапа, на мостик взбежал, видно только что проснувшийся Васильев без фуражки, со встрепанными волосами, в одной тельняшке, сжимая в руках охотничье двуствольное ружье.

— Лосей видите? — закричал он, врываясь в рулевую рубку. — Рога-то какие! — в восхищении воскликнул он. — Давай наперерез, успеть бы перехватить, пока они до берега не добрались.

Луконин покати колесо штурвала, направляя пароход между берегом и лосями.

— Прибавь, — крикнул Васильев, наклоняясь к рожку переговорной трубки в машину.



Плицы ожесточеннее забили по воде, пароход упрямо перебарывал темные струи реки.

— Не успеем,— сказал Луконин,— до берега доплывут. Да по мне пусть оба уходят...

— Буксир надо отдать,— торопливо заговорил Васильев, не спуская глаз с лосиных голов,— без барж нагоним, никуда они не уйдут...

— Как баржи в плесе бросать? — Луконин с сомнением покачал головой.

— На якорях удержатся,— сказал Васильев,— стопорь машину, буксир ослабнет, сбрось его с гака. Я сейчас баржевым крикну.

Он схватил мегафон, выбежал на мостик позади штурвальной рубки и закричал в рупор за корму:

— Ва-ахтенный! Отда-ай яко-оря-а! Бу-укси-ир выбирайте... Ло-о-си уходят...

Шкиперы и матросы обеих барж давно уже были на палубе и следили за маневрами парохода. Гонка с лосями захватила всех. Васильев, не дожидаясь боцмана, полез к гаку у трубы и откинул замок, державший буксирный трос. «Цинкач» скользнул по буксирным аркам и скрылся в пенных валах за кормой парохода. «Индибирка», освободившись от воя, рванулась наперерез переправляющимся зверям.

## VII

Все дальнейшее произошло в считанные минуты. Пароход успел отсечь лосей от берега. Мы выскочили из рубки на мостик к леерам. Звери вдруг оказались у самого пароходного колеса в завихрениях пенных струй. Самец с крупными широкими рогами все отпихивал грудью безрогую лосиху от борта парохода и сам таким образом оказывался у колеса. В глазах безумевших животных застыло смещение, они никак не могли выбиться из водоворота под бортом парохода. Васильев вскинул ружье.

— Что вы делаете!.. — раздался снизу отчаянный крик.

Спотыкаясь о ступени трапа, падая и опять поднимаясь, на мостик с палубы кинулась Наталья.

Васильев повел стволом за лосями и... опустил ружье.

— Не могу... — сказал он. — Не могу его бить. Смотрите, как он ее защищает...

Несколько секунд колебания оказалось достаточным, чтобы сильное течение отнесло лосей вниз по реке. Стрелять было бессмысленно. Наталья взбежала на мостик и схватилась за ствол ружья.

— Теперь уже все... — сказал Васильев. — Поздно!

— Как вы могли... — проговорила Наталья, по смутному лицу ее бежали слезы.



— Выходит, не смог... — усмехаясь, сказал Васильев.

Наталья пошла с мостика, всхлипывая и вытирая слезы.

Лоси с утроенной энергией поплыли к берегу. Самец по-прежнему держался между пароходом и подругой, прикрывая ее своим телом.

— Красавец! — воскликнул Васильев, вскинул ружье одной рукой и разрядил оба ствола в небо, точно салютуя зверю.

Вся команда парохода толпилась на баке, кое-кто поднялся к нам на мостик. Мы провожали взглядами подплывающих к берегу лосей. Вот они-нащупали ногами дно и, тяжело ступая, как бы вытягивая за собой струи воды, сливавшиеся с их оливково-серых тел, поднялись к тальниковым кустам и, не оглядываясь, скрылись в тайге.

— Баржи унесло! — неожиданно из открытого окна рулевой рубки раздался возглас Луконина.

Только теперь все, кто стоял на мостике, обернулись к корме. Баржи были далеко позади. Их надстройки неярко желтели пятнами без подробностей, а фигурки людей можно было разглядеть лишь с трудом. Баржи затащило куда-то в сторону от фарватера к далеким, покрытым сизой, уже без листвы, тальниковой порослью песчаным островам или мысам — отсюда трудно было разобрать.

Васильев негромко выругался и погрозил баржевым кулаком, хотя было ясно, что с баржи увидеть этот красноречивый жест невозможно.

— На лосей зенки пялили, когда надо было якоря травить, — воскликнул Васильев. — Ну и работнички! И меня черт попутал: в лосей не стрелял! Хотя мясо было бы.

— Да это все она, радистка, — негромко проговорил Коноваленко, стоявший неподалеку. — Где только появится — жди беды. Сейчас мы баржи повытягаем. Штурвальный! — крикнул он в рулевую рубку Луконину. — Выходи на фарватер для разворота к баржам.

Пароход стал медленно отходить на середину реки, готовясь к маневру.

— Не так-то просто их повытягать, — пробурчал Васильев, — видать, капитально засели. — Он махнул рукой и стал спускаться с мостика.

«Индибирка» сплыла вниз, к севшим на мель в боковой протоке баржам, якоря на фарватере их не удержали. Вскоре выяснилось, что придется перегружать мешки с мукой из кормовых трюмов в носовые, чтобы засевшие в песок кормы поднялись. Работы на несколько часов! Васильев распорядился составить бригаду грузчиков, в одну из которых вошел и я, и уплыл на рейдовом катере вниз к Чекурдаху поторопить команды других судов на помощь «Индибирке».

Никто не роптал, хотя и предстояла тяжелая работа. Может быть, каждый чувствовал за собою долю вины, а может, привыкли к неожиданностям, к трудной жизни, к авралам.



Я вспомнил, что Кирющенко просил меня сообщать радиограммами о том, как идет рейс, и решил заверить начальника политотдела, что настраивание у всех боевое, баржи попытаемся снять с мели до прихода остальных судов. Уж очень хотелось отрапортовать в мажорном стиле. Пошел к Наталье объяснил ей, в чем дело, и долго составлял текст радиограммы. Она прочла, усмехнулась, но тут же включила аппаратуру — как раз подошел срок связи, — и передала на «Чкалов», где находился в это время начальник политотдела, мой рапорт. Усмешка Натальи неприятно отозвалась в моей душе, в самом деле, какая-то победная реляция получилась, да было уже поздно. Я сидел в радиорубке в ожидании ответа. «Чкалов» молчал.

— Срок связи кончается, отвечать не будут, — сказала Наталья официальным тоном и посмотрела на меня, как бы говоря: «Все, можешь идти...»

Уходить, пока не началась работа на баржах, мне не хотелось. Я все думал о том, что не кинься Наталья на мостик, может быть, Васильев и нажал бы спусковой крючок.

— А если бы он решился стрелять, что бы ты сделала? — спросил я.

— Отняла бы ружье, — сказала Наталья. — Стрелять в животных с парохода — это подлость, — с непримиримостью сказала девушка.

— Но он все-таки не стрелял, — торопливо сказал я и тотчас понял, что в этих словах слишком отчетливо прозвучало самооправдание, я-то ведь никак не протестовал. — А ты молодец... — вырвалось у меня.

Лицо Натальи стало отчужденным, она опустила глаза и молчала.

— Откуда ты приехала сюда? — продолжал я, не желая замечать ее холодности. — Одна, в такую далищу...

— Это совсем не интересно... — резковато сказала она.

Открылась дверь, в каюту заглянул Федор, оглядел Наталью, меня и скрылся, быстро притворив дверь.

Наталья встала.

— У тебя есть ко мне еще дело? — спросила она.

— Нет, — сказал я, — больше ничего...

Я пошел к двери, Наталья вышла вслед за мной и, заперев каюту на ключ, убежала в кормовой отсек.

К вечеру один за другим снизу подошло еще два парохода с баржами. Суда уткнулись носами в обрывистый берег напротив севших на мель барж. Мы перетаскивали мешки с мукой в носовые трюмы, облегчая кормы судов. И командовал у нас, и работал вместе с нами Луконин — без шапки, со спутавшимися русыми волосами, в выпроставшейся из брюк рубашке. Во время перекура, когда мы вышли из трюма на палубу, у баржи ошвартовался катер. К нам поднялись Васильев во флотском бушлате и форменной фуражке, и Кирющенко в короткой летной бекеше и сдвинутой на затылок кепке.



— Поработайте, ребята, каждый за двоих, плачу в двойном размере, — сказал Васильев, — не резон нам здесь задерживаться.

Кирющенко слушал, покачивая головой, невесело усмехался.

— Уж как насчет оплаты — не знаю, — сказал он, — деньги у нас государственные. А поработать придется крепко, товарищи. Потом будем разбираться, как это получилось. Сидеть нам здесь, правильно сказал начальник пароходства, не резон. Того гляди, по реке пуга пойдет, до ледостава в затоне надо быть, иначе всем нам грош цена.

— К утру строим, — пообещал Луконин, — ребята работают на совесть, какой тут разговор! На ночь сменные бригады надо составить, вона сколько пароходов собралось...

— Сделаем, — сказал Васильев. — А насчет двойной оплаты мое слово твердое, сами знаете, никогда не подводил.

— Знаем... Не обижали... Порядок всегда был... — слышались голоса.

— Да и я тоже с вами поработаю, — воскликнул Васильев и принялся стягивать бушлат, — не привыкать и кули ворочать, и лес валить... Найдется, ребята, пустой мешок на плечи от мусора?

— Найдем, — сказал Луконин.

Кирющенко покачал головой, но сказал только:

— Сплаваю на суда, посмотрю, что там делается.

— Сплавай, — довольно мрачно сказал Васильев и, забрав бушлат под мышку, спустился в трюм. Грузчики последовали за ним.

Кирющенко остановил меня, спросил негромко:

— Где ты был, когда баржи бросали?

— На мостике...

— Зачем? — Кирющенко подождал моего ответа, но я молчал. — Вмешиваться, нарушать единоначалие тебе нельзя и свидетелем быть при сем тоже незачем. Ты не пассажир, не частное лицо. Работник политотдела — вот кто ты есть. — Кирющенко постоял, опустив глаза. — Спрашивать с нас по партийной линии будут строже, чем с Васильева, целый край кормим... А телеграмма твоя... — он невесело усмехнулся. — Баржи на мель посадили, а ты рапортуешь, будто план грузоперевозок перевыполнили...

Он зашагал к борту, у которого ошвартовался катер. Я постоял, глядя ему вслед. Вот почему усмехалась Наталья, читая текст моей радиограммы, как я-то не мог сразу сообразить, какую глупость сочинил? Эх, лучше бы уж ничего не посылал. Одно слово — мальчишество! Ругая себя в душе за легкомыслие, я побрел в трюм. Под мешками тягостное настроение быстро исчезло, осталось одно только ожесточение, как было и в первый раз, желание выстоять в тяжелом труде, не уронить мужского достоинства. В конце концов ведь и я тоже хотя бы психологически принимал участие в «охоте», и расплачиваться надо сообща.

Поздно ночью нас сменила другая бригада во главе с Конова-



ленко. Баржи дали заметный дифференциал на нос, но Луконин не захотел уходить вместе с нами на отдых.

— Присмотреть надо, — сказал он во время пересменки стоявшим под тусклым светом фонаря Васильеву и Коноваленко. — Шел бы ты, Петро, на «Индирикку», кормы барж всплывут — вовремя сдернуть надо...

— Правильно Луконин говорит, — сказал Васильев, — всю жизнь на баржах плавал, понимает толк в этом деле лучше нас с тобой. Иди, Коноваленко, на пароход, готовь машину. Завтра дадим отдых боцману. Так, что ли? — обернулся он к Луконину.

— Та-ак... — протянул Луконин.

— И заработаешь побольше, — сказал Васильев.

Луконин мотнул головой, разбрасывая длинные свившиеся прядки волос.

— Не нужно мне... — негромко, без всякой рисовки сказал он. — Сам баржи бросил в плесе, сам их повытягаю... Вся зима впереди, еще разберемся, когда отдыхать.

— Баржи я бросил... — помолчав, сказал Васильев.

— А кто на штурвале стоял? — сказал Луконин. — Да что считаться, с баржами я управлюсь, иди, Петро... И вы тоже... — сказал он Васильеву.

Васильев постоял, глядя под ноги на слань, присыпанную посеревшей от грязи мукой. Весь китель его был затерт белесыми полосами.

— Ладно! — сказал он решительно. — Пошли, Коноваленко, буксир на пароход надо заводить.

Мы стали подниматься по трапу. Катер у борта баржи ждал нас, там в темноте толпились сменившиеся грузчики, члены команды «Индирикки», виднелись красные светлячки сигарок.

— Отваливай! — крикнул Васильев и перепрыгнул на палубу. Разом стихли разговоры, узнали голос начальника пароходства. Я тоже прыгнул на палубу катера и вмешался в толпу грузчиков, протискиваясь ближе к надстройке, чтобы не свалиться в темноте за борт. Да, «поохотились», долго будет помниться!..

## VIII

Утром я проснулся в старпомовской каюте, услышал плеск воды от частых ударов плиц и ровную работу машины. Стронули, значит, баржи! Успокоенный, опять заснул. И опять проснулся, когда машина стала работать с перебоями, неравномерно сотрясая переборки каюты. Вскочил, выглянул в иллюминатор, пароход шел близко от крутого берега с опустившейся к воде золотой бахромой лиственниц. Машина то работала, то стопорилась, пароход подваливал к берегу.



Там среди деревьев видна была длинная поленница аккуратно уложенных кругляков. Будем брать дрова!

Я быстро оделся, представлялся случай посмотреть вблизи тайгу. Отправился на палубу узнать, долго ли будем стоять. Низкое солнце мягко освещало мохнатые, светлые от порыжевшей хвои деревья. Пароход уткнулся носом в обрыв. Матросы, гулко вызванивая сапогами по стальной палубе, тянули тяжелый ребристый трап, чтобы сбросить его одним концом на сырой песок около склонившихся над водой лиственниц. Ниже по течению стояли у берега баржи. С мостика, тяжело ступая, спускался Коноваленко с оплывшим после бессонной ночи лицом. Мы вместе вошли в каюту и расположились на диванчике во второй ее половине за тонкой переборкой.

— Снял Луконин баржи с мели,— сказал Коноваленко.— Под самое утро... Еле я его с мостика прогнал спать. А сейчас, смотрю, опять на ногах... Одно слово — боцман.

Я спросил, долго ли мы будем грузить дрова. Мне хотелось подольше побродить в тайге, но этого я не сказал, Коноваленко меня не понял бы, а то еще и посмеялся бы или отругал, характер у него был прямой, я в том уже убедился.

— Как грузить?.. — раздумчиво проговорил Коноваленко и обеими широкими ладонями потер лицо.— На мостике ничего, а как сойду — в сон кидает... — заметил он.— И без всякой двойной оплаты брата с прохладцей работать не станет,— продолжал он, отвечая на мой вопрос.— Того гляди, шуга пойдет, никому не охота в плесе зимовать. Два года назад было такое, нахлебались по самую завязку,— он чиркнул ладонью по горлу.— Хватит, наученные стали.

Кто-то появился в первой половине каюты, Коноваленко выглянул в дверцу и вышел туда. Я узнал чуть хриловатый голос Васильева, говорил он о каких-то ведомостях.

— И ты ему показывал? — спрашивал Васильев.

— А как иначе? Начальник политотдела, как не показать.

— Сказал бы — идите к начальнику пароходства, оплата грузочных работ — дело администрации. Пусть бы и разговаривал со мной.

— Ведомости на оплату грузчиков на столике лежали,— сказал старпом.— Он их увидел, взял посмотреть... А что там, секреты какие есть?

Слушая голос старпома, я представил себе, как он, выкатив глаза, усталился на Васильева.

— Какие еще секреты? — раздраженно сказал начальник пароходства.— Не люблю, когда в мои дела вмешиваются. Без размаха, без риска пропадешь тут. Мне отвечать, мне и видней, как работать. Вот тебе и все секреты!

— А я-то что? — сказал старпом.— Мое дело маленькое...

Ко мне во вторую половину каюты заглянул Васильев, лицо его

с печатью раздражения сделалось холодным, неприязненным. Он молча кивнул и тотчас отвернулся, сказал старпому:

— В другой раз прошу докладывать... — и вышел из каюты.

Мне стало неприятно, невольно я оказался свидетелем разговора, который не предназначался для моих ушей.

Вошел Коноваленко.

— Не знаешь, кого слушать, — пробормотал он и развалился на диванчике. Взглянул на меня, спросил: — Слыхал?

— Что? — спросил я, растерявшись от вопроса Коноваленко. Дорого я бы дал, чтобы не оказаться в каюте, когда вошел Васильев. Что же, я теперь должен буду рассказать о странном разговоре Васильева и Коноваленко начальнику политотдела? Или сделать вид, что ничего не слышал и не вмешиваться в чужие дела? Наверное, Кирющенко и так все ясно с этими ведомостями, — пришла мне в голову спасительная мысль.

— Слыха-ал... — баском протянул Коноваленко, — все ты слышал. Вот оно как выходит: один меня не принимает, гонит куда подале, да и ты вместе с ним, а другой и готов принять, когда с обманом, и не спрашивает меня, хочу ли я. А может, я расхотел с обманом-то? Вот как выходит: вы, праведники, не хотите меня принимать, а постарому я уже не могу, с обманом не могу. Куда же мне подеваться? Ну вот ты, комсомолец, помогать мне собрался, душа непорочная, что ты мне присоветуешь? Молчишь? Мо-олчишь! — с каким-то торжеством протянул Коноваленко, будто в моем молчании заключалось и мое поражение. — Молчишь потому, что жизнь ты привык видеть с одного боку, а у нее, у жизни, есть и другие закрайны, для тебя за семью печатями. Да-а... Вот такие-то вот дела! А ты интересуешься, почему я с водкой компанию вожу. Давай по маленькой, а? — неожиданно заключил Коноваленко. — Перед работой помогает.

— Не буду, — сказал я утрюмо.

Коноваленко посмотрел на меня долгим-долгим взглядом.

— Ты своему Кирющенко про то, что здесь слышал, не вздумай наплести. Не твоего ума, без тебя они разберутся. Васильеву тоже, знаешь, не легко приходится, дело знает и мужик смелый. Оставь, не встревай, без тебя все обойдется.

Что мне было отвечать? В чем-то Коноваленко прав, — в чем, я и сам как следует не понимал. Мы посидели молча, глаза Коноваленко сами собой стали закрываться, он устал и хотел спать.

— Тайгу пойду посмотрю, — сказал я.

— Эка невидаль... — пробормотал Коноваленко. Голова его склонилась на грудь, он спал.

Я осторожно поднялся с диванчика, постоял над Коноваленко, он не просыпался. Стало как-то неловко идти смотреть тайгу, когда все эти усталые люди будут грузить дрова. Вышел на палубу.



Погрузка еще не началась, матросы чалили пароход, выбирая для троса деревья покряжистее, налаживали два трапа, среди деревьев обмеряли поленицу... На пароход набежала волна тонкого аромата, напоминавшего запах скошенного и слегка подсохшего сена. Но в тайге не могло быть сена, и некому было его косить, да еще глубокой осенью. И запах был тоньше, душистее, словно в воздухе растворился аромат дорогих духов. Я смотрел на матросов, занятых своим делом, на стряпуху, по-пароходски, кока, иногда появлявшуюся на палубе, крепко сбитую, в белоснежном халате, чернооую Дусю, спасенную Лукониным во время катастрофы в море. Никто не выказывал никакого удивления, никто, видимо, и не замечал нахлынувшего из тайги аромата, от которого я странно разволновался.

И вдруг все пропало; воздух стал обыкновенным, пропитанным сыроватыми лесными запахами. Что это было? Я сошел по качающемуся трапу на берег, ступил на мягкие, мшистые, лилово-красных тонов кочки. Сделал несколько шагов и оказался один на один с тихой светлой тайгой. Небольшие прозрачные лиственнички с лимонно-желтой хвоей тонким узором проступали на голубевшем небе. Часть иголок с их ветвей осыпалась и золотилась под ногами на красноватой подстилке из мхов, деревца почти не давали тени, и солнечные лучи беспрепятственно пронизывали осеннюю тайгу. Я почувствовал, как меня окутала нежная струя знакомого аромата, и пошел навстречу пахучей струе. Перелезал через поваленные, высохшие стволы деревьев, слотыкался о мягкие кочки, раздвигал плечами упругие ветви тальниковых кустов. И ничего не находил. Может быть, все, что росло в тайге, источало этот запах? Осыпанный золотой хвоей, вышел к берегу узкой протоки. На поляне стояло чье-то жилье с плоской крышей и четырьмя наклонными, как у шалаша, обмазанными глиной стенами. Из отверстия в крыше тянул сизый дымок. Неподалеку на жердях, положенных на врытые в землю столбы, висела желтоватая, лоснившаяся от жира, прокопченная рыба.

Дверь юрты была так же, как и стены, наклонной. Оленья шкура закрывала ее доски, скоба была ременная. Глядел я на эту шкуру, протертую местами до желтоватой кожи, и думал, что и самую юрту, и потертую шкуру на ее двери, и копченую рыбу можно было встретить, наверное, и двести, и триста лет назад. Щемящее чувство от того, что время будто остановилось и что той жизни, которой я жил, будто никогда и не было, охватило меня. Я никак не мог заставить себя взяться за ременную скобу и войти в юрту.

Послышались чьи-то хлюпающие по болотцу шаги, на поляну вышли двое в ватных куртках и сапогах. Тотчас я признал в них Машу и Наталью. Волосы Маши, ничем не покрытые, рассыпались по плечам, у Натальи — были подобраны под светлую косынку. Они молча остановились у края поляны, не ожидая увидеть меня.

— Кто-то живет здесь... — тихо сказал я, боясь потревожить безмолвие поляны.

— Бабушка Катя, — сказала Маша, — вот кто. Чего ты испугался?

Наталья внимательно смотрела на меня, точно ждала, что я еще скажу.

— Все тут какое-то старое-старое, — заговорил я, не обращая внимания на смех Маши, — точно время остановилось. Вот так стоит эта юрта много-много лет, и нет никакой другой жизни... Нет ни тебя, ни меня, ни Натальи...

Лицо Маши сделалось холодным и строгим.

— Все ты выдумываешь, — сказала она. — Я жила в тайге, в юрте так же, как бабушка Катя, пока отец не отвез меня в интернат... Как это меня нет? Вот я, перед тобой!

Маша уперлась кулачками в бока, пристукнула каблучком сапога по треснувшей под ее ногой ветке, и глаза ее засмеялись.

Наталья, как-то болезненно наморщив, крутой лоб тонкими частыми морщинками, переводила взгляд с вяленой, прокопченной рыбы, висевшей на жердях, на юрту, на сизый дымок над ее крышей, на притоптанную землю у порога жилища. Ее взгляд, как и мой в первый момент, когда я вышел на поляну, остановился на двери с протертой оленьей шкурой и ременной скобой.

— Пойдемте, посмотрите, как живет бабушка Катя, — живо сказала Маша и, так как Наталья не двинулась, воскликнула:

— Ты же хотела посмотреть, как я жила когда-то. Идем, бабушка Катя будет нам рада...

— Да, конечно... — поспешно проговорила Наталья.

Маша подошла к юрте и резким движением распахнула дверь. Наталья оглянулась на меня.

— Ты первый... — сказала она.

Я пошел к юрте и перешагнул через высокий порог, Наталья последовала за мной. Наклонно посаженная на ременные петли дверь под собственной тяжестью с силой захлопнулась за Машей. В темной глубине юрты, высвеченная снопиком света из крохотного оконца, сидела на скамеечке у тлеющих углей очага маленькая старушка с изжелта-коричневым морщинистым лицом и курила длинную тонкую трубку. Маша поздоровалась с ней по-якутски, я поспешно сказал «здрате». Наталья промолчала, наверное, привыкала к полутьме. Вдоль стен располагались завалинки, покрытые седыми оленьими шкурами. На одну из них мы присели.

Маша что-то оживленно рассказывала старушке на своем родном языке, по временам кивая на нас. Старушка мерно покачивала головой и поглядывала в нашу сторону.

Осмелев, я спросил:

— Бабушка, можно воды напиться? — и тотчас мне стало неловко, может быть, в этой страшной глуши и не понимают русской речи?



Старушка повернулась ко мне и на чистейшем русском языке ответила:

— Вон, сынок, кадушка с водой и ковшик, вытри полотенцем. Водичка у нас студеная, чистая...

Речь старой женщины с якутскими чертами лица, жгуче-черными глазами, была удивительно русской, интонации голоса добрыми, прямо пушкинская няня. Я подошел к полотенцу, висевшему на вбитом в стену оструганном суку. Полотенце было длинным, на концах вышитым петухами. Старинное русское полотенце.

— Бабушка,— сказал я, поворачиваясь к ней,— кто вы?

— Прародители наши, сынок, из России пришли, сказывали старики, лет триста назад,— заговорила бабушка.— Земли новые открывали, землепроходцы были,— продолжала она с такою будничною простотой, что я обмер — так неожиданно было встретить землепроходцев.— Слышал, сынок, про нас?

— Слышал, слышал, бабушка, как же! — воскликнул я.

— Породнились мы с якутами давно. А речь свою русскую искони храним. Пониже в Русском устье живет наших несколько семей... Отсюда — день на оленях... А я к лесу давно привыкла. Когда молодая была, со своим охотилась. Он-то, старик мой, помер, а я так в лесу и осталась. Внучка в этом году в интернат поехала, вон, как Маша,— она кивнула на Машу,— учиться захотела... Одна я осталась...

Наталья вскочила с оленьей шкуры, подвинула скамеечку и присела рядом с бабушкой Катей.

— Да как же вы здесь одна живете? — спросила она, заглядывая в лицо старушке.

— Бывает, сын и невестка привезут оленины, мороженого молока, наколят дров. Весна-красна придет, сама зайцев петлями ловлю в тальнике. По берегу у нас много тальника. Летом ловлю рыбу,— летом и внучка мне помогает. Вот так и живу...

— А сын где же ваш? — спросила Наталья.

— В Чекурдахе в аэропорту работает...— бабушка Катя прикрыла глаза тяжелыми веками, затянулась из своей длинной с тонким, как карандаш, черенком трубки и, выпустив кольца дыма, сказала: — Вы, молодые, уходите от нас, все вам некогда, все спешите...— Она вдруг внимательно посмотрела на Наталью, глаза ее добро светились.— А может, так и надо, девушка? — сказала она.— У нас была своя жизнь, у вас своя, вам дальше идти... Прародители наши тоже от своих мест далеко уходили...

## IX

Наталья сидела, потупившись, и молчала. Что-то было во всей ее фигуре тревожное, горькое.

— Что ты, девушка? — спросила старушка, — обидела я тебя чем?

— Нет, ничем вы меня не обидели, — сказала Наталья, поднимая глаза и сясь улыбнуться, — ничем, бабушка... Своих я вспомнила... Бабушка у меня тоже есть, мама есть... Далеко они...

Маша стала быстро что-то говорить старушке по-якутски, поглядывая на подругу, видимо, рассказывая о ней. Бабушка Катя сидела, опустив глаза, и время от времени кивала, как бы подтверждая, что она слушает Машу. Трубка ее погасла, она повернулась к очагу, ловко взяла маленький, покрытый синим пеплом уголек, положила его в трубку и затянулась. Золотая полоска разгорелась на уголке, тонкие волоски дыма потянулись над трубкой. Старушка закашлялась хриплым, насадным кашлем, остановилась как бы на полпути, задерживая дыхание, чтобы, того гляди, опять не схватил приступ.

— Судить людей легко, — боясь раскашляться, с усилием произнесла бабушка Катя, видимо, отвечая на слова Маши. — Себя судить трудно. Была молодая, ушла от родителей своих, так же, как ты, девушка, — сказала она Наталье. — Из поселка в Русском устье. Поставили мы с моим суженым юрту вот эту, а теперь одна осталась... А ты как же к нам приехал? — неожиданно спросила старушка, взглядывая на меня, — по какому делу, и кого дома оставил?

Я объяснил, что будет теперь в тайге своя газета и что приехал я работать в редакции, а дома у меня остались родные...

Старушка, пристально смотря на меня, выслушала объяснение.

— Сначала мы на Индигирку пришли из России, — сказала она. — Да-авно... А теперь ты приехал к нам работать.

— А ведь мне дрова надо идти грузить, — возвращаясь к прозе жизни, спохватился я.

— И нам пора, — сказала Маша.

— Что тебе принести, бабушка? — спросила Наталья, вставая.

— Ничего мне не надо, все у меня есть, девушка, сын недавно приплывал на ветке, лодка охотничья так у нас зовется, все привез: и конфеты, и сахар, и пряники... Только сам уехал, все есть, а его нет... Приезжайте ко мне, приезжайте, гостями будете. Я сейчас вам юколы, вяленой рыбы, дам на дорожку...

Возвращались мы к пароходу молчаливые, девушки шли, опустив глаза, занятые чем-то своим. И мне не хотелось говорить, думать я о словах бабушки Кати: судить людей легче, чем самого себя... Какой смысл вкладывала она в свое замечание? Укоряла себя за то, что в молодости ушла в тайгу? Или думала о покинувшем ее сыне? Но иначе жить в наше время нельзя. Нет, нельзя!



В первый раз я сам уехал из дома несколько лет назад. Я был радиотехником, с этой работы началась моя трудовая биография. Наркомат связи посылал в разные концы страны рабочие бригады для ликвидации прорыва в радиофикации. Я попросился подальше, и меня послали в Сибирь на строительство Кузнецкого завода. В Новосибирске к пассажирскому составу подцепили товарный вагон с изоляторами, проводами, телефонными наушниками, громкоговорителями — все это комсомольские бригады обнаружили на складах разных организаций лежавшим без всякого употребления и отвоевали для Кузнецкстроя. Я облюбовал ближайшую к товарному вагону теплушку, так было вернее следить, чтобы не отцепили товарный вагон. Поезд уходил глубокой ночью. Когда я наконец втиснулся в теплушку, пассажиры спали, лишь одно место было почти свободным, кто-то сидел у окна и смотрел в протертый от наледи пятачок чистого стекла. На мне был огромный овчинный тулуп, который достали для меня те же новосибирские комсомольцы, и я едва пригнулся в нем на краешке сидения. Мой сосед оторвался от окна, это был молоденький паренек в кепке и легком пальтишке. Он во все глаза смотрел на мой тулуп, а я на его книгу в тиспеном золотом переплете, лежавшую на столике, — «Дон-Кихот Ламанчский»... Он спросил, как достают такие тулупы, я объяснил и в свою очередь спросил, издали ли он едет с этой книгой в холодном пальтишке, снаружи пятьдесят пять градусов ниже нуля. Он ехал из Нижнего, по путевке комсомола, тоже на Кузнецкстрой. «Дон-Кихот» — это все, что осталось от дома, он сказал, что со знакомой книгой не так скучно. Уезжал он в бодром настроении, его волновало, что едет так далеко, а теперь, ночью, книга из дома спасала его от тоски. Он обрадовался, что у него появился попутчик, да еще в таком тулупе. Мне было тоже не по себе в эту ночь. С тех пор как вагон загрузили всем, что нужно, и беготня по Новосибирску прекратилась, мысли о доме не давали покоя. Мы просидели с ним почти всю ночь, рассказывая о родных и оставшихся далеко-далеко друзьях. Когда впоследствии мне становилось почему-либо тоскливо, я вспоминал ту ночь и наши рассказы. Щемящее чувство уводящей от дома дороги владело нами недолго. Под утро мы улеглись на одной полке на моем тулупе и прикрылись легким пальтишком. А вечером увидели из окна притормаживающего вагона огни, как потом оказалось, над котлованами строящегося завода, и, едва оказавшись на стройке, опять обрели душевную твердость. А наши близкие? Нас было в ту ночь двое, и нам, наверное, было легче, чем тем, кого мы оставили в одиночестве. Накануне отъезда и он и я сердились на своих родных, оплакивающих нас, говорили им, что нам хорошо в преддверии дороги, не понимая, как раним их души. Не об этом ли думала бабушка Катя, сказав, что других судить легче, чем самих себя? Слишком мало мы думаем о тех, кого оставляем дома, и не

понимаем, как трудно было бы нам, если бы никого у нас не было, даже где-то очень далеко...

Я протискивался среди тонких упругих ветвей тальниковых кустов, пробивая дорогу шедшим сзади девушкам. Вдруг странный аромат вновь окутал меня. Я невольно остановился, оглядываясь и не находя того, что искал. Сзади на меня налетела Маша.

— Что ты?.. — воскликнула она раздраженно. — Чего ты смотришь по сторонам?

— Откуда духи?.. — спросил я. — Какие-нибудь цветы? Где они?

— Какие еще цветы?.. — тем же недовольным тоном произнесла Маша. — Ты все время что-то выдумываешь.

Я глубоко вдохнул воздух.

— Разве ты не чувствуешь запаха? — спросил я.

Наталя, все время молчавшая, негромко воскликнула:

— В самом деле... Как духи...

Маша тихо засмеялась, я никак не мог привыкнуть к неожиданным сменам ее настроения, и с недоверием смотрел на нее.

— Да, — сказала она, — теперь я поняла. — Она перестала смеяться и живо оглядывалась вокруг. — Тальник пахнет. Осенью, когда вянут листья, или когда ветви нарублены, чтобы плести корзины... В первый раз я узнала это девочкой, весной отец нарубил тальника для корзин и принес в юрту... — Маша нахмурилась и, прислонившись плечом к упругому тонкому стволу тальника, слегка покачивалась, налегая на него всем своим некрупным, легким телом.

— Что ты?.. — спросила Наталя и протиснулась между ветвей тальника к подруге.

— Это все бабушка Катя... — сказала Маша. — Наговорила нам. Я опять вспомнила... Иду и все думаю, думаю... И этот запах тальника... сначала я даже не поняла... Мы жили недалеко от бабушки Кати, два дня на оленях. Мне и сестре было совсем мало лет, мама умерла, отец заболел и не мог охотиться. Тогда он стал плести корзины из тальника на продажу, а нас отвез в интернат. Разве мы сами от него ушли? Ему было трудно, он нас отвез... А потом он умер, и мы остались одни... Вот, видите, куча ветвей, наверное, бабушка Катя нарубила для корзин... — Маша кивнула в сторону груды ветвей с потемневшими, свернувшимися в кулачки листьями, сложенных в засохшей траве.

Она вдруг оттолкнулась от тальникового стволика и побежала в сторону паромов, ловко проскальзывая меж кустов. Наталя безмолвно смотрела ей вслед. Лицо ее было бледно, губы плотно сжаты. Я пошел к грудке сучьев, с силой расталкивая плечами тальниковые кусты, присел, понюхал увядшие листочки. От них исходил лишь сыроватый запах прели. Но стоило подняться во весь рост, как я опять ощутил тонкий аромат, исходивший от всей груды сразу. Наталя подошла ко мне, тоже присела и приблизила лицо к пожух-



лым листьям на срубленных ветвях. Тоже поднялась. Мы стояли, полузакрыв глаза и вдыхая аромат увядшего тальника.

Совсем близко оглушающе грохнул выстрел. Просвистела пуля или заряд крупной дробы, мне показалось, над самой моей головой. За деревьями послышался треск ломаемых ветвей, кто-то быстро уходил в глубину тайги. Я хотел кинуться вслед стрелявшему, меня охватил не страх, а гнев, таким подлым показался мне этот выстрел, когда мы спокойно стояли среди тальника. Наталья стремительно загородила мне дорогу.

— Не надо! — воскликнула она. — Это... — она запнулась, ища подходящего слова, — это шутка, — пробормотала она.

— Шутка! — воскликнул я. — Так можно убить человека.

— Никто не собирался тебя убивать, — слишком горячо сказала Наталья, — я стояла рядом, в меня могли попасть так же, как и в тебя... Просто пошутили, пуля прошла высоко, только кажется, что она просвистела рядом.

Мы постояли, прислушиваясь к удаляющимся шагам по сухим сучьям.

— Иди, — сказал я, пропуская Наталью вперед.

Она прошла мимо, опустив голову и не глядя на меня. Когда мы были уже рядом с поляной, на которой стояла поленница, Наталья остановилась.

— Я прошу тебя никому не говорить об этом... — сказала она. — Можешь ты исполнить мою просьбу?

— Хорошо, — помолчав, сказал я. — Ты знаешь, кто стрелял?

— Знаю, — сказала Наталья, опуская глаза.

Я стоял молча перед ней, думая о том, что и я тоже знаю: Федор.

— Это подлость, — сказал я.

Наталья подняла глаза, лицо ее стало отчужденным и холодным. Она медленно, отчетливо проговорила:

— Людей судить легче, чем самого себя... — Она прямо и строго смотрела на меня, не отводя взгляда, я не выдержал и отвернулся, посмотрел туда, где за деревьями двигались нагруженные дровами мои товарищи.

— Прости, — сказал я, — может быть, я чего-то не понимаю...

Я зашагал дальше, не оглядываясь. Первым, кто повстречался мне у парохода, был Коноваленко. Он тяжело топал меж пней и кочек в одной рубашке навыпуск, с деревянным станком-понягой за плечами, нагруженный выше головы кругляками с красной корой.

— Сейчас и я... — торопливо, словно извиняясь, сказал я ему, когда он проходил мимо.

— Да мы сами погрузим, стоит ли вам мараться, — добродушно ответил он.

Не слушая его, я побежал по сходням на пароход надеть стеганку и взять понягу.

Метровые чурбаки укладывали на доску с лямками для плеч и поперечной приступкой, на которую, собственно, и наваливались поленья стенкой выше головы. За первым «возом» подошел я к боцману Луконину. Тот принялся кидать поленья на мой станок, как на телегу, без малейшей осторожности и сожаленья.

Часа через два трюм был забит чурбаками; те, что не поместились, уложили на корме под буксирными арками. «Индигирка» отвалила от берега и тронулась вверх по реке.

Я поднялся в рулевую рубку. Мне хотелось постоять рядом с Лукониным просто так, без всяких разговоров.

Впереди показались длинные песчаные косы. Луконин в раструб мегафона позвал:

— Вахтенный!

На бак вышел Федор, вопросительно посмотрел на Луконина. Тот в мегафон сказал:

— Возьми наметку, промеряй.

Федор проворно схватил лежавший вдоль борта шест, размеченный белыми и черными полосами, и, пронзая им воду, намечывая, стал выкрикивать глубины фарватера.

Я вышел из рубки и спустился с мостика на бак. Федор, занятый своим делом, не обращал на меня никакого внимания. Окончив по взмаху руки Луконина промеры, матрос уложил шест на место, но с бака не уходил. Мы стояли друг подле друга. Он смотрел на меня холодными, как металл, глазами и ничего не говорил. Молчал и я.

На другой день опять поднялся я в рубку к Луконину, хотел спросить о Федоре — что за человек?

У штурвала стоял Данилов. Лицо у него было напряженным, глаза смотрели на реку пристально, не отрываясь. Мне подумалось, что вот так он, наверное, следит за диким оленем, выбирая момент для выстрела. Луконин стоял рядом с ним и спокойно смотрел на разводы и вспучины по воде, временами говоря, куда следует повернуть колесо штурвала. Иной раз Данилов сам поворачивал штурвал, при этом взглядывал на своего учителя и вопросительно произносил одно лишь слово: «Ладна?» Луконин молча кивал, а если покачивал головой, Данилов поспешно поворачивал колесо обратно.

Я спросил, каковы успехи ученика.

— Дак желание есть — выучится. Всяко ученье желанья требует... Возьми Федора, дружки они, — Луконин кивнул на Данилова, — звал я и того к штурвалу, не схотел. Мне, говорит, не век по пароходам мыкаться... Зыркнул глазами и ушел.

— Что он за человек, Федор? — как бы между прочим спросил я.

— Отчаянный, — сказал Луконин, — видал, в трюме три мешка схотел взять? И взял бы, может, сорвал бы себе живот, а взял бы. Дак я думаю, зачнется драка — ножом пырнет, не остережится за ради себя и не подумает, что в тюрьму пойдет. От него всего жди.



А кто таков, откель — не знаю, мне не докладывал. — Луконин повернул ко мне свое с глубокими складками около губ лицо. — Заведено у нас так: откель пришел, что за душой, ничего такого не услышишь. Работает исправно, горба не жалеет — тем и хорош. Бывает, знаешь, за спиртом раскудахчутся, выложат все, как на духу... — Луконин простодушно добавил: — Дак я с Федором не пил...

## Х

Несколько дней поднимались мы по Индигирке. Ни поселков, ни юрт на берегах больше не было. Как-то утром вышел я на палубу и ахнул: берега стали белыми от снега, на ветвях деревьев лежали пушистые, как вата, снежные комья, по черной воде плыли ошметки то ли льда, то ли мокрого снега. Зима в начале сентября!

— Хорошо вовремя с низу ушли, — сказал Луконин, повстречав меня на палубе. — Еще немного, и заморозили бы суда в плесе. Думаете, нас кто пожалел бы? Самим пришлось бы судоремонт вести далеко от затона, а по весне спасать баржи и пароходы от ледохода. Один раз было у нас такое. Ничего, обошлось...

Через день мы подходили к затону. Индигирка в этом месте — восемьсот с чем-то километров от устья — делилась на три рукава. Два были образованы островом посреди плеса. Третий рукав представлял собой узкую длинную протоку, отрезавшую от берега изрядную краюху суши и скорее похожую на таежную речку. В этой-то протоке, совершенно изолированной от основного русла реки, и располагался затон. В глубине тайги на высоком берегу протоки виднелись какие-то строения.

Было свежо. Небо, обернутое длинными лентами облаков, казалось темнее заснеженного берега. Тайга, теперь лишенная хвои, была неприютной и холодной. Пароходы с баржами толпились около устья протоки, слышались гудки, команды в мегафон, между судами сновали катера с белыми, как льдины, валами пены у форштевней...

Все, кто был занят на вахтах, высыпали на палубу. Радостное настроение моих товарищей невольно передалось и мне. У самого борта стояла радистка. Меня поразило выражение лица Натальи: в нем было и ожидание чего-то светлого, и что-то тревожное.

Пароходы поодиночке втягивали речные баржи в узкое и обмелевшее устье протоки. Но с пятисоттонной, глубоко сидящей морской рейдовой баржей ничего не могли поделать. Осенью уровень воды в Индигирке, как мне объяснил Коноваленко, сильно понижался, прекращалось таяние вечной мерзлоты по берегам, а дождей в этих местах идет мало. Плоскодонные пароходы и речные баржи и те проходили «впритирку», поскребывая по дну в самом устье обмелевшей протоки, — дальше было уже глубже. Пришлось отвести пятисот-

тонную баржу от устья и поставить у берега в главном русле реки. Из затона приплыл на катере к злополучной барже начальник эксплуатации Василий Иванович Стариков, молодой, спокойный человек в штатском, ладно сидевшем на нем пальто, в обычных ботинках и калошах, что никак не вязалось с нашей форменной одеждой и сапогами. Стариков поднялся на «Индиگیرку», которой были поручены заботы о барже, мельком взглянул на нас, кивнул в ответ на наши приветствия и больше уже ни на кого не обращал внимания, весь поглощенный происшествием с «пятисоттонкой». Он проверил осадку баржи, спустился в трюм, оглядел грузы — мешки, тюки, огромный ящик с печатной машиной для нашей типографии, какие-то механизмы, — молча покачал головой и, поднявшись на палубу, остановился в раздумье. Лицо у него было крупное, с выдающимися челюстями и широкими губами, от холодного ветра покрывшееся кирпичного цвета пятнами, будто неровно растертое грубым полотенцем.

— Доигрались! — негромко, ни к кому не обращаясь, сказал он. — Бросили баржи в плесе... Пришли бы на два дня раньше, вода еще держалась...

Столпившиеся вокруг него речники «Индиگیرки» помалкивали. Молчал и Васильев, приплывший вместе со Стариковым на катере и сейчас хмуро смотревший на холодную сизую воду за бортом.

— Попробуем еще дернуть, — сказал он, — может, протащим...

— Что же пробовать! — Стариков горько усмехнулся. — Гак сорвать, пароход повредить. Вон, видно, насколько она сидит, — он кивнул на борт. — И глубину устья мы уже раз десять промеряли. Одно остается: перевалить на берег все грузы из трюмов, на санях перевезти в склады. А весной до ледохода вдернуть ее в протоку, чтобы не переломало ледяными полями. Лед два метра толщиной, шутка ли...

— Может, пустую протащим? — не очень уверенно спросил Васильев.

— Вода упадет, пока разгружать будем, вдобавок и пароход здесь останется, не пройдет в устье, — сказал Стариков.

— Я ответственность за пароход на себя возьму, — сказал Васильев, — рисковать так рисковать... Расписку напишу.

— Ваша расписка воды не прибавит, — сумрачно сказал Стариков, — а ответственности и я не боюсь...

Васильев помолчал, видимо убежденный логикой Старикова, и каким-то просительным тоном сказал:

— А катером?

— Катером можно, — Стариков кивнул, — попробуем, терять нам нечего, катер по самому фарватеру всегда проскочит. Только сил у него не хватит по грунту ее протолкнуть.



Так и не побывав в поселке затона, мы опять — третий раз в последние дни! — принялись за мешки и ящики. К барже собралось все мужское население поселка. Работали грузчиками вместе с членами команд и Кирющенко, и Васильев, и Стариков, молчаливый, сдержанный, мой редактор, и бухгалтеры, и геологи... Ни о какой двойной оплате и речи на этот раз не было, всем стало ясно, что положение угрожающее, никто никого не упрекал, не агитировал. Измазанные, с разгоряченными лицами, сваливали мы с плеч на берегу очередной ящик или мешок, бегом возвращались в трюм и с новым грузом в меру своих сил спешили к штабелям. Никогда в жизни я так не уставал и никогда в жизни так не радовался общему дружному труду. На этот раз нас увлекал не спортивный азарт, не похвальба друг перед другом. Каждый понимал, что работа наша необходима, неизбежна, не выполнив ее, никто не смог бы спокойно жить...

В темноте катер развез нас по пароходам, прорвавшимся в протоку. После ужина мы разошлись по каютам и повалились на койки, не раздеваясь, чтобы чуть свет, по гудкам пароходов, подняться с ломотой в плечах и ногах и опять приняться за работу. К концу второго дня на берегу выросла гора грузов, и только тогда я стал зрительно и, так сказать, физически ощущать, что значит пятьсот тонн! Эти пятьсот тонн и еще примерно такие же грузы, покоившиеся в других баржах, должны были кормить, одевать, снабжать охотничьими боеприпасами и оружием, инструментом, посудой в течение целого года жителей края, прилегающего к Индигирке, по территории превышающего несколько государств Западной Европы. Но еще и речников затона и геологов, работавших где-то в верховьях реки... Думаю, что в эти два дня никто из нас не вспоминал о том, зачем он забрался в такую далищу и что будет делать вскоре. По крайней мере, все это время мне и в голову не приходило, что надо править заметки и выпускать газету, что кто-то стрелял над моей головой, и что на свете есть Наталья с ее непонятными переживаниями и в чем-то укоряющая себя бабушка Катя, и с горечью вспоминающая своих родителей Маша... Мы все как бы слились в один организм, в один характер, в одно устремление...

Вечером в трюме остался лишь семисоткилограммовый ящик с нашей печатной машиной. Мы никак не могли вытащить этот тяжеловес по трапам. Под ним ломались ступени, и ящик соскальзывал обратно, грозя продавить своими углами трещащую под ним слань и поднять толкавших его снизу людей.

— Чертяка! — в сердцах воскликнул наконец Васильев. — Семьсот килограммов — это не груз для такой дуры, попробуем ее вдернуть в протоку вместе с ящиком...

— Попробовать — попробуем, но ящик так или иначе надо вынести, — хмуро сказал Стариков. — С грузом выкалывать баржу из

льда — что здесь, что в протоке — не дам. Опорожнить надо посудину...

— Опорожним, — сказал Луконин, ладонью сдвигая вверх ушанку и вытирая пот со лба. — Никуда он не денется... Не такие еще тяжело-весы поднимали, пароходы без всяких кранов на городки ставим, а то подумаешь — полтонны с лишком...

— Дурости в нем, как у живого! — сказал Стариков, фамильярно похлопывая ящик ладонью. — Никогда не думал, что печатная машина такая тяжелая. Мы еще с ней горюшка хватим...

Мы вышли из трюма. На катер завели буксир, суденышко развернулось, вывело огромную по сравнению с ним баржу на фарватер и устремилось в протоку. Даже разгруженная баржа застряла в устье у песчаной косы. Катер едва сволок ее с мели обратно и отбуксировал на прежнее место у берега в главном русле реки.

Васильев крепко выпругался, окинул нас свирепым взглядом, точно во всем были виноваты мы, и сказал:

— Черт с ней, пусть стоит здесь до весны...

— Хорошенькое дело — черт с ней! — пробормотал Стариков, — вот где она у меня будет всю зиму, — он стукнул себя кулаком по шее. — Пошли ящик вытаскивать.

— Да что ты, Василий Иванович, дался тебе этот ящик, — воскликнул Васильев. — Посмотри, какую гору на берег навалили. Кто бы мог подумать — пятьсот тонн за два дня нашим составом... А ты — ящик! Всякое настроение пропало, успеем еще. Работать без отдыха хорошо, когда «на-ура», а это что...

— А я вас не неволю, вы начальник пароходства, у вас свои дела, а у начальника эксплуатации свои, — спокойно сказал Стариков. — Это не просто ящик, это печатная машина для типографии.

Кирющенко, стоя в сторонке, прикрыл ухо воротом телогрейки от знобящего ветерка, дувшего сверху по реке и рябившего отсвечивающую вороненой сталью воду. Он поглядывал то на одного, то на другого и хранил молчание.

— А-а, как знаешь... — с раздражением сказал Васильев и, повернувшись, пошел к трапу, перекинутому на берег.

— Куда вы? — удивленно сказал Стариков. — По берегу до зато-на два километра в снегу идти. Катер же стоит под бортом.

Васильев отмахнулся от него, как от назойливой мухи, сошел на берег и упрямо зашагал по снегу в своих ботфортах к устью протоки.

— Вольному воля... — пробормотал Стариков, провожая начальство взглядом и пожимая плечами, и, обернувшись к нам, бросил: — Пошли!

Усталые, злые на Старикова за его упорство, мы спустились в трюм вслед за ним.



— Чего ты собрался делать? — спросил Стариков и посмотрел на боцмана.

Луконин обошел вокруг ящика, оглядывая его со всех сторон, и остановился, задрав ушанку с одного бока, обнажив ухо, словно к чему-то прислушивался.

— Ну что? — спросил Стариков без малейшего намека на желание покомандовать — он прекрасно понимал, что опыта у боцмана в обращении с тяжеловесными грузами больше.

— Вытянем! — сказал Луконин, однако не приближаясь к ящику.

— Вытянем, вытянем!.. — вдруг отходя от сгрудившихся около ящика рабочих, передразнивая, воскликнул синеглазый Федор. — Полдня танцуем вокруг него, а он ни с места... Типография, говорят, так надо вытягивать.

Был Федор все таким же упругим, с угловатыми плечами, лишь спина, как мне показалось, чуть горбилась после тяжелой работы.

Луконин покладисто спросил:

— Чего скажешь, Федя? Как с им управиться?

— А так и управиться, — с вызовом сказал парень, — ручками... От разговоров он вверх не пойдет. Давай, ребята, облепляй с трех сторон, подвинем к трапу...

Мы разом подошли к ящику и, уцепившись за выступавшие укосины, налегая плечами на доски, подчиняясь командам Федора, как-то неожиданно для себя проволокли его по слани.

— Так-то оно лучше... — сказал Федор. — Давай-ка еще раз...

И опять мы дружным усилием стронули ящик и подволокли его еще ближе к трапу.

— Пеньковый конец давай, — скомандовал Федор боцману. — Заведем за ящик, настелим доски на трап, должен пойти...

Луконин отправился на палубу за канатом. Меня поразило, что никто не пытается оспаривать распоряжений парня, ему подчинялись все, и даже Стариков и Кирющенко покорно выполняли его команды.

— Поберегись! — раздался сверху возглас Луконина, и к нашим ногам на слань трюма с глухим стуком упал тяжелый пеньковый крученный буксир в руку толщиной.

Федор завел канат за ящик, кто-то уложил на трап доски. Дружным рывком с общим утробным стоном мы приподняли одну сторону тяжеловеса, подтащили его и положили на доски.

— Идите наверх все, — скомандовал Федор. — Я позади ящика встану. Упустите — от меня мокрое место останется. Чего смотрите? — прикрикнул он, когда мы усталились на него и не двинулись с места. — Снизу мне видней...

— Выдь с нами, — сказал Луконин, — неровен час...

— Иди, иди, боцман, — с усмешкой сказал Федор. — Помнишь, потягаться со мной хотел? Вот тот час и пришел. Иди наверх

и командуй. Ящик завалишь, тебе за меня отвечать придется. Иди, иди, а то как бы... — Федор не кончил фразы, подошел сзади к ящику и примерился к нему.

## XI

Стариков в нерешительности стоял перед Федором. Мы ждали, что скажет Стариков. Его-то слово было последним, он начальник эксплуатации.

— Уходи,— сказал Стариков,— лучше я останусь.

— А они не вытащат,— сказал Федор, кивая на нас и усмехаясь,— побоятся начальство задавить.

Стариков еще постоял, хмуясь и глядя себе под ноги, видимо, борясь с самим собой.

— Нет, лучше я останусь,— сказал Стариков.— Надо посмотреть, как он пойдет...

Стариков приблизился к Федору и попытался оттеснить его плечом от ящика.

Федор не уступил, синие глаза его потемнели, он сумрачно сказал: — Василий Иванович, не вводи в грех...

— Ну и оставайся! — сказал вдруг разозлившийся на упрямство парня Стариков и пошел к трапу.

Ящик мы вытянули лишь на половину трапа, на большее сил у нас не хватило. И удержать мы его не смогли, канат медленно стал сползать обратно в трюм.

— Держи! — раздался из трюма отчаянный возглас Федора.

И вслед затем прямо в люк, минуя трап, прыгнул человек. Из темноты трюма слышались глухие удары о слань от падения человеческих тел, и канат, срывая нас с ног, скользнул в люк. Ящик внизу глухо ударился о слань, затрещали доски и все смолкло. Мы кинулись в трюм. Неподалеку от ящика лежали двое, ощупывая головы и бока. Оказалось, что в тот момент, когда ящик стал вырываться из наших рук, в трюм прыгнул Данилов и своим телом вышиб Федора из-под ящика.

Стариков стоял и молча глядел на поднимавшихся матросов. Данилов прошелся по трюму, прихрамывая и держась обеими руками за коленку. На лбу Федора блестела изрядная шишка.

— Как бы не Данилов — хоронили бы вы меня... — угрюмо сказал он, потирая голову. — Одна бы труха осталась...

Стариков пошел к трапу. На первых ступеньках остановился и, повернувшись к нам, сказал:

— Все! Идите по домам, потом когда-нибудь вытащим... — А вы, — он оглядел пострадавших, — в больницу сейчас же... Садитесь на катер, я пока с грузом на берегу разберусь.



Стариков не стал дожидаться, что мы на это скажем, и поднялся на палубу. Федор прислушивался к шагам начальства над головой по стальной палубе, и едва звон металла затих — Стариков ступил на трап, — оглядел нас непримиримым взглядом и проговорил отчаянно злым, осипшим голосом:

— Идите наверх, опять беритесь за канаты и тащите... Все отседа к чертовой матери...

Мы — и Кирющенко в том числе — покорно двинулись наверх. Кажется, люди и впрямь остервенели, через десять минут злополучный ящик с печатной машиной стоял на палубе. С берега прибежал Стариков, грубо выругался — никогда до того я не слышал, чтобы он ругался — и погоды немного сказал:

— Молодцы!

Федор молча повернулся, глянул на меня, пробормотал:

— Получай свою типографию, герой! — и, усмехнувшись, пошел к борту на катер.

Луконин деловито огляделся вокруг, сказал, что надо будет собрать побольше трапов, положить один на другой и тогда только стягивать ящик на берег.

— Не убежит, завтра возьмемся... — добавил он.

Стариков смотрел вслед Федору и покачивал головой. Наконец сказал:

— Плывите, пришлете катер за мной, — и пошел опять на берег к грузам.

Грузчики, повеселев, шумно переговариваясь о том, как типография не давалась и как все-таки с ней сладили, пошли садиться на катер. Редактор Рябов, в помятом кителе, с выбившимися из-под шапки и прилипшими к потному лбу волосами, по пути на катер подошел ко мне и негромко сказал:

— Без этого синеглазого не вытащили бы, и газету не на чем было бы печатать. Поговори с ним, дай зарисовку в первый номер.

— Да! Вот так Федор! — сказал я. — Только сейчас он не станет разговаривать.

— Это верно, — согласился Рябов. — Почему-то обозлен на всех. Станный человек... — задумчиво проговорил он и отошел от меня, смешался с толпой грузчиков у борта, дожидавшихся своей очереди спуститься на катер.

Никто из команд судов не успел перейти в дома на берег, катер опять развез нас по пароходам и баржам. Луконин, Федор, я и еще несколько человек первыми высадились на «Индигирку», стоявшую уже в протоке. Спать, спать... Я отправился без ужина в свою каюту и, не раздеваясь, тяжело повалился на койку. Кто-то постучал в дверь.

— Входи, — пробормотал я, не поднимаясь с койки.

Дверь скрипнула. Я лежал, уткнувшись лицом в подушку, немного повернулся и одним глазом покосился на вошедшего. В каюте, прикрыв за собой дверь, стояла Наталья. Не по размеру большая телогрейка обвисла на ее плечах. Девушка смотрела на меня немного испуганно и молчала. Я медленно поднялся, сел на краю койки, потирая глаза.

— Извини,— сказала Наталья,— я ненадолго, сейчас уйду...

Я молчал, тупо уставившись в пол, не находя в себе силы подняться.

— Садись,— сказал я.

Наталья покачала головой.

— Что у вас произошло на барже? — спросила она.

— Федора чуть не придавило...— безразлично, все еще в полудреме сказал я.

— Боже мой!..— тихо проговорила Наталья.— Как же так? Он ничего не говорит...

— Ящиком с печатной машиной... Данилов спас Федора... Если бы не Данилов...

Я испытывал странную физическую боль оттого, что мне не дают заснуть. Наталья смотрела на меня болезненным, страдальческим взглядом.

— У него несчастная судьба...— проговорила Наталья.— И еще это...

Сейчас мне было все равно, какая судьба у Федора. Сквозь не отпускавшую меня дрему я смутно вспоминал, что Рябов просил меня поговорить с Федором, написать о нем. Постепенно я стал засыпать, теряя представление о реальности, и очнулся, когда подбородком коснулся груди. Вздрогнул, выпрямился, у двери никого не было, Наталья ушла. Я с облегчением повалился на койку.

Утром проснулся посвежевшим, ломота в плечах и ногах прошла, наверное, стал привыкать к тяжелому труду. В каюту постучали, вошел Семен Рябов, я узнал его имя вчера в трюме.

— Долго спишь,— сказал он,— надо с баржи выгружать на берег печатную машину нашу. Семьсот килограммов,— добавил он,— мы теперь все на килограммы прикидываем: куль с мукой — восемьдесят, ящик с маслом — двадцать пять, куль колотого сахара — девяносто, ящик со стеклом — сто двадцать... А наша машина, поди ж ты, семьсот... Вот житуха пошла,— заметил он, совсем как сказал бы Луконин или Федор, и рассмеялся.— Местную лексику осваиваю. Закурить тут у тебя можно?

Он присел на край койки и принялся сворачивать из клочка газеты цигарку, насыпав на него крупно нарезанную, пахнущую медом махорку.

— Ты же папиросы куришь,— сказал я.

— Выпросил у ребят махры, тоже, знаешь, свой колорит...



Семен разжег сигарку, затянулся, каюта наполнилась синим, едким дымком, стало как-то уютнее.

— Да, все своими руками, правильно Васильев сказал, — поспешно одеваясь, заметил я.

— Тоже герой! — усмехаясь, сказал Рябов. — Энергичен, умен, и уважает его народ, а смотри, как он с этой «охотой»... Что-то я его не пойму.

— Посмотрим... — неопределенно сказал я. Васильев мне чем-то нравился, и не хотелось раньше времени осуждать его. Судить людей легко... — В этой глуши и в самом деле не так, как там... — я кивнул куда-то в сторону.

— А что не так? — спросил Семен и острым взглядом сквозь стекла очков посмотрел на меня. — Да, что-то не так, а главное, все же так, как и там, откуда мы с тобой приехали. — Он задумался, забыв о своей сигарке. — Знаешь, — заговорил он, — читал я в какой-то статье, уж не помню где, что труд немеханизированный, без машин, без техники — это будто бы не социализм. Речь в той статье шла о каком-то романе, где показывалось, как начали осваивать таежный уголок, вот вроде нашего — все своими руками... Разве так можно, говорилось в статье, писать о советских тружениках; без техники — это уж не советский человек... Вот как было закручено! А если е тут нет, этой техники, если все только начинается? Разве дело в том, как работают — с техникой или без техники? Во имя чего трудятся, что хотят создать — вот что важно. Так вот это самое «во имя чего» и там, в обжитых районах, и у нас — одно и то же. И советский человек, если он руками вытягивает из трюма тяжеловес, все же остается советским человеком, делает это во имя строительства социализма. Прав я или нет?

— Ну, а Васильев разве не во имя строительства социализма? — не очень уверенно возразил я.

— Пароходом за лосями?.. — Рябов насмешливо посмотрел на меня.

— Он искал путь к углю в верховье Аркалы, катер сел на мель, пришлось на плоту одному сплывать... — возразил я.

— Об этом не слышал. — Рябов встал и направился к двери. — Заболтались мы тут с тобой. Стариков нас ждет, не хочет выгружать без нас, боится поломать нашу машину. Завтракай и приходи скорее.

С выгрузкой печатной машины на берег тоже пришлось помучиться. Толстые пароходские трапы гнулись под ящиком, как веточки. Пришлось подпирать их стойками, выкладывать лежневую дорогу из досок и бревен по берегу протоки до самого дома типографии и редакции, срубленного среди тайги из желтоватых лиственничных бревен, пока еще без крыши и ступеней у порога, которые заменяла ребристая доска баржевого трапа. Тянул я вместе со всеми нашу печатную машину и мысленно поругивал автора той статьи, о которой

говорил Рябов. Выходило по той статье, что, пока не будет кранов и автомашин для доставки печатной машины в помещение редакции, нечего и газету в тайге выпускать, ибо без техники мы — не советские люди?.. А мы ее тянем, и дотянем, и установим, и будем выпускать нашу советскую газету «Индигирский водник»...

Дотянули мы печатную машину к середине дня, вызволили ее из ящика, ничего не сломав, и установили на ряжах, загодя вкопанных под полом дома в вечную мерзлоту. Наконец-то мы, газетчики, обрели свое место в тайге.

В тот же день команды покинули пароходы и разгруженные около склада баржи. Суда отводили от берега и ставили на якоря одно за другим в русле протоки на зимний отстой. Здесь они вмерзнут в лед и останутся до весны. Тушили топки пароходов и спускали пары.

## XII

На жительство меня устроили в одной из палаток в полотняной комнатке. Фанерная дверца в нескольких местах была пробита финкой, у матерчатой стенки стоял топчан, у двери на табуретке ведро с водой, а посредине — железная печка. Едва я растопил ее, комнатка стала наливаясь теплом, бока печки угрожающе зацвели вишневым накатом. Пришлось плеснуть в ее дверцу воды, она ответила взрывом золы и пара мне в лицо, и я понял, что обращаться с ней надо деликатно. Разместил свои вещи в комнатке и отправился осматривать поселок.

Затон Дружина, название которого, видимо, произошло от какого-то военного поста землепроходцев, вытянулся одной улицей по высокому берегу протоки. Стояло два жилых «семейных» рубленых барака, здание конторы и мастерских и каркасные палатки с прогоревшими от искр из железных труб крышами. Дальше палаток обнесенные высоким тальниковым плетнем возвышались склады. Из Дружины со склада санным путем многие грузы должны были перевозиться в районный якутский центр Абый за шестьдесят километров от затона, куда не было никаких дорог, только зимник по замерзшим болотам... А еще дальше склада среди тайги белели свежесрубленными бревнами дома якутской школы-интерната. Крохотный, затерянный в тайге поселочек!

Наша редакция — редактор Рябов и я, литсотрудник, — разместились в комнатке, соседней с той, где установили печатную машину. Наборщик, паренек из Якутска, Иван, расставил рядом с машиной наборные кассы. Был он тихим, несмелым, видно, скучал по родным, и только постоянная возня со шрифтом отвлекала его от грустных мыслей.



Мы уселись за план первого номера «Индигирского водника», и тогда Рябов вспомнил о своем задании:

— Говорил с Федором?

Я отрицательно покачал головой.

— В расторопности тебя не упрекнешь...— мрачно сказал редактор.

— Да не в том дело...— возразил я.— Не любит меня Федор, а почему, и сам толком не знаю... Сложное это твое задание.

— А я и не говорю, что простое,— Рябов упер в меня взгляд из-за стекол очков.— Правильно, сложное. Вот ты и разберись. Тот самый вопрос: «во имя чего?» Помнишь? Оселок, на котором люди проверяются. Не каждый бы пошел на такой риск, а ведь он понимал, на что идет. Да и Данилова не обойди, Федор ему жизнью обязан. Чутьем профессиональным чувствую, что важный узелок. Давай-ка начнем мы с этого нашу газету. Принципиальные возражения есть?

— Нету,— сказал я.— Только согласится ли Федор?..

— Плох тот журналист...— начал было Рябов и оборвал сам себя: — Короче говоря, первое редакционное задание...

Давно я хотел поговорить с редактором о том, чтобы он отпустил меня с геологами, которые вскоре должны были на оленях отправиться со всем своим инструментом, приборами и продуктами на далекую Аркалу и обосновываться около угольных пластов, когда-то замеченных охотниками в обрывах берега пустынной реки. Даже предварительно договорился с начальником отряда Горожанкиным, что они захватят меня при условии, если я заберу с собой необходимое количество продуктов, у них запасов было в обрез. Вернуться я хотел на тех же оленях, привезти с собой очерки о редкостном путешествии, о первых днях работы геологов. Что может быть интереснее для журналиста? В редакции московского спортивного журнала, где я начал работать после окончания Литературного института имени Горького, меня редко можно было застать, всеми правдами и неправдами я вырывался оттуда в поездки по далеким краям, иной раз приводя в негодование редактора, потому что старался оформлять командировки в его отсутствие. Но каждый раз так случалось, что ему приходилось смиряться: то я привозил интересный и нужный материал, чем искупалась моя непоседливость, то он сам вынужден был отправить меня с каким-нибудь срочным заданием.

Горожанкин, крепкого телосложения, с коротко остриженной гривкой седых волос, относился ко мне благосклонно. Во время морского рейса рассказал немало историй из своей жизни и работы на зимовках в Арктике, контакт, как говорится, был налажен. Требовалось лишь согласие Рябова и несколько дней, проведенных в совместной поездке с геологами, и очерки, как мне казалось, должны были получиться интересными.

Все это я постарался теперь изложить Рябову как можно убедительнее.

— Да, интересно,— сказал Семен без малейшего энтузиазма и поиграл пальцами по столу.— Восьма! — добавил он.

— Но нужно кому-то работать в редакции...— нудным голосом произнес я слова, которые не раз уже слышал от московского редактора.

— Ты провидец...— сказал Рябов.— Я скажу больше: ты рассуждаешь как зрелый муж, что, правда, не всегда с тобой бывает.

Я молчал и старался не смотреть на редактора, московская история повторялась со всеми подробностями.

— Хорошо,— сказал Рябов,— я готов поверить, что очерки будут, даже готов тебя отпустить. Но ведь не я же решаю, поговори с Кирюченко. Мало того, что работник редакции, ты прежде всего работник политотдела. А пока что начальник политотдела сказал, чтобы я направил тебя на склад, муку с берега убрать. Все службы затона выделяют часть работников. Я бы и сам пошел, но он требует к вечеру передовую, хочет помочь сориентироваться в хозяйственных вопросах. Кстати, весь рабочий класс мобилизован, несомненно, и Федора встретишь на складе...

Вышел я на порог дома после совещания с редактором, оглядел поселочек, и тут он показался мне и не таким крохотным, как в тот раз, когда я его впервые осматривал, и жизнь в нем не столь уж простой, как мне представлялось, когда мы сволакивали с баржи свою машину. Разговор с Федором не сулил ничего хорошего.

Грузчики перетаскивали мешки с берега, где их свалили, спешно разгружая баржи, и укладывали на территории склада в штабели высотой с двухэтажный дом. На самый верх поднимались по трапам, положенным на мешки. Среди грузчиков был и Федор, еще издали я заметил его высокую стройную фигуру. Я подошел к навалыщам, поставил свое плечо и двинулся по трапам. Свалил наверху штабеля один мешок, второй, третий, четвертый... Ритм труда захватил меня, я шагал в веренице грузчиков, стараясь не отставать от переднего. Во время перекура подсел к Федору на ящики, сложенные на снегу рядом с хрупкой, сизой коркой льда заберегов. За полоской льда чернела похожая на темное машинное масло, недвижимая вода протоки.

Федор скосил на меня отдававшие холодной синевой глаза, усмехнулся, но ничего не сказал.

— Почему ты полез под ящик, там, в трюме?..— спросил я.

— А тебе-то что? — враждебно глянув на меня, в свою очередь спросил Федор. И вдруг, повернувшись ко мне и сощурившись, сказал: — Зачем про то Наталье говорил?

— Она спросила...— растерявшись, не ожидая такого вопроса, пробормотал я.



— Не в свое дело суешься... — с угрозой сказал Федор. — Нашелся соболезнователь!

— Так ты бы ей сам рассказал. — Раздражение охватило меня. — Что ты ей нервы дергаешь своими выходками? Жалко смотреть на нее. Притворяешься, будто тебе жизнь не дорога...

Федор вскочил, прошипел мне в лицо:

— Отойдем, поговорим...

— Поговорим! — Я тоже вскочил.

Мы зашли за штабель с мукой, Федор сказал:

— Оставь Наталью, слышишь? Не доводи... — Он посунулся ко мне, толкнул плечом, прижал к мешкам штабеля. — «Зачем под ящик полез...» — передразнивая меня, воскликнул он. — В душу мне не лезь... Не лезь мне в душу. Ты небось не смог, хоть машина твоя, а я сумел, выдюжил...

Я видел, что он ищет ссоры, готов ударить меня, губы его плотно сомкнуты, побелели от напряжения, на шее напряглись мышцы.

— Очень ты мне нужен! — закричал я в самое его лицо. — Мне для газеты, Рябов просил...

— Чего-о?! — проговорил Федор, отпрянув от меня. — Чего еще? Для газеты?..

Видно было, что такого он никак не ждал. Я тотчас понял, как неуместно было мое восклицание, теперь от Федора ничего не добьешься, для газеты он не станет о себе рассказывать. Повернулся и пошел к берегу. Перекур кончился, я опять занял свое место в веренице грузчиков. Сбросив мешок наверху штабеля и сходя вниз, увидел поднимавшегося по трапам Федора. Он прошел мимо, вытянувшись под мешком, как струна, не подняв глаз, в лице — ни кровинки.

На следующий день у меня произошло неприятное объяснение с редактором, я сказал, что писать о Федоре не буду, не могу его понять, а формальная отписка меня не устраивает.

Рябов молча смотрел на меня, мне показалось обиженно и даже сердито.

— Федор остается за тобой, — сказал наконец Рябов. — Что-то у человека сложное в жизни, а поступил он смело, честно. Мы же не формалисты, а журналисты, помощники партии, и можем и должны понимать людей, относиться к ним терпимее, уважительнее... Может быть, Федору как раз и недостает внимания, моральной поддержки... Одним словом, за тобой эта тема остается. А в передовой я упомяну и Федора, и Данилова.

— Рассуждать легко, а попробовал бы ты с ним поговорить, — сказал я обиженно.

— Смотря как поговорить... — задумчиво произнес Семен. — Я тебе вот что скажу, — оживился он, — по себе знаю: самое трудное в нашей профессии — говорить с людьми. Разговорить человека

можно только, когда он в тебе самом увидит человека — думающего, способного понять страдания или радости другого, мудрого и справедливого. А иначе будет формалистика, ерунда, одним словом. Научить тебя, как разговаривать, я не могу, мне самому надо овладевать этим искусством. Дерзать, дружок, надо, дерзать! Бери-ка гранки первого номера и садись вычитывать, опять мы с тобой заболтались... Кстати, после обеда зайди к начальнику политотдела, ты ему нужен. Гранки, которые не успеешь вычитать, закончишь вечером.

— А зачем?..— спросил я.— Чего ему надо? — Мне показалось, что Рябов знает, в чем дело, но почему-то не говорит.

— Кирющенко сам тебе объяснит...— уклончиво сказал Семен.— Кстати, и о геологах поговорить.

Сразу после обеда, то есть наспех проглоченных разогретых прямо в банке на моей печке рыбных консервов — никакой столовой в Дружине не было — я предстал перед начальством. Сидел Кирющенко за столом, заваленным газетами, книгами и журналами, которые я привез из Москвы по его телеграмме. Стол был особый, сработанный затонским плотником, грубое подобие письменного, скорее похожий на саркофаг, затянутый не сукном, а малиновой байкой, из которой шьют лыжные костюмы. Стулья, массивные, с неуклюжими, как доска, спинками, были обтянуты той же байкой. За столом-гробницей в кителе с наезжавшими на пальцы рукавами Кирющенко казался небольшим и не страшным, но уперся он в меня таким неуступчивым взглядом, что стало не по себе.

— Вот что, журналист,— решительно сказал он,— придется тебе взяться за драмкружок...

Я ждал чего угодно: выговора за то, что еще не вышел ни один номер «Индигирского водника», правоучений по поводу бегства «Индигирки» в открытое море — он же недаром меня туда посадил, — еще какого-нибудь разноса. Но только не драмкружка. Никогда в художественной самостоятельности участия я не принимал по причине отсутствия таланта. Сидел я против Кирющенко оглушенный, не произнося ни слова. Он смотрел на меня холодным, строгим взглядом и, видимо, ждал, что я скажу.

— Так я же не умею... Ну никогда, ни в одном драмкружке...— беспомощно пробормотал я.

Кирющенко встал, подошел к окну, повернулся ко мне спиной, что-то разглядывая за стеклом. А может быть, просто смотрел в «никуда», как это бывало, когда его одолевали какие-то мысли. Вдруг стремительно повернулся ко мне.

— Слушай, кто тебя здесь будет спрашивать, умеешь ты или не умеешь? — заговорил он.— Меня тоже не спрашивали. Сказали: «Надо!» Работал наборщиком, таким, как ваш Иван, разве что постарше. Есть партийная дисциплина, понимаешь?

— Понимаю,— сказал я.— Работа у вас ответственная, нужная.



А то — драмкружок, можно бы и без него обойтись... Вот газета — другое дело...

— Газета нужна, какой тут может быть разговор, — сказал Кирющенко. — А знаешь, что я тебе скажу? Драмкружок нам тоже важен. Работа у нашего народа тяжелая, сам ты испытал, а дальше еще труднее будет. Пароходы и баржи из льда выколоть, днища красить, а доков и кранов, сам знаешь, у нас и в помине нет, одними ручными домкратами. Это как? — Кирющенко застыл, округлив глаза и склонив голову чуть набок. — Как это, я тебя спрашиваю? А попробуй-ка урони такую махину, как «Индигирка», с котлом и паровой машиной? Под суд! да что под суд — нечем будет грузы с моря завозить, весь край оставим на голодном пайке. А он, этот край, сколько пушнины дает на экспорт, а сколько еще золота?.. Только разговор, что дикая тайга — народное это достояние, им надо по-хозяйски распоряжаться... Но одной работой с утра до вечера человек жив не будет, и для души что-то надо. А драмкружок, по опыту знаю, многих займет, к книгам приохотит, от спирта убережет. Газета, беседы, партийная учеба. Духовная жизнь человеку — как воздух для всякого живого существа. Какой ни есть медвежий угол, а жить надо по-советски.

### ХІІІ

Я сидел, опустив голову, раздумывая о горькой своей участи: и поездка на Аркалу срывается, и кто знает, как надо работать с драмкружком...

— Лучше бы с геологами на Аркалу съездить, ~~не~~ цепляясь за соломинку, сказал я. — Тоже важная работа, написал бы о них в газете, я журналист, а не актер. Настоящая романтика у геологов...

— Поменьше бы Васильева слушал, — неожиданно сказал Кирющенко. — Вот уж романтик так романтик. Дорого обходится государству его романтика. А геологи прекрасно и без тебя обойдутся. Если надо будет съездить к ним по какому-то серьезному делу — поедешь, а сейчас не романтикой, а работой надо заняться... Давай так договоримся, — подумав, продолжал Кирющенко, — через месяц-другой в клубе должна идти постановка. Самый разгар полярной ночи. Иначе в поселке такое пьянство начнется, что и не расхлебается, к весне судоремонт не закончим. А наломали с этой «охотой» и штормом — будь здоров! К тому, что я сказал, еще вмятины надо на корпусах судов выправлять и обносы заново ладить, «пятисот-тонку» в протоку вдернуть, пароходные машины в порядок привести, да мало ли что...

Он отправился за свой «саркофаг», помолчал и официально объявил:

— Берись за дело!

— А пьесы? — вовремя вспомнил я.

— Поройся в библиотеке, в крайнем случае сам переделай, сократи, допиши для наших условий, только спасибо тебе народ скажет. Ты же грамотнее меня, литературный институт окончил... Зайди, посмотри наш клуб, может, что сделать надо. Эх, мне бы твое образование! — неожиданно воскликнул Кирющенко.

Но он и так прекрасно справлялся со своими обязанностями. Я воспринял это восклицание как малоудачный ораторский прием, встал и, не спросив разрешения, можно ли идти, зашагал к двери, назло гулко ударяя в половицы каблуками сапог.

— Постой-ка! — окликнул он.

Я остановился.

— Возьми на конбазе лошадь, съезди в Абый, встань на учете в райкоме комсомола. Вот как раз геологи через неделю поедут на оленях, каюры дорогу тебе до Абыя покажут. Тут знаешь как: с одного болота на другое по обрубленным лиственницам, на которые болотные кочки насажены, с непривычки один еще заплутаешься.

— Да что мне теперь геологи, — сказал я, с горечью покачивая головой. — Одно расстройство, раз нельзя до Аркалы...

— А ты не расстраивайся, когда важное дело надо сделать. Хочу нашему комсомолу порекомендовать секретарем комитета вместо Андрея тебя избрать. Он собирается учиться, просит его освободить, сам предложил твою кандидатуру. Думаю, учтут, что ты из комсомольцев у нас тут самый грамотный и по годам самый старший, тебе, как говорится...

Кирющенко замолк и сделал вид, что ищет на столе какую-то бумагу, давая мне время освоиться с неожиданным для меня сообщением.

Андрей, секретарь комитета комсомола, во время навигации работал мотористом рейдового катера, а зимой обслуживал старенький нефтяной двигатель электростанции, установленный вместе с динамо-машиной в почерневшем от смазочного масла и нефти срубе на другой стороне протоки. В едином лице он совмещал и заведующего электростанцией, и моториста, и электромонтера, и слесаря. Едва поселившись в затоне, он пришел ко мне в палатку, остановился, подперев плечом хлипкий косяк, и, не сняв ни пальто, ни шапки, принялся выспрашивать, какое у меня образование, какой и когда институт я окончил. Потом спросил, не продам ли учебников за среднюю школу, если они у меня есть. Сказал, что хочет поступать в институт по механической части. Школьных учебников, необходимых для подготовки к экзаменам, у меня не было. От моей помощи в занятиях он отказался: «Не люблю одалживаться...» Круто повернулся и ушел. На заседании комитета комсомола он мог так отчитаться за неуплату членских взносов или нерадивое отношение к работе,

что ему и возражать боялись. Распекал он и меня при всяком удобном и неудобном случае за то, что не веду никакой комсомольской работы — это было правдой, что не помогаю выбирать ребятам «правильную», как он говорил, художественную литературу. «Хвалишься своим образованием, — говорил он при этом, — а какой толк от него другим?» Я помалкивал, удивляясь в душе, чем его рассердил, пока не понял, что просто у него такой характер. А в первый раз я увидел Андрея еще на морском рейде на общем собрании в трюме баржи перед разгрузкой «Моссовета». При появлении Андрея у стола президиума, сооруженного под грузовым люком, возникло всеобщее оживление. От него никому не было пощады, досталось и Кирющенко, и Васильеву, и Старикову, и рабочим мастерской, накануне навигации задержавшим выполнение его заказа для ремонта катерного мотора. В конце концов собрание начало роптать, и не в меру раздражительное и часто оскорбительное для многих его выступление единодушным голосованием было прекращено.

— Вы еще пожалеете! — бросил он всем и, уйдя в глубину трюма, плюхнулся на свое место на мешках с мукой и с ожесточением, срывая пуговицы, распахнул промасленное грубошерстное пальто. — Кто тут еще правду в глаза скажет? — выкрикивал он уже с места. — Трусые вы все!

На него пикали, соседи толкали плечами, но в своем возбуждении он не замечал общего недовольства и продолжал еще что-то бормотать, мешая выступавшим. Кирющенко из президиума поглядывал в его сторону, покачивал головой и посмеивался, видимо, знал, что унять Андрея невозможно, у него сумасшедший характер. После собрания Кирющенко в моем присутствии спокойно выяснил у него, в чем дело, и незамедлительно принял меры по его, в большинстве случаев справедливым, критическим замечаниям.

— Еще вопрос, учтут ли ребята, что я самый грамотный, выберут ли... — заметил я. — Андрея все знают, и он знает, что и как. Критиковать не боится. А я что?..

— Да-а! — протянул Кирющенко. — Покритиковать любит, удержу не знает, что верно, то верно. В прошлом году на отчетно-выборном собрании все выступавшие ругательски ругали его за несдержанность, а как дошло до выборов секретаря, назвали только его. И у всех было одно: никого не боится. А ты думаешь, ж тебе народ не присматривается? Я знаю, как о тебе говорят: работать в трюме умеет. Когда без романтики — у тебя хорошо получается, — добавил он. — Налаживай драмкружок, поверят в тебя комсомольцы и сами изберут секретарем без всякой моей рекомендации. Народ у нас привык проверять людей по делу... Забежал вперед, сказал тебе больше, чем хотел, чтобы ты не очень расстраивался. Дались тебе эти геологи! — с досадой воскликнул он. — Клуб сегодня же посмотри и до отъезда в Абый начни работу с драмкружком на полный ход,



за неделю проводи две-три репетиции, чтобы народ почувствовал у тебя хватку. Всё, можешь идти!

Кирющенко углубился в газеты, разложенные у него на столе, и перестал меня замечать. Я постоял, растерянно глядя на него, и вышел из комнаты, так и не найдя, что сказать. Никакой возможности отступить он мне не оставил. Пришел я в редакцию, не раздеваясь бухнулся на стул, подпер щеку кулаком и мрачно уставился в гранки, лежавшие на столе. Семен раза два взглянул в мою сторону и наконец спросил:

— Ну как, отпустил на Аркалу?

Я отрицательно помотал головой.

— В Абый через неделю ехать, — сказал я, — на учет в райком...

— Мало ли как бывает, если каждый раз расстраиваться, жизнь не в жизнь станет, — мягко сказал Семен. — Гранки все-таки дочитай...

— Сначала клуб посмотрю, — сказал я, постепенно приходя в себя от сочувственных ноток в голосе Рябова. — Вернусь и дочитаю.

— Сходи, — сказал он, даже не спросив, зачем это мне нужно, и я понял, что он знает о драмкружке, но не хочет вмешиваться в дела Кирющенко.

Клуб представлял собою длинную приземистую палатку с двумя трубами над крышей, издали чем-то напоминавшую броненосец. Внутри было так же холодно, как и на заснеженной улочке, даже, пожалуй, холоднее. Пол был уложен из обтесанных тонких стволочек лиственничек. В «зале» стояли скамьи, сцена едва возвышалась над полом. Рядом с ней и у входа громоздились здоровенные бочки из-под горючего, положенные набок, с прорубленными дверцами для поленьев и дымовыми трубами, уходящими к железным листам в матерчатом потолке. Клуб мне понравился своей живописностью, такого я еще никогда не видел.

Пока я расхаживал по сцене, в палатку кто-то вошел. Я шагнул в зал и увидел высокого, худощавого человека в новенькой черной флотской шинели, в меховой ушанке с красивой эмблемой Главсевморпути на козырьке.

— Здравствуйте, — сказал он, одаривая меня доброжелательным взглядом. — Я Гринь.

Густая рыжеватая борода обрамляла щеки и подбородок, кожа лица была нежно-белой. Что и говорить, представительная внешность. Начальство какое-нибудь.

Я тоже поздоровался.

— Так что, — продолжал незнакомец, — товарищ Кирющенко Александр Семенович направил меня в ваше распоряжение. Какие будут указания?

— Это насчет чего?

— Насчет театра, — он смотрел на меня без малейшего оттенка

иронии, и мне показалось, что он совершенно твердо уверен в том, что я создам здесь прославленную театральную труппу.

— Вы хотите играть на сцене? — на всякий случай спросил я.

— Что скажете, то и буду делать. В моем распоряжении конбаза, если по пьесе надо, например, на сцену, извиняюсь, коня вывести, животное будет в лучшем виде.

Я обрадовался: молодец Кирющенко, нужного человека прислал.

— Дров бы сюда подвезти и затопить завтра к вечеру. Репетиция будет, — сказал я.

— На улице, извиняюсь, тридцать пять ниже нуля. Если вечером затапливать, помещение нагреется только к утру. Надо с обеда шуровать...

Мы вышли из холодной палатки и неторопливо зашагали по улочке. Гринь выложил последнюю новость: кто-то ловит зайцев в тальниковых зарослях проволочными петлями, а замороженные тушки складывает в яму за поселком на краю тайги. Гринь обнаружил склад по следам, которые вели к яме. Несколько ночей он сидел неподалеку от ямы, замаскировавшись белым медицинским халатом.

— Он, наверное, тоже за мной охотится, — сказал Гринь, — потому как давно бы пришел за мясом или с новым зайцем. Я все ж таки его перешибу.

— Смотрите, Гринь, как бы вам не досталось, — сказал я, пытаюсь подавить усмешку.

— Очень свободно, — без всяких переживаний согласился Гринь. — Потому как милиции в Дружине сроду не было, а судья и прокурор приезжают к нам из Якутска два раза в год. — И он совершенно серьезно добавил: — Вот бы сыграть нам всю эту историю, как она есть, в нашем театре? Кирющенко сказал про театр, так меня будто токомхватило: сыграть бы, а я посматривал бы в зал. Спокойно не усидит, по лицу видать будет. Читал я одну историю, королевский сын, принц датский, устроил представление, а сам поглядывал на зрителей...

Я остановился посреди улочки и воззрился на своего спутника.

— Так это вы Шекспира читали?

— Шекспира, правильно, сразу видать, вы человек образованный.

— Кто же будет писать такую пьесу? Я не умею.

— А зачем писать? У Шекспира без слов, все на жестах идет, бродячие актеры... Халат медицинский есть, зайцев приволоку из ямы, тайгу на декорации рисуем...

— А почему эта история с зайцами вас тревожит? — спросил я. — В чем дело?

— Непонятно ничего... Тайну хочу разгадать... Тайну! — Гринь глянул на меня и спросил: — А вам разве не интересно?

Смотрел я на Гриня и диву давался: здоровенный дядька и долж-

ность серьезная, заведующий конбазой, а такой невероятный фантазер. Или просто издевается?

— Гринь, — сказал я строго, — вы что, шутите или смеетесь надо мной?

Гринь обиделся:

— Как я могу над вами, извиняюсь, шутковать? Мало того, что вы из Москвы к нам присланы, так вы еще «Индиگیرку» с моря вернули. Старпом Коноваленко рассказывал про вас, мужик, говорит, самостоятельный, капли в рот не берет, ни на людях, ни один на один, хотя, говорит, может, конечно, и больной какой. Так я вижу, что не больной. Уж я-то привык в народе разбираться.

— Но как можно серьезно говорить о каком-то представлении с морожеными зайцами и вашими дежурствами. Это же до того невероятная история, что никто не поверит. Обсмеют. По-детски получается.

Гринь ничуть не обиделся, сказал:

— А со мной только одни, извиняюсь, невероятные, или, как вы сказали, детские, истории и случаются. Рассказываешь — не верят, правильно говорите — еще и обсмеют. Потом, как сами убедятся, всякий смех кончается, принимаются меня жалеть, потому что горя мне от этих историй под завязку... — Он чиркнул себя по шее рукавицей. — Жалеть-то жалеют, а прорабатывают своим чередом. Один раз вспахал вечную мерзлоту, полмешка овса засеял. Поле зазеленело, правда, зерно так и не вызрело, лета не хватило. Бухгалтер ревизию сделал и потом за эти полмешка на каждом собрании с меня стружку снимали. Ну, зерна в самом деле не получилось, так ведь зеленой массы сколь накопил. Овсина летом под круглосуточным солнцем вымахал, верите, как сосновая роща... Кони в драку лезли за тем овсом. Надо же было испробовать, что эта земля может уродить, вы человек образованный, сами подумайте. А еще вот что было...

## XIV

Откуда ни возьмись, на улочке показался Кирющенко в меховой летной кожанке. Гринь сразу замолк.

— Договорились? — подходя, спросил Кирющенко.

— Так точно, — сказал Гринь, — театр будет в лучшем виде... Надо билеты в райфинотделе в Абые оформить...

— Ни о театре, ни, тем более, о билетах тебе, товарищ Гринь, никакой заботы не должно быть, — не поддаваясь гриневскому энтузиазму, сказал Кирющенко. — Твое дело клуб протапливать.

— Завтра разведем пары, — бодро ответил Гринь. — Небу, Александр Семенович, извиняюсь, жарко станет.



— Смотри, палатку не спали. Ты меры ни в чем не знаешь.

— У меня кадры истопников подобраны в лучшем виде, могу вам анкеты принести, собственноручно скопировал, извиняюсь, с политотдельских...

— Что ты чудишь еще с анкетами? — возмущился Кирющенко. — Зачем истопникам политотдельские анкеты?

Он с досадой покачал головой и пошел дальше.

Дня через три, после работы, я обошел общежития и «семейные» бараки, приглашая в драмкружок всех желающих. С Коноваленко у меня состоялся особый разговор. Я встретил его на льду протоки около судов и сказал, что прошу прийти в клуб на собрание драмкружка. Он посмотрел на меня, щурясь от острых снежинок, бивших в лицо. Помолчал. Почему-то отвернулся, потом опять посмотрел на меня.

— Ишь ты! — воскликнул он. — Зачем же я тебе понадобился? Или Кирющенко велел? — Он, все щурясь от снежинок, смотрел на меня. — А не велел, так прежде пойди с ним утряси.

— Да вы что, Коноваленко?.. — Я рассердился. — Какие тут могут быть согласования, это же драмкружок для всех желающих. Мне его поручили, мне и приглашать. Не Кирющенко, а мне работать, ясно?

— Ну, смотри ты! — сказал Коноваленко. — А не боишься, что придется меня подале от твоего кружка прогонять? Опять скажут: куда Коноваленко лезет с его образиной? Не боишься обидеть меня?

— Не боюсь, — сказал я, но слова его меня тем не менее заставили призадуматься. Я знал, что обидеть Коноваленко было нехитро и тогда все мои благие намерения доказать Коноваленко, что его не отталкивают, «принимают», рухнут, да еще неизвестно, с каким треском.

— По глазам вижу, что боишься, — сказал Коноваленко. — Дай срок, надумаю — приду, не надумаю — не приду, ты уж как-нибудь без грешника обойдись...

Кирющенко я все же сказал, что пригласил в числе других в драмкружок и Коноваленко. Мне казалось, что Кирющенко не обратит на мои слова никакого внимания, но он нахмурился и некоторое время молчал.

— Так-то оно так... — произнес Кирющенко. — Как бы не сорвался: кинется в запой, ничем его не удержишь, сраму не оберешься. Не стал бы я его на сцену тянуть. Ну, пришел бы сам, подумали бы, как быть, а теперь что?..

— А вы бы сами взялись за этот драмкружок, — сказал я без всякого почтения.

— А чего ты явился за советом? — резонно заметил Кирющенко. — Сам решил, сам и отвечай.

Прошла потом еще неделя, прежде чем выяснилось, кто же придет на первое занятие. Коноваленко среди согласившихся не было. И вот вечером в палатке возле докрасна раскаленной бочки собралось человек восемь крепких парней в телогрейках, затертых машинным маслом. Гринь уселся на первой скамье и, сняв меховую ушанку, с интересом ждал, что будет. Позднее всех пришел Данилов, сел в отдалении в пустом зале, не сняв даже шапки. Я попросил его сесть ближе, но он сказал, что в драмкружке не будет, просто зашел посмотреть, и я оставил его в покое.

По моему предложению решили поставить сокращенный вариант какой-нибудь пьесы со стрельбой и военными приключениями. Сокращать и дописывать, как нам надо, согласился я, поддержанный обещаниями помогать мне в этом деле.

Оставался один неясный вопрос: кто будет исполнять женские роли. Я сказал, что надо поагитировать жен затонцев.

Из глубины палатки послышался раскатистый смех. В полутемном зале среди пустых скамеек поодаль от Данилова расположился, закинув ногу на ногу, старпом Коноваленко с самокруткой в кулаке. Как он там оказался, когда вошел, я не заметил.

— О-хо-хо!.. — покатывался он вперемежку с надсадным кашлем. — Ох-хо-хо!..

— Чего вы? — спросил Гринь, вставая и поворачиваясь к нему. — Предложение у вас какое или вы, извиняюсь, просто так скалитесь сюда явились? Смех смехом, — добавил он, явно заинтересовавшись странным поведением старпома, — а где предложение? Вопрос важный.

— Допустим, Гринь, ты женился. Хотя где тебе тут откопать достойную невесту, ума не приложу. Ну, допустим.

— Ну так что? — спросил Гринь с обидой в голосе. — Запросто может случиться, мало ли какие неожиданности бывают в моей жизни.

— Правильно, ты без неожиданностей не можешь. Так ты пустил бы твою свою бабу в этот вертеп? — Коноваленко сделал жест рукой в нашу сторону. Я успел немного узнать Коноваленко и понимал, что без преувеличений и острых словечек обходиться он не умеет, и потому обижаться на его восклицание не стал. — Они бы ее тут в два счета обработали, — продолжал он. — Глянь на Андрея, как у него глазищи разгорелись. Глянь-ка! Тигра!

Андрей, всем было известно, парень вьедливый и скорый на слово, видимо, от неожиданности, растерялся и молчал. Недавно, узнав про драмкружок, он спросил, можно ли ему участвовать, и, услышав, что можно и что я даже буду рад, сказал, что моя радость тут ни при чем, одолжений ему не надо. Теперь же он безмолвно уставился на Коноваленко.

— Смотри-ка, зеленым огнем горят, — продолжал Коноваленко,

видимо, была у них какая-то застарелая вражда. — Что, не нравится? А как ты других не за што не про што честишь?

Андрей шальным взглядом окинул обидчика и неприятным, скрипучим голосом процедил:

— На себя бы в зеркало посмотрел... — И вдруг воскликнул: — Пьянствуешь и молодых ребят к тому подбиваешь. Так у тебя есть практическое предложение или ты сюда закатился языком молоть?

— В самом деле, Коноваленко, — сказал я, безуспешно стараясь рассердиться. — Мы делом заняты, а вы...

Коноваленко поднялся со своего места.

— Да, имеется практическое предложение, — изрек он.

— Ну тогда иди сюда поближе и выкладывай, — сказал Андрей отчаянно скрипучим голосом, напоминавшим теперь звук циркульной пилы, врезающейся в доску.

— Не с тобой разговор, — преспокойно оборвал его Коноваленко, — я из комсомольского возраста давно вылупился...

Гринь поддержал Андрея:

— Что вы, старпом, околачиваетесь в темноте, извиняюсь, как тень короля из «Гамлета»? Топайте к свету!

Дверца бочки была распахнута, и жаркие угли и лениво горящие листовичные поленья бросали на наши лица яркие блики.

— Мне и здесь не жарко, — невозмутимо сказал Коноваленко. — Послушайте, что я скажу. Пойдите по семейным, соберите бабьи одежки, юбки и кофты. Лифчики не забудьте, тоже важная тонкость, кто понимает... Напьяльте на мужика всю такую премудрость, в лифчик суньте две кружки и будет вам баба хоть куда. Гляньте на Андрея. Представьте на момент, что он в юбку залез со своими зелеными глазами. Чем не молодка? Глядишь, в зале и жених сыщется, придет за кулисы выяснять, кто такая. И для искусства польза, и чувства добрые в нашей дыре хоть на миг пробудятся. Вот какое мое практическое предложение.

— Может, тебе самому бабой охота, — возмутился Андрей, — ты и влезай... Я и без юбки проживу.

Коноваленко направился к нам, перешагивая через скамьи.

— Согласен, — сказал он, — принимайте хоть бабой. Ну, конечно, сами понимаете... — он развел руками, — не всякая из меня уродится. А так, — он сжал кулак и потряс им, — чтобы подобнее, чтобы с характером...

— Для вас придется, извиняюсь, особую пьесу сочинять, — заметил Гринь. — В какой литературе такую бабу сыщешь? Морда, извиняюсь, обросла, со спирту опухшая, волосья нечесанные, ручищи, как швабры. Смотреть страшно! Какие от всего такого добрые чувства могут пробудиться?

— Ну, ты меня еще в бабьем облики не видел, — обиделся Коноваленко.



— Пускай остается, — сказал Андрей. — Баба в самый раз!

— Наверное, так и придется, — сказал я. — Для начала. А там, может, и придут к нам женщины. Так и решим. Ну уж от женских ролей давайте пока не отказываться, а иначе и начинать нечего.

— Начнем, начнем... — послышались голоса, — не расходиться же теперь... Раз уж собрались...

Скрипнула дверь, кто-то появился в палатке. В полосу света от углей и горящих поленьев вошла женщина в шубке. Все разговоры сразу стихли.

— Можно к вам?.. — спросила она.

Это была радистка. В зимнем наряде я узнал ее не сразу. На ней была оленья дошка, меховая шапочка и торбаса. Наталья присела рядом с Даниловым, наклонилась к нему, что-то сказала, он снял шапку и виновато покосился на девушку.

— Будь ты неладно к ночи!.. — пробормотал Коноваленко.

— Чего вы? — спросил Гринь, отворачиваясь к старпому.

— Наваждение... — сказал Коноваленко.

— Хлеб у него отбивают... — злобно заметил Андрей.

Наталья сунула руки в рукава, нахохлилась, чуть проницески оглядела нас.

— Дьявол... — пробормотал Коноваленко.

— Чего вы там нечистую силу поминаете? — спросил Гринь. — Спирту будто сегодня в магазине не давали...

— Со спирту легче было бы... — сказал Коноваленко.

— Сели бы сюда еще ближе к свету, — сказал Гринь, — не так бы боязно было.

— Не дай бог, — пробормотал Коноваленко.

— Ну вот, — сказал я, пытаюсь предотвратить скандал, — первая ласточка... Будешь играть у нас?

— Буду, — Наталья решительно кивнула.

Еще кто-то вошел в палатку, из темноты раздался требовательный возглас:

— Наталья, выдь сюда...

Данилов резко повернулся на этот возглас, Федор явился. Девушка встала и пошла в темноту зала, дверца легко захлопнулась за ней.

Коноваленко пробасил:

— Оно и спокойнее...

Мы молчали. Обидно стало, что так неожиданно лишились первой исполнительницы женских ролей. Один только старпом побряхтывал, покашливал, делал вид, что доволен поворотом событий.

Дверца опять скрипнула. Мягко ступая в валенках по дощатому полу, вошла Наталья, присела на свое место рядом с Даниловым. Будто ничего и не произошло.

Коноваленко крикнул. Ребята оживились, заговорили все разом

о будущей постановке. Мне поручили найти пьесу о гражданской войне, желательно с участием Буденного и сражениями, сократить или дописать ее так, чтобы батальные сцены приобрели главенствующее значение.

Слушал я возбужденные разговоры и думал о том, что Кирющенко-то, пожалуй, прав, соскучился народ по человеческому, Кирющенко сказал бы: «По культурно-воспитательной работе». Ну так что? Действительно ведь так: культурно-воспитательная работа. Нечего бояться таких как будто примелькавшихся слов. Только у нас особенная эта работа, не такая, как там, «на материке», в обжитых районах. Надо исподволь, не рубить с плеча, общий язык с людьми найти, не бояться их жаргона, соленых шуток. Получится ли?

Вот тогда-то я и подумал, что нет у меня никакого права уклоняться от драмкружка — умею или не умею. «Работать, работать...» — говорил я мысленно, повторяя слова, уже сказанные самому себе во время погрузочных работ в море. — Да! Работать!»

Следующее собрание драмкружка назначили через день, всем хотелось поскорее взяться за дело. Из клуба уходили поздно. Неподалеку от палатки в сумеречной синеве ночи маячила темная фигура. Наталья и вышедший вместе с ней Данилов остановились около меня. Было темно, стояли мы, вглядываясь в лица друг друга.

— Хорошо, что про героическое, — сказала она.

— Да, так и сделаем, — ответил я. — Про то, как Советскую власть отстаивали.

— Как интересно будет и как важно для всех нас, — негромко воскликнула Наталья.

Данилов слушал молча, но мне показалось, что и он разделяет наше волнение.

Подожел тот, что стоял поодаль, худощавая фигура и острые широкие плечи выдавали Федора. Наталья повернулась к нему, и они все трое вместе с Даниловым пошли по улочке.

## XV

Через день на очередном собрании драмкружка появилось еще несколько новых парней, как я понял, скорее даже не из любви к драматическому искусству, а движимые простым любопытством. По затону разнеслась весть, что мы ставим пьесу о гражданской войне со стрельбой, Буденным, белогвардейцами и рукопашными схватками. И в самом деле, порывшись в книгах, доставленных «Моссоветом» и пока еще не оприходованных библиотекой, я разыскал несколько подходящих пьес, где были и Буденный, и белогвардейцы, и стрельба. Одна из них — «Хлеб» по повести Алексея Толстого. Пополнение расселось на задних скамьях в пустой темной

палатке — электричества мы не зажигали, довольствуясь уютным освещением, который исходил из раскрытой дверцы печки-бочки. Затаив дыхание, новички слушали наши споры о том, как лучше воспроизвести грохот выстрелов, чтобы напугать зрителей «до потери сознания», и как и из чего сделать в мастерских «настоящий» пулемет, который, будучи направлен в зал, одним видом своим заставил бы зрителей полечь под скамьями или разбежаться... Кружковцы, по профессиям слесари, токари, плотники и все без исключения охотники, начинали выкрикивать предложения и брать на себя безвозмездное изготовление разных деталей огнестрельного оружия и пиротехнических приспособлений. Никогда и нигде до того не встречал я столь горячего и бескорыстного увлечения искусством. И это было моим утешением.

Из нескольких пьес мы выбрали четыре отрывка, которые должны были идти как самостоятельные одноактные постановки с антрактами между ними. Потом принялись за распределение ролей. Наталье дали роль медсестры у красных. Другая женская роль — кулацкой супруги, бабы властной и сластолюбивой — досталась Коноваленко. Распределение мужских ролей вызвало разногласия: все хотели играть красных. Но в конце концов и это затруднение было улажено, я объяснил, что сыграть врага совершенно необходимо, иначе, если не с кем будет сражаться, героизма красных не покажешь. Простая истина, а не сразу становилась понятной и не только неискушенным в проблемах искусства кружковцам, но и некоторым моим редакторам, с которыми мне иной раз приходилось спорить, доказывая, что жизнь сложнее, в ней не только одни светлые и безмятежные тона, и все дело в том, что героя, как принято говорить «отрицательного», надо писать сильным, но осуждая его, а не смакуя, и тем возвеличивая идеалы нашего общества...

Осталось несколько человек, которым ролей не хватило, но уходить из драмкружка они не собирались. Сначала я не знал, как быть, и тут же ругнул себя в душе: а световые эффекты, а шумы, а декорации, афиши, обогрев палатки? Никто не отказался от этих, как все прекрасно понимали, необходимых дел. Гринь сказал, что может «в лучшем виде» воспроизводить оружейную, пулеметную и ружейную пальбу, а также, если потребуется, гром и молнию и доставлять на сцену живых коней для армии Буденного... Как всегда, он увлекался, сцена для коней была слишком мала. Один лишь Данилов, регулярно являвшийся на репетиции и сидевший до самого конца на задней скамейке, не захотел братья ни за какое дело.

— Смотреть интересна... — говорил он каждый раз, когда я что-нибудь предлагал ему, — никогда не видал, дай посмотреть...

А на следующий вечер — ребята потребовали ежедневных сборов — пошли уже репетиции. Как ни казалось странным, талантливей всех исполнял свою женскую роль Коноваленко. Правда, ужимки



его были так рискованны, что на каждой репетиции мы тратили немало времени, заставляя его играть более сдержанно. Один только Андрей, тая в душе обиду, не желал принимать участие в наших уговорах.

— Все у него в лучшем виде получается, — упрямо говорил он. — Будто с рождения бабой был. Ты бы из юбки и не вылезал, глядишь, и жених объявится...

Коноваленко и не думал сердиться, в свою игру вкладывал душу, и ребята, свободные от выходов на сцену, покатывались со смеху в пустом зале. Он сотворял какой-то свой образ человека — женщины, верховоющей в семье и сознающей неминуемость расплаты. В жизни он сам такой же: талантлив, умен и... не может сладить с самим собой, перестать пить. Кажется мне, ждет он за что-то кары. За что, какой? Что мешает ему жить? Водка? Нет, пьянство приходит потом. Начинается с чего-то другого, что гнездится в душах человеческих. На севере я хотел найти красивых героев и любоваться ими. А может быть, надо иначе: понять реальную, а не выдуманную жизнь и чему-то в ней объявить беспощадную войну? Может быть, в этом мой святой долг?

На последнюю репетицию перед моим отъездом в Абый почему-то не пришла Наталья, и я должен был читать за нее слова роли.

После репетиции у палатки меня ждал Коноваленко, мы зашагали рядом. На северной стороне горизонта за Индигиркой, окатывая полнеба таинственной прозеленью, медленно переливались громадные языки пламени.

— Что это? — спросил я, невольно останавливаясь и запрокидывая голову.

— Северное сияние, — послышался хриловатый голос Коноваленко. — Не видел никогда?

— Никогда, — негромко вымолвил я.

Ребята пошли дальше, а мы с Коноваленко стояли и глядели в небо.

— Да-а... — раздумчиво произнес старпом. — Смотришь на это чудо, и кажешься самому себе маленьким, беспомощным. Даже иной раз страшно станет. Какая сила нужна, чтобы зажечь небесный пожар до самого зенита! Силища! Стоишь, крохотный, как букашка, руки опустишь и ждешь, что сейчас тебе на голову свалится что-то громадное, и растворишься ты в нем без следа. Ничего от тебя не останется, и помнит никто не будет. А потом подумаешь: и без пламени конец один для всех... Жизнь проходит, а что я видел в ней? Попреки, побои от отца. Пьяницей он был. Потом сам пить начал. В тайгу ушел, дисциплина-то мне была — острый нож, а с Севера в армию пока не загребают. Привык: живи как хопы! Вот и докатился. Ты думаешь, больно я грамотный? Вот, мол, у него в каюте на полке древние греки, а он пьянствует, ведет себя скверно. Так то не

мои греки-то. Был у нас капитан, душа-человек. На материк уехал, подарил мне. Вид один делаю, что Аристотеля читал. Иной раз отковырнешь какое-либо изречение, прихвастнешь, поиграешь словами — вот те и вся моя ученость. Глядя на меня, и Гринь занялся литературой, Шекспира принялся читать, может, чего и не понимает, а все-таки читает. А я — так, игра одна, чудачество... Понаехали такие, как Кирющенко, и тошно мне на душе стало, хоть беги куда. Раньше здесь о справедливости — думать не могли. Таежный закон: кто сильнее, тот и прав. Меня силой бог не обидел. Вы о справедливости заговорили, за горло таких, как я, взяли. Поверил я вам душой, а вы меня все еще за чужака считаете. Куда же мне теперь подаваться? И с теми уже не могу, и вы меня, грешника, не хотите... Что, непонятно? — воскликнул он, видимо, почувствовав в моем молчании враждебность. — На виду у тебя живу, можно бы и понять. Кирющенко только и думает, как бы от меня избавиться, а Васильеву, видишь, я и такой, как есть, пригодился бы. Помнишь, как он со мной в каюте разговаривал? «Ведомости начальнику политотдела не показывай...» Можно так с честным человеком поговорить? А со мной, выходит, можно... Хорошо ты, хоть бабой в театр принял, так это разве настоящая жизнь? Ну, а жить как?

Я стоял перед ним, забыв о Северном сиянии. Что-то и протестовало во мне против того, что он говорил, и в то же время я соглашался с ним, понимал его и жалел. Жалость ли ему нужна? Нет! Жалостью не поможешь. Это Луконин мне объяснил. Так что? Что я ему сейчас могу ответить? А он ждет. Ждет, что я скажу, и, может быть, надеется, что я помогу ему чем-то.

— Не знаю, — глухо сказал я. — Может, просто пить перестать?

— А-а... Просто ничего не бывает. Разве просто пить бросишь? В душе надо что-то иметь, а что — и сам не пойму. Растреможило меня северное сияние. Пошли, что ли... Я тебе дорогой кое-что хочу сказать...

— Пошли.

Мы прошагали молча половину улочки. Коноваленко обернулся ко мне в темноте, я чувствовал, что он разглядывает мое лицо.

— Остеречь хочу, — сказал он негромко, — поосторожнее будь, ночью посматривай, кто за тобой идет. Есть у меня подозрение на одного человека. Не знаю, чего ты с ним не поделил.

— Кто же это? — помолчав, спросил я.

— И того, что сказал, хватает. Я сам за такие доносы знаешь как... — глухо пробормотал Коноваленко. — Ну вот, мне в протоку. — Он остановился, кивая на тропку, сбегавшую с крутого берега. Жил он на другой стороне протоки в небольшой, наспех сооруженной им же самим юрте с железной печкой вместо якутского камелька.

— Спокойной ночи, — сказал я. — Спасибо, что предупредил.

Я догадывался, о ком идет речь, кому быть недовольным мною.

но предположения свои не высказал, не хотел ставить Коноваленко в сложное для него положение. Мы стояли друг против друга и почему-то не уходили.

— Да-а... — протянул Коноваленко. — Бежать мне надо отсюда...

— Бежать? — изумился я. — Но почему?

— Соткнемся мы когда-нибудь и с Кирющенко и с тобой. А у меня, видишь ты, остатки совести еще, оказывается, сохранились...

— Да зачем же нам «стыкаться»?

— Зачем? — Он иронически хмыкнул. — Жизни ты не знаешь, вот что я тебе скажу. Она, жизнь-то, нас с тобой не спрашивает, сама распоряжается. Хуже худшего посередке между драчунов: и с вами у меня не получается, и по-старому неохота. Сорвусь на чем-нибудь, вот мы с вами и соткнемся. Так что лучше бы мне подаваться отсель, прав Кирющенко... Ну, бывай, — решительно бросил он. — Смотри поосторожнее ходи! Может, дело тут в твоём драмкружке, не понравилось кому-то, что ты с этим драмкружком в чужие дела залезаешь, понял? Слышал, в Абый собираешься, оно и к лучшему, страсти поулягутся. Ну, бывай! — еще раз энергично воскликнул он и, повернувшись, быстро зашагал вниз по тропке.

Утром я узнал, что геологи едут на Аркалу на следующий день, и отправился к Гриню. Чем скорей развязаться с поездкой в Абый, тем лучше, драмкружок теперь приобрел для меня важное значение. Выслушав меня на конном дворе, Гринь с готовностью сказал:

— Лошадку, розвальни и кухлянку из собачины вам выделю. А возчика как? Человек вы образованный, сами управитесь.

— А если с возчиком?.. — робко сказал я. — Мало ли, дороги настоящей нету...

— Я, извиняюсь, побоялся: еще обидитесь, человек вы самостоятельный. А раз сомневаетесь, то лучше одному не ездить, разные истории у нас приключались, как говорится, от греха подальше. Один раз, был случай, под лед, извиняюсь, сани провалились... Ну, вы человек непьющий, чего вам, извиняюсь, головой в прорубь кидаться? А в случае чего — и выплывете, какой может быть разговор. Выделю я вам Данилова, из местных, к тайге привычный, матросом плавал, сейчас у меня в обслуге, подвозит к общежитиям дрова и воду. За сутки обернется, никакого урона не будет.

Я обрадовался:

— Как раз кстати, я с ним еще на пароходе хотел поговорить и все нет случая.

— А поговорить надо, — сказал Гринь. — Спрашивал я его откуда, почему к нам пришел, — молчит. Чем-то я ему не приглянулся. Местным я как отец родной, они про то знают и уважают. Взять хотя бы Машу, уборщицу с «Индикирки». И угол ей нашел, и в обиду парням не даю, и добрым словом поддерживаю... А этот смотрит — будто я вражина какая...



— Странно! — сказал я. — Данилов, по-моему, хороший человек.

Гринь оглянулся, наклонился ко мне и негромко сказал:

— Один раз повстречал меня, когда я в белом медицинском халате от ямы с зайцами возвращался. С того времени и залютовал. Может, он к этим зайцам зацепку имеет? — Гринь ждал, что я скажу, но у меня не было ни малейшего желания ввязываться в историю с зайцами, и я промолчал.

— За дорогу перемолвитесь словечком, — продолжал Гринь, — душу ему отогреете. Так что завтра с утра, как геологи на оленях поедут, лошадь будет подана к редакции. В компании веселее ехать, хотя, конечно, одно дело лошадь, а другое — олени...

На том мы с Гринем и расстались. Весь вечер в одиночестве я вычитывал гранки и, уходя к себе в палатку, положил их на стол редактора. Дело сделано, можно с легкой душой отчаливать.

---

## Часть вторая

---







Розвальни с рыжей кухлянкой на сене уже стояли, когда утром я подошел к редакции. Рябова еще не было. В углу комнаты типографии, прислонившись спиной к бревенчатой стене, сидел на корточках Данилов и, не отрываясь, следил, как Иван быстрыми движениями берет из кассы нужные столбики шрифта и складывает из них строчки — набирает статью. Оказалось, что олений караван с геологами рано утром прошел мимо окон редакции.

— Как можно дорога спутать? — сказал Данилов, отвечая на мои сомнения, сумеем ли мы одни найти путь до Абыя. — Ты не слепой, я не слепой... Давно тебя жду, много спать плохо...

Кухлянка надевалась через голову, как мешок, с непривычным делом я справился довольно быстро, и мы тронулись в путь. Я сидел спиной к передку, дорога позади розвальней все текла и текла назад. В отполированных полозьями колеях жарко отсвечивала заря, а мороз острым жалом резал лицо. Рядом со мной — спина к спине — сидел Данилов. Холод постепенно стал проникать к ногам, под кухлянку, студеная полудрема охватывала меня, и говорить с Даниловым и даже шевелиться не было желания.

Лошадка вынесла наши розвальни из кустов тальника на широкое озеро. Я оглянулся. Далеко-далеко впереди на той стороне озера синела полоска тайги.

Данилов посмотрел назад на кустарник, из которого мы выехали, и сказал:

— Пурга идет...

— Где? — спросил я и разом приподнялся, оглядывая озеро.

Заснеженная пустыня все так же уходила в жемчужно-белесую даль, где-то далеко тлела заря, заменявшая теперь не поднимавшееся над горизонтом солнце.

— Тальник поземка крадет... — Данилов кивнул назад.

Кусты тальника по мере того, как мы отдалялись от них, тускнели все более и более и вскоре совсем растворились в струях поземки.

— Дорогу переметет? — спросил я.

— Пурга ночью придет, — спокойно заметил Данилов.

Белесое мерзлое пространство поглотило нас, и стало казаться, что мы с Даниловым, розвальни да лошаденка одни в огромном неприятном мире, что нет до нас никому дела и случись что, никто не хватит нас и не поможет, никто и не вспомнит...

Данилов зашевелился позади меня, толкнул своей твердой спиной и сказал:

— Бегать нада, мороз большой...

Я повернулся к нему; несильный, острый, будто сдирающий с лица кожу ветерок заставил меня прикрыться рукавицей, оставив снаружи лишь глаза. Данилов сунул мне в руки вожжи и сбоку соскочил на снег. Побежал сзади саней, неуклюже переваливаясь в такой же, как и у меня, рыжей кухлянке, подол которой едва не волочился по снегу. Лошаденка замедлила было бег, но я тряхнул вожжами, и она опять побежала ровной трусцой. И от движения, и от сознания того, что я хоть на что-то пригодился, стало теплее. Данилов догнал сани и повалился в них ничком, выбрался из охапки сена, лежавшего на досках, и отобрал у меня вожжи. Я соскользнул на ходу за борт розвальней, не удержался, повалился в снег, тотчас вскочил и припустился за санями. Данилов и не подумал придержать лошадь, наконец я нагнал сани и побежал ровнее. Горячий пар от дыхания застилал глаза, стало совсем тепло. Я побежал быстрее и повалился в сани так же, как Данилов, подполз к нему, подпер его сзади плечом.

Когда тайга на той стороне озера стала ближе, Данилов повернулся и сказал:

— Лошадь отдыхать нада, пешком пойдем, ветра тайге мала.

Санний путь, намеченный бежавшими где-то впереди оленьими упряжками, пошел среди лиственниц, лишенных хвои, похожих на засохшие елки, но ветра среди них было меньше. Мы соскочили в снег, обогнали лошадь и спокойно зашагали по дороге.

— Тебе нравится тайга? — спросил я и скосил глаза в сторону своего спутника. Лицо его было закрыто от меня краем капюшона кухлянки.

— Тайга одному плоха... — уклончиво сказал Данилов, не поворачиваясь ко мне.

— Случилось с тобой что-нибудь в тайге? — спросил я, помня просьбу Грина поговорить с ним по душам.

— Случилось... — сказал Данилов.

Я ждал, что он скажет еще что-нибудь. Мы шагали и шагали, а он молчал, не делая ни малейшей попытки продолжать разговор.

— А что? — спросил я.

Он шагал рядом, не обращая на меня никакого внимания, так, точно не слышал вопроса. Хотелось мне поговорить с ним о Федоре, о Наталье, с которыми он дружил, узнать, почему его друг не пришел к нам в драмкружок и, наверное, удерживает Наталью, да теперь от Данилова не добьешься ни слова. Не умею я разговаривать с людьми, прав Рябов, все осечки получают... Я приотстал, пропустил мимо сани и завалился в них боком. Данилов тоже сошел с дороги, упал в сани, лошадь сразу взяла рысцой.

В Абый мы вкатили в темноте. Призрачный, засыпанный снегом городок из плоскокрыших, с покатыми стенами и крохотными, едва светившимися оконцами юрт возник в белесой темени. Данилов на-

правил лошадь к большой юрте, приткнувшейся одним углом еще и к другой, такой же широкой.

— Самый большой юрта — самый большой начальник... — сказал он без тени сомнения.

— Ты бывал здесь? — спросил я. — Мне в райком надо.

— Нет, не бывал. Другой места не может быть. Райком здесь, райсполком здесь, все здесь... Иди, нам обратный путь нада.

— Как это обратный путь? Ты сам говорил, пурга ночью будет.

— Пурга будет, слышишь?.. — Мы затихли, и явственно определился тонкий свист ветра в ветвях деревьев близкой тайги. — Гринь сказал: обратна поскорей нада, — продолжал Данилов.

Хлопнула дверь, кто-то вышел из юрты, остановился у порога.

— Райком комсомола здесь? — спросил я.

— Да, здесь, заходите, ребята, — произнес незнакомец с едва приметным якутским акцентом, хотя и совершенно правильно порусски произнося слова. — Я секретарь, Семенов. Вы из Дружины?

Он подошел, пожал нам руки. Был он без шапки, без верхней одежды, в оленьих торбасах выше колен. Мы вошли в юрту вслед за Семеновым, распахнувшим дверь из комнаты, чтобы осветить сени и показать нам дорогу. Комната была теплой, большой, со стенами, оклеенными белой бумагой, со многими столами, керосиновая лампа, подвешенная к потолку, хорошо освещала ее. Вторая лампа стояла на столе секретаря.

— Пока не дали квартиру, я здесь живу, — сказал Семенов. — Чай будем пить. Сейчас поспеет...

Лицо у него было широким, крупным, черные волосы зачесаны назад, темные глаза смотрели добро и внимательно.

Мы стянули кухлянки через головы, свалили их на пол в углу комнаты.

— Данилов?! — вдруг воскликнул секретарь райкома, подошел к моему провожатому, вглядываясь в его лицо, и быстро заговорил по-якутски.

Данилов стоял перед ним молча, опустив глаза, лицо его было неподвижным, бесстрастным, я не мог прочесть на нем никаких чувств. Одно было ясно: встреча не радует моего провожатого. Он что-то коротко ответил по-якутски и, сказав мне, что надо распрячь лошадь и отвести ее на конюшню, вышел.

— Ты его знаешь? — спросил я. — Но он никогда здесь не был.

— И я в Абый только что приехал, — сказал Семенов. — Мы встречались в другом месте, давно... Не ожидал, что он окажется в Дружине. Посиди здесь, пойду с Даниловым договорюсь, где вам почевать.

Семенов надел пушистую меховую ушанку и вышел. Вернулись они с Даниловым минут через десять.

— Здесь рядом, — сказал Семенов, — я показал Николаю. По-



пьем чаю и пойдете спать. На учет возьмем тебя завтра утром. Ночью уезжать не дам, пурга.

Мы с Даниловым принесли из саней свои продукты — сгущенку, корейку, колбасу и чаепитие удалось на славу. Семенов расспрашивал меня о газете, о судоремонте, о том, много ли в затоне комсомольцев, есть ли клуб, и, узнав, что мне поручен драмкружок, обрадовался, сказал, что абыйские комсомольцы устроят лыжный пробег и посмотрят спектакль. Данилов сначала слушал нас внимательно, потом глаза его все чаще стали закрываться, и наконец он поднялся и сказал, что пойдет спать. Проводив его до двери, Семенов вернулся к своему месту, долго молчал, опустил глаза. Я знал, что он думает о своей встрече с Даниловым. Что-то произошло между ними давно, и он не хочет рассказывать...

Семенов поднял на меня глаза — узкие, темные, с желтыми искорками отраженного пламени лампы в уголках у переносья.

— Нехороший это был человек, когда мы повстречались, — произнес он медленно, покачал головой и повторил: — Нехороший. — Он смотрел на меня как-то скорбно, наморщив лоб толстыми продольными складками, приподняв широкие густые брови. — Что было с ним потом, после моего отъезда, не знаю. И вдруг вижу его с тобой...

— Он спас жизнь товарищу, — сказал я, — прыгнул в трюм и выбил человека своим телом из-под тяжеловеса.

— Это на него похоже, — кивая, сказал Семенов. — Очень похоже, он бывал, как бешеный. Не потому, что хотел кому-то помочь, он был злой на всех, несдержанный, от него можно было ждать чего угодно. Какой же он стал теперь?

— Мне приходилось мало с ним встречаться, — сказал я уклончиво. — И без него дел хватает.

Семенов посидел молча, наклоня голову, точно соглашаясь со мной, но сказал требовательно и строго:

— Ты должен помочь ему стать правильным человеком. Это твоя обязанность, ты пришел к нам оттуда, из самой Москвы, у тебя образование, ты много знаешь, прочел много книг. А он? Что знает он? — быстро заговорил Семенов. — Видел одну тайгу, пережил смерть родителей, холод, сам едва не помер с голоду. Кто же, как не ты, должен ему помочь? Пришел твой черед помогать, ты живешь рядом с ним в затоне. Разве я не прав?

— Со всех сторон мне только и говорят, что я должен делать: и драмкружок руководить, и комсомольскую работу вести, и заметку о человеке, который со мной не хочет знаться, пиши, и кого-то воспитывай... И никто не может сказать, как все это делается? Я не умею, понимаешь?

— Жизнь сама покажет, — сказал Семенов. — Я по себе знаю, только не надо торопиться... Давай выпьем еще чаю. Может, ты

будешь ночевать здесь? Я сплю пока на своем столе, а ты ляжешь на соседнем, положишь кухлянку.

— На столе я спал в прорабской конторке на Кузнецкстрое,— сказал я,— только у меня вместо кухлянки тогда был тулуп. А за окном — доменная печь, вся в лесах и гирляндах электрических огней...

— Ну теперь я тебя уже никуда не отпущу, будешь мне рассказывать о Кузнецкстрое. Ведь я никогда не видел даже поезда...

Мы потягивали из кружек горячий ароматный плиточный чай и рассказывали друг другу о том, что знали: я про Кузнецкстрой, он об охоте, о Якутске, о своей новой должности секретарем райкома, об Абые. Лишь о Данилове не сказал больше ни слова. Может быть, винил себя в том, что плохо отзывался о нем и не хотел настаивать меня против этого человека.

От Семенова я узнал, что в районном центре живут не только охотники и рыболовы, но и резчики по мамонтовой кости. Клыки мамонтов находят по берегам таежных рек весной, когда начинает таять вечная мерзлота. Как-то в половодье абыйские охотники видели огромную тушу мамонта, плывущую по Индигирке среди вывороченных с корнями стволов деревьев.

— Посмотреть бы эти клыки,— мечтательно сказал я.— Никогда не держал в руках мамонтовую кость...

— Эка невидаль! — усмехаясь, сказал Семенов.— Утром зайди за нашу юрту, там в яме свалено штук десять... Потрескались от старости, для резчиков не подходят.

— А можно взять один себе? — осторожно спросил я.

— Да хоть все забирай,— Семенов рассмеялся.— Только они тяжелые, как ты с ними справишься?

— Ничего, как-нибудь!

## II

Проговорили мы с Семеновым до глубокой ночи. Проснулись оттого, что в комнате появились работники райкома, быстро вскочили, убрали со столов одежду, привели себя в порядок. Формальности с учетом были закончены быстро, после завтрака мы с Даниловым собрались тронуться в обратный путь, он пошел запрягать лошадей. Семенов сунул мне в руки толстую свернутую в трубку тетрадь в клеенчатом переплете.

— Мой дневник, вел его, когда охотился на побережье в Арктике,— сказал он.— Может, пригодится для газеты. Не удивляйся, встретишь грамматические ошибки, буду благодарен, если поправишь. Одна только просьба: там есть записи о плохом человеке, я даже имени его не упоминал, вычеркни все, оставь то, что было

хорошего. Так, наверное, правильнее. Зачем вспоминать про плохое?

Дневник охотника на арктическом побережье! Такого журналистского везения и ожидать было трудно. Я сказал, что обязательно прочту, если можно, какую-то часть дневника подготовлю к печати, а тетрадь верну.

И тут я вспомнил о клыках мамонта. Позади райкомовской юрты под снегом действительно были навалены дугообразные заостренные с одного конца бивни. Я залез в яму и, стоя по колено в снегу, с трудом выволакивал на свет божий один бивень за другим. Все они растрескались от времени на костяные буровато-желтого цвета слои, похожие на годовые слои дерева, некоторые клыки превышали мой рост, были неподатливы, как-то странно выворачивались из моих рук. Я спешил, надо было поскорее трогаться, раскраснелся, вспотел. На краю ямы выросла грудa бивней, и я никак не мог выбрать себе что надо: то более или менее сохранившийся бивень, будучи поставлен одним концом в снег, был слишком мал, не доходил мне и по грудь, то подходящий, как мне казалось, по размеру гигант весь расщепился на слои, напоминая гнилое изогнутое бревно, то у клыка был выщерблен острый конец... За этим занятием меня и застал Данилов. Постояв некоторое время у ямы и с изумлением понаблюдав мою работу, он сказал:

— Эта кость плохой, как гнилой дрова...

— Да причем тут дрова?..

— Зачем ты чистишь помойка? Они сами все уберут, нам ехать давно пора... — не унимался Данилов.

— Хочу выбрать на память, — сказал я. — Это же бивни мамонтов.

— У тебя дома никогда не был такой мусор? — удивился Данилов.

— Подгони сюда лошадь, — сказал я, — возьмем все бивни, а потом в Дружине я отберу самый хороший, сейчас некогда.

Данилов прекратил спор, привел под уздцы лошадь, опасливо косившую лиловым оком на грудy бивней, и принялся помогать мне укладывать бивни в сани. Вскоре розвальни стали походить на доисторическое чудовище с торчавшими по бокам выгнутыми страшными клыками. Семенов вышел нас проводить, увидел живописную картину и принялся пританцовывать на снегу и хохотать. Из юрты высыпали все работники райкома и тоже покатывались со смеху. Я объяснил, в чем дело.

— Жадность никогда до добра не доводила!.. — смеясь, воскликнул Семенов. — Как же вы сами поместитесь в санях? Этих клыков хватило бы на пять музеев, если бы были целыми. Послушай моего совета: побросай их на дороге, никому они не нужны.

Я молча пожал руки провожавшим, и мы с Даниловым зашагали рядом с санями, я опасался влезать в них на виду у людей, не так



это было просто. Миновали последнюю юрту, дорога вошла в кустарник.

— Стой,— мрачно сказал я.— Давай садиться.

— Садись,— сказал Данилов и остановил лошадь.

Я залез в сани, с ожесточением растолкал бивни и, втиснувшись между ними, опустился на сено. Данилов дернул вожжи, запагал рядом с розвальнями. Какой-то бивень подпирал мне спину, какой-то давил на грудь. Ясно было, что Данилову места нет. Я выкарабкался из-под клыков, встал на колени, с трудом приподнял один бивень и вывалил его на обочину дороги.

— Садись,— сказал я.

Данилов, не оборачиваясь, помотал капюшоном кухлянки и упрямо продолжал шагать рядом с санями. Я вывалил за борт второй бивень.

— Место есть, Коля, садись...— крикнул я.

Данилов обернулся, оглядел клыкастые сани и, помотав головой, сказал:

— Тебе кость нужен, я пешком пойду, лошадь жалка, не потянет...— Он помолчал и, вышагивая возле саней, заметил: — Первый раз вижу человек, который так много плохой кость забрал. Кому будешь торговать?

— Стой! — крикнул я.

Данилов одержал лошадь, сани остановились. Я принялся выворачивать из сена и выкидывать на обочину один бивень за другим. Остался последний. Приподняв, оглядел я его со всех сторон. До того он был обшарпанный, грязный, расщепленный с обоих концов, растрескавшийся на слои, что я без малейшего сожаления выбросил и его.

— Все! — сказал я.— Садись, поехали, и так много времени потеряли.— На душе у меня стало легко и хорошо.— Спасибо за науку,— сказал я, когда Данилов устроился в передке саней и взмахнул вожжами.

— Какой наука? — удивился Данилов.— Я тебе плохого не хотел. Места не был садиться, лошадь жалел. Хочешь, заберем обратно вся кость, если тебе нада? Я пешком пойду.

— Ну нет,— сказал я,— с меня хватит этих переживаний. Вполне!

— И мне хватит,— сказал Данилов, видимо, все же имея в виду нечто иное, чем я.— Будем погонять?

— Давай...— сказал я.— Заря-то какая, вся в золоте...— воскликнул я, глядявываясь в сверкающие нити и как бы светившиеся изнутри башни замка.— Хорошо!

— Хорошо! — от души согласился Данилов.

Лошадь пошла рысдой, и острый ветерок заставил меня прикрыть рукавицей лицо и сузить глаза. Не хотелось отворачиваться от

жаркой светлой страны за синей полосой тайги на далеком берегу озера...

— Эх, плоха Наталья! — вдруг сказал Данилов.

Я молчал, так неожиданно было его замечание.

— Она плохая или ей плохо? — спросил я, наконец приходя в себя. Созерцательное настроение покинуло меня.

— Федор драмкружок не пускает... Жалка девка!

— А ты бы поговорил с Федором... — сказал я и, радуясь тому, что Данилов сам начал откровенный разговор, который у меня с ним не получался, и встревоженный его сообщением.

— Он говорит: не твоя дела... Он и меня не пускал, а я ходил, — простодушно добавил Данилов.

— Почему же не твое дело? Ты его друг, товарищ.

— У него нет никакой друг, одна Наталья... — как-то горестно сказал Данилов и, повернувшись ко мне и посмотрев мне в лицо, добавил: — Я правда говорю.

— Ты ему жизнь спас, как же ты не друг ему? Ты настоящий друг.

— Нет! — решительно сказал Данилов. — Я ему жизнь не спас, так просто получилось... Настоящий друг ему Наталья. Больше никого у него нету. Если бы я был друг, я бы тоже не пошел драмкружок. Наталья друг ему, она не пошел...

Лошадка бежала ровной рысцей, полозья иной раз поскрипывали в неглубоком, надутым за ночь пургой затвердевшем снегу.

— Он плохой человек, — сказал я после недолгого молчания, — как он может не пускать Наталью, если он ей друг?

— Ты говоришь плоха, — с упрямыми нотками в голосе сказал Данилов. — Я знаю, он хороший человек...

— Откуда ты знаешь?

Данилов молчал. На этом разговор оборвался. Мы то ехали на санях, то бежали по очереди сзади, чтобы разогреться, то шагали перед лошадью, давая ей отдых, но ни Данилов, ни я больше не вступали в спор о Федоре, я понял, что переубедить моего товарища мне не удастся.

В Дружину мы прикатили поздним вечером, Данилов свернул на конбазу. Странное щемящее чувство против воли овладело мной, я редко буду видеть человека, которого эти два дня соединяла со мной дорога. Мы будем жить в разных домах, и каждый из нас будет занят своим делом. Не знаю, испытывал ли это же чувство Данилов. Он возился с упряжью, освобождая лошадь от ремней и оглоблей, и не смотрел на меня. Я скинул кухлянку в теплой комнатке при конбазе, вышел наружу, пожелал Данилову спокойной ночи и отправился к себе в палатку. На улочке оглянулся, в сумерках вечера Данилов стоял у саней, опустив руки, и смотрел мне вслед.

В палатке стало до того одиноко, неприятно, хоть беги обратно на конбазу. Разжег печку, комнатка наполнилась теплом, стало легче на душе. Быстро поел и залез под одеяло с одной мыслью: поскорее бы настало утро и приходили заботы о газете, о драмкружке и еще какие-то другие, которые неминуемо навалит на меня жизнь и без которых человек не может жить среди людей...

Чуть свет, даже не позавтракав, прибежал я в редакцию, растопил железную печурку, зажег керосиновую лампу — и углубился в чтение записей Семенова. Никто еще не появлялся, можно было спокойно прочесть дневник и подумать, что использовать для газеты.

Листки тетради от времени стали хрупкими, пожелтели, записи были сделаны то выцветшими чернилами, то карандашом, кое-где почти совсем стерлись. Описанные в дневнике события напоминали те, что много раз повторялись в Арктике в различных экспедициях, терпевших бедствие: голод, холод, отчаяние людей, оказавшихся на краю неминуемой гибели. Но человеческие отношения, о которых можно было догадаться, читая скупые записи Семенова, поражали своей необычностью.

Первая запись была датирована 31 мая 1937 года. Семенов рассказывал о том, как несколько молодых якутов, промысловых охотников, решили идти к арктическому побережью на добычу песка.

В дневнике описывались лишения, которые изо дня в день терпели промысловики. Почти все продовольствие их погибло, охотиться на диких оленей ослабевшим людям было трудно, мяса добывали в обрез. И в довершение всех бед один из них стал воровать продукты, оставленные на самый крайний случай. Но и в этой, казалось бы безвыходной ситуации, они заставили своего товарища, пытавшегося выжить за счет других, «стать человеком» — так было сказано на последней страничке.

Дневник Семенова был не очень большим, я перепечатал его в двух экземплярах. Один оставил себе, в другом, выполняя просьбу Семенова, убрал записи, в которых рассказывалось, как один из них обворовывал товарищей, и написал небольшое вступление о том, каким образом попала в редакцию тетрадь в клеенчатом переплете.

### III

Пока я готовил дневник к печати, в душе моей все более зрело сомнение. Нужно ли выкидывать из дневника историю с воровством продуктов? Странно, неразумно отбрасывать сложности только потому, что они выходят за границы желаемых представлений. Может быть, как раз в них-то и заключено зерно истины, без которого невозможно понять реальную жизнь? Не умаляю ли я подвига людей,

которые в обстановке смертельной опасности не выгнали на смерть в тундру тяжко провинившегося перед ними человека, как предлагали некоторые из них, но заставили его жить честно? Арктика знала другое. Сколько жестокостей сотворялось среди снегов теми людьми, которые теряли все человеческое перед лицом смерти. На память мне пришла история американского лейтенанта Грилли, посвоему честного служаки, который при таких же обстоятельствах в Арктике расстреливал своих товарищей. А загадочная история исчезновения молодого ученого Мальгрема, члена экспедиции Нобиле на Северный полюс?..

И тогда я восстановил в дневнике все записи. К приходу редактора материал был положен на его стол.

Рябов обрадовался моему появлению, сказал, что начавшаяся пурга беспокоила и Гриня, и Кирющенко, боялись, как бы мы с Даниловым не попали в самое пекло и не сбились с пути, но, к счастью, ветер вчера утром стих и все успокоилось. «Дневник» — так я назвал материал — ему понравился.

— Подкупает подвиг людей, не только спасших друг друга, но и помогавших товарищу стать лучше, — сказал он. — Ты прав, выкидывать этого нельзя. Снеси Ивану, пусть набирает, как есть, дадим в номер, не пожалею лишней полоски, яркий материал! Забери у него там последние гранки, вычитаем, выправим и сегодня сверстаем газету. Тираж будет завтра, хоть Кирющенко и ругает нас последними словами за опоздание. Я так и думал, что ты привезешь какой-нибудь материал.

В этот день вечером меня избрали секретарем комитета комсомола. Я все еще был под впечатлением поездки в Абый по замерзшим озерам и перелескам, все еще жарко горели зори перед моим мысленным взором, и собрание прошло для меня как в тумане, события так быстро следовали одно за другим. В кабинете Кирющенко сидели рабочие ребята: токари, фрезеровщики, слесари мастерских, масленщики и механики пароходов, наш наборщик Иван. И почти каждый из них, когда обсуждалась моя кандидатура, вспоминал драмкружок. Выходит, Кирющенко прав, нужное, важное для людей дело...

На другой день мы печатали тираж газеты. Электростанция временно из-за ремонта не работала, и потому крутить маховик печатной машины приходилось нам самим по очереди и тем, кто из любопытства или по делу заглядывал в редакцию. К середине дня печатание «Индигирского водника» было закончено. Мы разнесли по общежитиям и службам затона пачки вновь рожденной газеты. Дневник Семенова занимал в ней почти целую полосу из четырех, каждая размером в половину обычной газетной страницы.

Принес я только что отпечатанный номер и начальнику политотдела. Кирющенко еще вчера прочел газету по корректуре, прек-



расно знал ее содержание и все же с какой-то торжественностью принял от меня газетные листы и неторопливо просмотрел от первой до последней четвертой полосы. В недавнем прошлом сам наборщик, он, конечно, был строгим ценителем. Но мне он ничего не сказал. Положил газету на край стола, сдвинул светлые брови, опустил глаза и сидел неподвижно. Не о газете думал он сейчас, что-то иное занимало его мысли, как мне казалось, тревожило, и я не уходил, ждал.

— Слушай,— сказал он и встал, вышел из-за своего стола,— слушай, секретарь комсомола... Ты ведь тоже в ответе...

— За что? — спросил я, невольно поднимаясь. Неужели за драмкружок упрекает? Так ведь сделал я, что мог, скоро опять возобновим репетиции. И я собрался было обидеться.

Не отрывая от меня сверлящего взгляда, он сказал совсем не то, чего я ждал:

— Радио ты слушаешь? — спросил он. — О восемнадцатой партийной конференции знаешь?

— Как не знать, ТАСС передал информацию для районных газет, напечатаем у себя...

— А понимаешь ты, что теперь получается? — Кирющенко не спускал с меня своего беспокойного взгляда. — Партийным организациям в промышленности и на транспорте дается право контроля за хозяйственной деятельностью предприятий. Давно я жду этого решения. Там, наверху, как в воду глядели. — Кирющенко неожиданно просто улыбнулся, и лицо его стало приветливым, спокойным, почти ласковым. — Дышать легче стало, значит, правильно мы поступали, рассматривая на партбюро хозяйственные вопросы, помогая Васильеву... Да!.. — произнес он и о чем-то задумался. — А что делается у нас на техническом складе, видал? Лицо его приобрело хорошо мне знакомое выражение сухости и строгости.

— А что?.. — спросил я растерянно, так неожидан был этот переход в настроении Кирющенко.

— А то, что буксирные тросы под открытым небом ржавеют, оборудование разбросано, прокат стальных и цветных металлов никем не учтен и расход их на судоремонт не контролируется... А транспортер в каком виде стоит? Катерные моторы тоже под снегом... Говорил я Васильеву, обижается, считает, что в его дела вмешиваются. — Кирющенко уже не смотрел на меня, как бы сам с собой беседовал. — А дела эти не его личные, всех нас должны касаться. — Кирющенко усмехнулся, тоже как бы про себя. — К геологам собираются... — сказал он. — Душа, видишь ли, не позволяет ему жить мелочами, широко хочется ему хозяйствовать, с размахом, так, чтобы о нем в центре слава гремела. А какой ценой? Во сколько обходятся государству эти его широта и размах? За перегрузку барж после охоты по двойным расценкам заплатил, на

складе беспорядок, в такой обстановке все может быть, любые хищения... Баржа стоит в главном русле, Старикову спать не дает. Канаву бьют во льду, чтобы весной вдернуть «пятисоттонку» в протоку, спасти от ледохода. Наледная вода то и дело пробивается, работа стоит, пока ее вымораживают. А ему к геологам приспичило! Флот на уголь перевести захотелось. Найдут ли геологи месторождение промышленного значения — еще вопрос. А если найдут — как тот уголь транспортировать в затон? Раз захотелось — выложь да положь! Можно ли так с маху решать серьезные хозяйственные проблемы? Весь Васильев в этом!

При упоминании о Васильеве и геологах в груди у меня екнуло. Давно ли Кирющенко объяснялся со мной на ту же тему, но вспомнить этого сейчас не пожелал и будто не замечал охватившего меня смущения.

— Охотники видели уголь... — пробормотал я, — даже образцы послали в Москву.

— Да разве я против угля? — с досадой глядя на меня, сказал Кирющенко. — Уголь нам вот как нужен... Позарез нужен, сколько каждую зиму человека-часов теряем на заготовке дров в тайге по берегам, от судоремонта людей отрываем, в навигацию время тратим на погрузку вручную на собственных спинах, за одну навигацию не успеваем перебросить нужные грузы в верховья Индигирки, вот видишь, чуть-чуть задержались в рейсе, и баржа в плесе осталась... Нужен уголь, что говорить. Так сначала надо определить запасы, добыть, перевезти, а потом планировать перевод на уголь топок пароходских котлов. Конечно, интересно съездить к геологам, Москве отпрапортовать, героем прослыть. Глядишь, и нарушения финансовой дисциплины простят. Я его романтику хорошо изучил, романтика-то с выгодой... Ну, а вот этой самой невидной черновой работой, сохранением добра, которое с таким трудом к нам завозится, скучной экономикой кто будет заниматься? У Старикова своих дел хватает с анализом грузоперевозок, расчетом технико-экономических показателей флота. После его приезда в прошлом году только-только стала налаживаться культура эксплуатации барж и пароходов... Слушай, а мне каково?! — вдруг чуть не в голос воскликнул Кирющенко. — Не видная никому партийная работа. Просчитались, баржу угробили, план не выполнили — партработа плоха, не обеспечили, не воспитали хозяйственников. А все в ажуре — и не вспомнит никто, разве что такой, как Васильев лягнет, по-своему, припомнит непримиримость политотдела к недостаткам. Море ему по колено, когда план выполнил, — хоть любой ценой, хоть с двойными затратами. Все на природу спишут. Сам черт тогда ему не брат. Вот как! А тут еще и грамотешка слабовата, мне бы в промакадемию, хоть в совпартшколу, чтобы я потом мог со знанием дела доказывать свою правоту. А то ведь больше по чутью,

на ощупь... Заикнешься об учебе — говорят, сам учить должен, времени на твоё ученье историей не отпущено... — Кирющенко уставился на меня и с ожесточением воскликнул: — А ты говоришь!.. — и обиженно отвернулся.

Я ничего не говорил. Стоял перед ним и с изумлением слушал его исповедь. А я-то считал его человеком, для которого нет ничего сложного, которому давно ясно, что и как делать, кто прав и кто виноват.

— Что же делать? — невольно вырвалось у меня, и тотчас я подумал, что он, пожалуй, ничего мне не скажет, другое у него на уме.

— «Легкая кавалерия» у комсомола есть? — спросил Кирющенко, поворачиваясь ко мне с прежней энергией. От обиды, досады и какого-то смутения не осталось и следа. — Утвердите на комитете бригаду, проверьте хранение материалов на складе, экономию металла в мастерской, составьте акт, принесите его Васильеву. И для газеты материал будет, Рябов спасибо тебе скажет.

— А все остальное?.. — спросил я. — Можно же Васильеву объяснить, уговорить его... Не такой же он упрямый, чтобы никого не слушать.

Кирющенко, как мне показалось, слишком буквально понял мое замечание и резко возразил:

— Не дело это комсомола, не зарывайся... Не хватало еще, чтобы ты Васильева стал поправлять. Не к тому я тебе рассказывал. В душе накипело, прорвалось... Жизнь наскоком не поправишь, у нее свои законы. Васильев не сам по себе взялся, не по своему хотению на свет народился, за ним целая философия: все можно, если захотеть... — Кирющенко взглянул на меня с неприязнью и сказал: — У тебя такой самой выдуманной романтики тоже хватает. Он коммунист, придется ему перед товарищами по партии отчитаться, хоть и не хочется ему. Придется! Устав партии для всех одинаковый. Таких тоже одним махом, как бы ни хотелось, не переделаешь и не уговоришь. Надо спокойно, по-деловому, как партия учит... вон, как Стариков. Он к шуму и речам не привык, шагу не сделает без цифр, без расчетов. Молодой инженер новой выучки. Присмотрись к нему. Нету какого-то одного средства, какого-то приказа, уговоров, надо, чтобы жизнь у нас шла, как везде: партийно-политическая работа, газета и с критическими заметками, и такими, воспитывающими, как дневник Семенова... — Он приостановился и красноречиво посмотрел на меня.

Горячая волна обожгла мне щеки: это было первое признание Кирющенко моих журналистских усилий.

— Воспитание ответственности у хозяйственников, коммунистов и беспартийных, — продолжал он, не обращая внимания на мое волнение, — активность комсомола, твой драмкружок... Да ма-

ло ли... Тем и сильна, интересна партийная работа! — воскликнул Кирющенко. — Особенно сейчас, после новых решений партии...

Он не замечал, что противоречит сам себе, только сейчас он с горечью говорил о «невидности», неблагодарности партийной работы. Но мне почему-то не захотелось упрекать его в непоследовательности. Всякая работа трудна, а партийная, наверное, во сто крат труднее любой другой, бывают и минуты разочарования...

Кирющенко, даже и не взглянув на меня, отправился к несогромаемому шкафу, стоявшему в углу. Постаментом для него служил то ли ящик, то ли грубо сколоченная такая же неуклюжая и прочная, как его стол, тумба. Порылся в сейфе, вытащил ярко-красную папку с завязками, кинул ее на свой стол-саркофаг.

— Пришлось вызвать ревизора, — сказал он, хмуря белесые брови и жестким взглядом посмотрев на меня, — скоро прилетит. Главбух говорит, нарушений нет, можно и по двойным расценкам за перевалку, а его зам, новый бухгалтер, тот, что на «Моссовете» приплыл, не принял у Васильева финансовые документы, пришел ко мне, сказал, что требует ему начет сделать. После этого и главбух стал осторожнее, не взял на себя ответственности. Прилетит ревизор, пусть разберется. Вон отчет Васильева по авансу... — Кирющенко кивнул на красную папку.

— Но не в свой карман... — попытался я взять под защиту Васильева. Несмотря на все его явные грехи, он пробуждал у меня теплое чувство смелостью своих поступков. Не каждый поплывет на плоту в одиночку и не каждый, в горячности пообещав двойную оплату, сдержит свое слово. Да и по лосям он все-таки не выстрелил.

— Если бы в свой карман, то не начет, а под суд... — непримиримо сказал Кирющенко.

## IV

На очередную репетицию не явилась Наталья, как и в тот раз, перед моим отъездом в Абый. Исполнять ее роль было некому. И узнать, почему она не пришла и останется ли в драмкружке, нельзя; наверное, Данилов мог бы сказать, в чем дело, но и он на этот раз тоже не появился. Днем, незадолго до репетиции, я столкнулся с ним на улочке около магазина. Не видел его с тех пор, как мы вернулись из Абыя, мешали редакционные дела. Та поездка незаметно сблизила нас, вспомнил я, как он хотел идти пешком, чтобы помочь мне довести мамонтовые клыки, как обрадовался, когда я их выкинул, а потом рассказывал про Наталью.



Что-то в нем светлое, хорошее, и живется ему одиноко... Я спросил, почему его давно не было видно, пригласил заходить в редакцию или домой в палатку. Данилов ничего не ответил и зашагал мимо, точно меня и не было. Я смотрел ему вслед, раздосадованный и обиженный. Никак его не поймешь. Нехорошо, тревожно стало мне, и весь день это тяжелое чувство не отпускало душу. Вот не пришел он и в клуб...

Мы сидели возле источавшей жар бочки и не знали, что делать. Как-то само собой пошел разговор о том, где и что надо проверить бригадам «легкой кавалерии». Среди членов драмкружка многие были комсомольцами, только что на комитете мы избрали бригады по проверке складов и мастерской, и почти все их участники сидели сейчас вокруг бочки-печки.

— Пусть и беспартийные пойдут с бригадами, — сказал Андрей, — вон тут сколько лбов заседает, все равно в драмкружке делать пока нечего. Коноваленко тоже надо идти, — резковато добавил он и устоялся на старпоме. — Пользы больше будет...

Коноваленко промолчал, только усмехнулся и с укором покачал головой.

Ребята принялись вспоминать: угловая и круглая сталь свалены прямо в снег; бухта «цинкача» — оцинкованного буксирного троса под забором с прошлого года; стружку цветных металлов в мастерской разбрасывают; доски, привезенные с «материка» на плиты, гниют...

— Срамота одна, — сказал своим неприятным режущим слух голосом Андрей. — Ревизор, говорят, к нам летит, прибрать бы поскорее. А некоторые — в кусты... — Он покосился на Коноваленко.

Старпом расположился верхом на лавке, нагнувшись, уткнув локти в колени, с самокруткой в кулаке и смотрел на Андрея.

— Откуда ты о ревизоре знаешь? — спросил я.

— Вот и знаю! — с вызовом сказал Андрей и лихо ударил по колену ушанкой. — Кое-кому в затоне тот ревизор спать не дает. — Он опять покосился на Коноваленко.

— Ты что мелешь-то? — сказал Коноваленко, не меняя позы и исподлобья поглядывая на парня. — Ревизор тут при чем?

— А при том... Говорят, не любишь ты ревизоров, — выкрикнул Андрей.

— Да кто говорит? — выпрямляясь, произнес Коноваленко. — Кто такие байки стрекочет? Может, тот, кому ревизор всамделе поперек горла встрял?

— Говорят, и все! — огрызнулся Андрей. — Отчего ты с нами не хочешь идти порядок наводить?

Коноваленко обвел всех нас тяжелым взглядом.

— Ребята, как я могу?.. Мне-то самому что скажут? Пьянствовал,

а проверяешь!.. Иди-ка ты, скажут, знаешь, подале... Неподходящее это для меня дело, ребята...

— А чего ты к нам прилепился? — не унимался Андрей. — Чего сюда ходишь?

— А где мне быть?

— Иди, пьянствуй... Сам говоришь...

— Слушай, Андрей, — сказал я хмуро, — кончай ты эту... муру. Андрей зыркнул на меня остро блеснувшими глазами и сказал:

— А мы его сюда не звали...

Коноваленко встал, тяжело вздохнул и пошел к выходу.

— Вернитесь, стоит ли обращать внимание, — сказал я.

Он не ответил. Негромко хлопнула фанерная дверца. Угрюмое молчание повисло в палатке. Ну вот!.. Вот Коноваленко и опять «не приняли». И кто же? Его товарищи. Как обидно, наверное, ему и как больно. Я вспомнил его слова, сказанные им давно, под северным сиянием, они не выходили у меня из головы: «Она, жизнь-то, нас с тобой не спрашивает, сама распоряжается...»

— Это я его сюда звал, — сказал я. — Что ты, Андрей, вмешиваешься не в свое дело?

— Ушел и ладно, — бросил Андрей. — Кому он нужен!

— Нужен! — сказал я. — Не он бы, парохода у нас не стало, а то и дух. Пароходы он спас...

Андрей поднялся с лавки и, натягивая на голову ушанку, переходя на «вы», заметил:

— Он говорит — вы спасли; вы говорите — он спас. Кто вас берет.

Какой-то бес вселился в упрямого жестковатого парня. Меня давно поражала его несдержанность, резкость, переходившая в грубость и жестокость. Даже справедливые его упреки вызывали у его товарищей недовольство, когда он, легко теряя чувство меры, начинал винить всех и вся в злоупотреблениях, нечестности, разгильдяйстве. Мне от него доставалось, как и всем другим, и я всегда отступал. Но на этот раз молчать было нельзя.

— Да как же я мог бы пароходы спасти? — воскликнул я. — Думай же, что говоришь. Я штурвала-то никогда в жизни не видел. Коноваленко, а не я отнял штурвал у капитана, понял? Нам не выбирать, с кем работать, уж какие есть... А ты бы лучше подумал, что его сделало таким... — Все во мне дрожало от негодования. — Ты помог ему? Ты же рядом с ним живешь...

Поднялся Гринь. Длинная черная шинель его в полумраке напоминала поповскую рясу.

— Я пойду до старпома, переночую в его юрте. Мало ли... — сказал он совсем не свойственным ему глуховатым голосом.

И он тоже ушел.

Андрей стоял передо мной, глубоко сунув руки в карманы своего

промасленного пальто с поднятым воротом, и не отрывал от меня испепеляющего взгляда. Я понимал, что он сейчас скажет мне что-нибудь особенно обидное, он никогда не оставлял поле боя неотмщенным.

— А вы что сделали в своей газете! — выкрикнул он. — Напечатали про Николая, как он продукты у товарищей воровал. Это как — хорошо вы сделали? Зачем вы это сделали?

Я отступил от него, пораженный тем, что он сказал. Неужели он говорит о дневнике Семенова? И вдруг все мне стало ясно, я понял, почему Семенов просил меня выпустить из дневника то, что было связано с воровством продуктов, он щадил своего товарища, он даже мне не сказал, что тем человеком без имени в дневнике был Данилов... Так ли все это? Да, конечно, так...

— Откуда ты знаешь?.. — негромко спросил я.

Наверное, у меня был какой-то необычный вид, Андрей стоял, не произнося ни слова, и как-то растерянно смотрел на меня. Тонкие губы его были совершенно бескровны, едва серели в полумраке, почти не выделяясь на лице.

— Какой-то якут-охотник вчера у меня почевал, прочел газету и все рассказал... Уехал он утром, — добавил Андрей, словно оправдываясь. — Я у Данилова спросил, правда ли, думал — охотник все наврал... Данилов сказал — правда, потому и не пришел сегодня. Не желает он больше с вами...

— Зачем ты пошел узнавать у него? Ну, зачем? Как ты мог?.. — говорил я, плохо сознавая, что говорю. — Зачем, для чего? Ведь там не было написано, кто это... Даже я не знал, кто, Семенов мне не сказал... Зачем же тебе?..

— Правды вы боитесь, а я правду всегда хочу... Правду, понимаете?

— Да зачем же ты к нему пошел? Это же давно было, Данилов теперь другой. Что же ты так, безжалостно?..

— Это вы себя спросите... — проговорил Андрей. В голосе его уже не было прежней уверенности. — Вы грамотный к нам приехали, все вы знаете... Зачем вы оставили, почему не вычеркнули? Вот вы о чем себя спросите...

— Да... — сказал я, опускаясь на лавку, — да, надо было вычеркнуть...

Андрей молчал, что было для него совсем необычно. Не сказав больше ни слова, пошел к выходу. У фанерной дверцы он остановился, постоял в раздумье, круто повернулся и стремительно вышел из палатки.

Я сидел на лавке и как-то подсознательно ждал, что вот сейчас поднимется еще кто-нибудь, и еще, и в конце концов я останусь в палатке один. Дорепетировался!

Мы сидели молча довольно долго, минут пятнадцать. В душе

моей набегала какая-то горькая накипь обиды, разочарования, усталости... Ничего-то у меня не получается ни в драмкружке, ни в газете. Я поднялся, постоял, сунув руки в карманы стеганки и глядя на алеющий маковым цветом бок печки. Как-то внезапно, теряя контроль над собой, воскликнул:

— Ну и я пойду... Пропади все пропадом!

Повернулся и, налетая на лавки, больно ударяясь об их острые края коленками и со зла распахивая их во все стороны, отчего они с грохотом валились на пол, пробил себе дорогу к выходу.

Над палаткой на полнеба то медленно колыхались, то мгновенно угасали и с новой силой вспыхивали языки зеленоватого пламени. Северное сияние бушевало над моей головой. Поражало страшное безмолвие огненной бури. Я вспомнил то, что говорил Коноваленко, когда мы с ним вместе смотрели на северное сияние. Да, каким крохотным, беспомощным и одиноким чувствуешь себя перед этим молчаливым, призрачно полыхающим на полнеба огнем. Кажется, стоишь посреди безлюдной пустыни, сейчас, сию минуту что-то должно случиться и неоткуда ждать помощи...

Я опустил голову и побрел к своей палатке на краю поселка.

За спиной у меня послышались чьи-то поскрипывающие на смерзшемся снегу шаги. Некоторое время я шел, не обращая на них внимания. Точно кто-то толкнул меня, и я, вспомнив предупреждение Коноваленко, обернулся. За мной торопливо шагала женщина в зимнем пальтишке. Я узнал Наталью и устыдился невольного своего страха. Она нагнала меня, выбившиеся из-под шарообразной из пухистого меха рыси шапки прядки ее волос стали белесыми от инея.

— Ждала тебя, совсем замерзла, — сказала Наталья, — не хотела, чтобы меня увидели у вас в клубе. — Она помолчала и совсем тихо произнесла: — Я больше не буду ходить на репетиции...

Я стоял перед ней и молча смотрел себе под ноги на едва искрившиеся кристаллики снега.

— Так я и думал... — наконец сказал я.

— Федя совсем не такой, как ты считаешь, — заговорила Наталья, поняв, что я догадываюсь, в чем дело. — Никто его как следует не знает, его считают грубым, отчаянным. Он просто перестал верить людям, вот и все... Вот и все, — повторила она. — Я не могу с вами там... — Она кивнула в сторону длинной палатки, очертания которой тонули во мраке ночи.

— Ладно, — сказал я, — не можешь, так не можешь. Мне тоже все равно, пропади пропадом этот драмкружок, насильно ничего не сделаешь...

Я повернулся и пошел к своей палатке. Через несколько шагов что-то заставило меня остановиться и оглянуться. Наталья, не двигаясь, смотрела мне вслед.



— Иди,— сказал я,— чего ты стоишь? Никому из вас нет дела... Наталья быстро пошла прочь, и я запагал к своей палатке. За моей спиной хрустко поскрипывали в снегу ее удаляющиеся шаги.

## V

У палатки я почему-то погрозил кулаком продолжавшему бушевать над головой северному сиянию. В матерчатой комнатке моей было почти так же холодно, как и на улочке, материя наружной стенки обжигала пальцы, и лишь стенка между моей и соседней комнаткой, где слышались громкие возгласы и звон бутылок, и не холодила, но и не грела. Там шел пир по какому-то случаю, а может быть, и просто так.

Я опустил на топчан и, не раздеваясь и не снимая меховой ушанки, уткнул локти в колени и подпер руками в рукавицах щеки. Под подушкой рядом со мной завозилась Пурга, пушистый, похожий на шар, щенок лайки, которого я приютил у себя. Когда я в первый раз оставил Пургу одну, уйдя в редакцию, она, видимо, возмущенная предательством, скинула подушку на фанерный пол, стянула туда же одеяло, разодрала своими крохотными зубами его край, сбросила с тумбочки на пол и растрясла пачку какао «Золотой ярлык», засыпав коричневым порошком всю комнату. Потом, привыкнув, стала в мое отсутствие забиваться под подушку, где я и находил ее, теплую и сладко спящую.

Пурга выползла из-под подушки и, слегка поскуливая, как малый ребенок, стала тереться о мою спину. Я взял ее на колени, она протяжно зевнула и затихла.

Кто-то вышел от соседей в коридор и посветил снаружи на мою дверь так, что из дыр, проделанных финкой, брызнули яркие лучики. В дверь деликатно постучали. Я пригласил войти. Гость распахнул фанерную дверцу и повернул выключатель. Ярko вспыхнула лампочка под матерчатым шатрообразным потолком.

Передо мной стоял Пасечник, нормировщик мастерских, человек молодой, энергичный, прямой. Мне нравился его острый ум и простота обращения, он никогда ни перед кем не юлил. В первый раз я видел Пасечника навеселе, лицо его налилось буроватым румянцем, губы лоснились от жира.

— Мы слышали, что вы вошли... — сказал он. — Заходите к нам, мы люди общительные, будем рады... Вам когда-нибудь приходилось есть котлеты из мамонта? — он спросил это без всякого перехода, немного манерно и заулыбался.

— Нет. Вкусные?

— Ну, знаете, когда говядина пролежит пять тысяч лет, пусть даже в мерзлоте, всякий поймет, что она не будет таять во рту. Вкус

подошвы,— продолжал он без всякой иронии.— Но поддерживает сознание, что ты питаешься, подобно своим древнейшим предкам... Пошли?

Несмотря на опьянение, речь его была связной, логичной, Пасечник оставался Пасечником и под винными парами.

Он приглашал меня выпить, и мне теперь было все равно. Сама земля, казалось, уходила из-под ног. Кому тут нужна святость, Коноваленко был прав, долго пай-мальчиком не продержишься. Так не все ли равно, сейчас или через полгода? Уж лучше с Пасечником выпить, чем с кем-то еще...

— Ну, что же, идемте попробуем котлет из мамонта,— сказал я.— Идемте, чего же вы?

Пасечник стоял передо мной и пожимал плечами. Улыбаясь, он сказал:

— Прошу извинить, вы поняли меня слишком буквально, вам придется поверить мне на слово. Котлеты из мамонта я ел в прошлом году на морском побережье. В обрыве берега обнажился бок мамонта с рыжей шерстью, и мы попробовали... Я делился, так сказать, своими воспоминаниями. Но у нас строганина, действительно тает во рту. Вы знаете, что это такое: замороженный и наструганный лепестками приперченный омуль...

Утром я проснулся в своей комнатке, под одеялом, но с отчаянной головной болью. Пурга повизгивала у двери, просилась наружу. Что было ночью, я совершенно не помнил.

Я выбрался из-под одеяла. Фанерный лист на полу обжег ступни, точно раскаленная стальная плита. На цыпочках пробежал к двери, выпустил Пургу, промчался по коридору к выходной двери, открыл ее и так же стремительно вернулся к себе. В одних трусах и майке принялся танцевать около печурки, нащипал лучины, сунул ее в печку, присел, зажав обнаженные локти в колени. Зашумел огонь, матово-синяя стенка печки нагрелась, и спасительное тепло окутало меня.

Все время, пока я выпускал на улицу Пургу, растоплял печку, приводил в порядок постель, я совершенно не думал о том, что случилось вчера в палатке-клубе, точно ничего и не было. Лишь где-то глубоко в душе не покидала меня тревога.

Отчаянный тонкий вопль щенка слышался снаружи. Не одеваясь, я кинулся на помощь. Мрачная темно-красная заря занималась в тайге, сизые дымы стояли над трубами палаток и бараков. Щенок, уткнувшись черным носиком в поваленное набок ведро, горько плакал. Я присел около, не замечая, что снег жжет ступни. Пурга не могла оторвать от ведра свой острый розовый язычок — примерз к металлу. На улице градусов сорок пять ниже нуля! Что делать? Я прибежал в комнату, с силой пробил кружкой слой льда, образовавшийся за ночь в ведре с водой. От воды язычок оттаял

мгновенно, и плач прекратился. Пурга потянулась ко мне, пытаясь лизнуть в лицо. Я сгреб пушистый снежно-белый шарик и побежал в палатку. Все в комнатке дышало жаром, печка шумела, как локомотив. Мы с Пургой уселись на кровать, и она принялась вертеться и кувыряться около меня. А я ловил ее, гладил пушистую шерсть и думал о том, как нужно человеку что-то свое, какой-то сокровенный уголок души, который не обязательно выставлять напоказ людям... Прочнее тогда стоит на земле человек.

Кто-то с силой ударил снаружи в дверцу, она распахнулась настежь, и в комнату ворвался Рекс, высокий, сильный пес с красивой пятнистой шубой. Рекс был в меру нахален, умел наслаждаться жизнью и не участвовал ни в каких песьих склоках и драках, берег свою шубу. Меня он одаривал своим посещением каждое утро. С достоинством сожрав то, чем я его угощал, и вежливо улынувшись, то есть немного поскалив свои ослепительные клыки, прижав острые ушки к голове и помахав великолепным хвостом, словно говоря: «Ты же прекрасно понимаешь, зачем я к тебе захоживаю. Такова, брат, жизнь, никаких сентиментов!» — тотчас скрывался.

— Здорово! — воскликнул я.

Рекс кинулся ко мне, упер передние лапы мне в плечи и без всякой застенчивости лизнул по щеке горячим языком. Будто не видел меня год.

Пурга слетела с кровати на пол, перевернулась перед ним на спину и заболтала всеми четырьмя пушистыми, похожими на заячьи, лапками. Рекс, красиво изогнув шею — он все делал красиво! — поднял свою могучую лапу, словно собираясь поиграть со щенком, но не дотронувшись до него, обернулся ко мне. У него явно не хватало сегодня времени заниматься пустяками. Я выдал ему кусок консервированного мяса, припасенный для себя. Он мгновенно проглотил мой завтрак, как-то между прочим улыбнулся и, не теряя зря времени, покинул нас. Пурга вскочила сразу на все четыре ноги и, наострив ушки, ошарашенно смотрела вслед наглецу.

И тут я все вспомнил... И северное сияние, и то, что сказала мне Наталья, и историю с Даниловым, и пьянство у Пасечника...

Через полчаса я сидел в кабинете Кирющенко и рассказывал ему то, что вчера произошло в палатке-клубе, а заодно и о том, как нехорошо получилось с Даниловым. Начальник политотдела бесшумно расхаживал по комнате в неуклюжих валенках, сунув руки в карманы, и время от времени поглядывал в мою сторону.

— А ты знаешь, что Андрей лежит в больнице раненый? — вдруг спросил он.

Я замер на полуслове.

— Вчера вечером в протоке ударили ножом. Кто там у тебя первым из палатки ушел? — неожиданно спросил Кирющенко, останавливаясь против меня.

— Коноваленко... — сказал я, не поняв, почему он спрашивает об этом. И тут же у меня блеснула догадка. Ощущая, как теплеет мое лицо, я торопливо сказал: — Он ни при чем... Не может быть!

Кирющенко тяжело вздохнул и отвернулся, стоял посреди комнаты и смотрел на пол. Потом взглянул на меня, молча усмехнулся, покачал головой. Наступило тягостное молчание.

Кирющенко первым нарушил его, суховато сказал:

— Нашел Андрея на снегу Коноваленко, а потом уже Гринь подошел. Вместе они снесли раненого в больницу в бессознательном состоянии, оба побежали за врачом... Вот как! — сказал Кирющенко таким тоном, точно возражал мне в чем-то.

— Нет! — сказал я решительно. — Не Коноваленко, кто-то другой...

Кирющенко смотрел на меня строго, мне показалось, сейчас скажет что-то для меня неприятное. Но он заговорил совсем иным тоном:

— Я давно знаю Коноваленко, за ним числится много разных историй. Но на такое он не пойдет... Разве что в пьяном виде. Говорят, вчера был трезвым. Но свидетелей-то нет, он один нашел раненого. А любой скажет, что они друг с другом, как кошка с собакой. Андрей ему прохода не дает за пьянство, знаешь, как он умеет, ни с чем не считается, вплоть до оскорблений. Следователь это по-своему может истолковать: уличающие факты. Вот как!

— Надо с Андреем поговорить... — сказал я.

— Врач не разрешает. Да и вряд ли что Андрей сказал бы, ударили его сзади, в спину. — Кирющенко уставился на меня своими светлыми, не сулящими ничего доброго глазами и спросил: — А ты сам-то помнишь, что вытворял?

— Помню, — пробурчал я, — пьянствовал...

— Мало того. Ты, говорят, на снегу перед палаткой в одних трусах в пляс пустился на всем честном народе. Хорош секретарь!

— Не может быть, я же плясать не умею, — изумился я.

— Даже не помнишь, что выделял! — взорвался Кирющенко. — Так и до белой горячки недалеко. А если выгонят тебя комсомольцы из комитета? Тебе бы в партию готовиться, а ты чем занялся? — беспощадно продолжал Кирющенко.

— Ничего у меня не выходит, — негромко сказал я. — Из драмкружка бегут. И еще с Даниловым... Ну вот...

Кирющенко постоял около меня, помолчал.

— Это не оправдание, — сказал он.

— Я и не оправдываюсь... А в трусах утром перед палаткой я щенку язык от ведра оттаивал...

Кирющенко опять уставился на меня, видимо, стараясь определить, говорю я правду или вру.

— Все разом и случается, когда что-нибудь недорабатываем, —



сказал Кирющенко, наверное, поняв, что я сказал правду.— Поножовщины у нас никогда не было. О преступлении я сообщил в Абый, вызовут из Якутска следователя по особо важным делам, придет, разберется. Вечером к шести часам на партбюро приходи. Не вздумай только рук опускать,— решительно продолжал он,— и газета нам нужна, и драмкружок. Не забывай. Иди, берись за дело.

## VI

Но сразу взяться за дело я не мог. Совесть моя была беспокойна, мне почему-то казалось, что есть неясная еще для меня связь между ранением Андрея и обидой Данилова, вызванной полной публикацией дневника. Что тут могло быть? Что?..

Постепенно мной овладело странное чувство собственной вины. В чем, за что? Но выполни я просьбу Семенова, убери места, в которых рассказывалось, как теперь стало ясно, о Данилове, не было бы по крайней мере этих сомнений. Я отправился разыскивать Данилова; если есть какая-то связь, он должен знать...

Его нигде не было — ни на конбазе, ни около общежитий, и тогда я пошел на другую сторону протоки к юрте, которую осенью соорудили себе Федор и Данилов. Крохотное жилье с плоской крышей было сработано наспех из тонких стволов лиственниц, снаружи залепанных комьями глины. За столиком у оконца сидел Федор со взъерошенными волосами и заспанным лицом. На вопрос, где Данилов, он нехотя кивнул на темную занавеску, которой был отгорожен угол, и пробурчал:

— Спит...

— Почему не на работе?

— У него спроси,— враждебно сказал Федор и отвернулся к окошечку, за которым в глубине тайги цвела зловещая малиновая заря.

Данилов спал, скрючившись на оленьей шкуре, постеленной на голый деревянный топчан, и уткнувшись колючей черноволосой головой в цветастую ситцевую подушку. Мелкие капельки пота выступили у него за ухом. Я позвал его, тронул плечо. Напрасно! Данилов спал похожим на беспамятство сном.

— Пьяный? — спросил я, поворачиваясь к Федору.

Он не ответил, даже не повернулся ко мне, продолжая смотреть в оконце на зарю. Я присел на грубо сколоченную табуретку, не зная, что делать. Федор скосил на меня взгляд.

— Зачем он тебе? — спросил Федор, не делая ни малейшего движения, чтобы повернуться ко мне.

— Поговорить хотел,— как-то машинально сказал я, раздумывая о своем.— В Абый мы вместе ездили, а потом он обиделся за этот дневник... Разве я в чем виноват?..

Федор повернулся и посмотрел на меня долгим, холодным взглядом.

— А где же ты раньше был? — спросил он, не отрывая от меня взгляда. — А-а!.. — он с каким-то ожесточением махнул рукой, едва не ударившись о край стола. — Не понять тебе таких, как мы, у которых никого нету, попробовал бы нашей житухи, завыл бы пуще него... — Федор усмехнулся: — Прощения пришел просить!.. О себе, а не о нем ты подумал, об успокоении своей души. Ему вспоминать про то, как он жил, хуже, чем ножом по сердцу, а ты его перед всеми людьми обголил со своей газетой. — Федор опять стал смотреть в маленькое без переплетов рамы окно. — Как слепой живешь, — снова заговорил он, — не видишь вокруг себя жизни людской, невдомек тебе, что последнее отнимаешь...

— Что я отнимаю? Что? — воскликнул я, смутно понимая, что Федор в чем-то прав.

— Что? — Федор рывком повернулся ко мне. — Я тебе расскажу — что... Хотел ты правды дознаться, так уж я расскажу. Родню мою побил голодом в Заволжье в засуху. Родителей похоронил, двух сестренек в землю своими руками закопал, как жить было? Ушел из деревни. Погодя время, девушку встретил на строительстве в Сибири, деревенскую, тоже одинешеньку, как и сам. За всех, кого в землю уложил, ей одной досталась моя забота. Приехал туда такой активист, как ты, книжки ей стал читать, стихи рассказывать, песни пел, шутки шутил... Не то, что я. После засухливого года забыл я все такое, в душе пересохло. Одно только и знал: для нее жить. В последний раз пришла, заплакала, до земли поклонилась, и больше я ее не видал... Ушел и оттуда. После разыскала мой адрес, прислала письмо. Бросил ее тот активист. Не поехал я к ней, понял, что не смогу быть с ней человеком, перегорело, что было. На Индигирку перебрался, подальше от нее, а и здесь активист объявился. — Федор помолчал и угрюмо произнес: — Куда дальше бежать, не знаю...

— Вот почему ты Наталью в клуб не пускаешь... — В душе моей поднималась мутная волна гнева, мне хотелось наговорить ему злых, обидных слов, я едва сдерживал себя.

— Кто это тебе сказал? — совсем негромко проговорил Федор. — Или сам выдумал?

— Он сказал, — я кивнул на занавеску, — жалко, говорит, Наталья.

— А он-то что сам знает? — с какою-то сдержанной горечью сказал Федор. — Нет, — мотнул он головой, — нет, не держу я Наталью. Сама она не захотела в клуб к тебе ходить, что же я ее, силком?.. Наталью не заставишь, если не захочет, самостоятельная, от ее характера и мне не сладко...

Мы помолчали, я понял, что мои обиды смешны, мелки, что тут уж ничего не поделаешь, Федор говорит правду.

— Кто же ножом Андрея?.. — как-то невольно вырвалось у меня.

Федор оперся о стол обеими руками и начал медленно подниматься, лицо его сделалось каким-то безжизненным.

— Так вот ты зачем... Вот ты чего у Данилова хотел выпытать, в чем обвинить...

Я невольно тоже поднялся. Мы стояли друг перед другом, я понимал, что Федор сейчас бросится на меня. Он вдруг опустился на табуретку, в изнеможении уронил голову на руки, плечи его как-то странно сжались.

— Уходи,— глухо сказал он.— Уходи, худо будет...

Я постоял над ним; не зная, что делать, и вышел из юрты.

Когда я появился в редакции, Рябов, ни о чем не расспрашивая, сказал:

— Тут ребята, рабочие мастерской, заходили, принесли тебе акт «легкой кавалерии», я на твой стол положил. Как раз то, что нам нужно. Проверь факты, обработай в виде заметки.

И сразу легче мне стало дышать, жизнь своим чередом идет. Ничего не сказал я Рябову, понял, что он уже знает об Андрее, молча сел за стол и взял с пятнами машинного масла листок. Акт был составлен предельно деловито: столько-то килограммов бронзовой стружки при обточке вкладышей подшипников втоптали в земляной пол мастерской; нет ящика для сбора отходов цветного металла; за расхождением бронзы и баббита мастер не следит... В газете содержание акта заняло бы всего несколько строк, надо еще сходить в мастерскую выяснить, для каких целей изготавливались вкладыши, узнать фамилии тех, кто не пожелал собрать стружку. И надо найти несколько красочных штрихов, тогда будет заметка. Но гораздо важнее заметки, что ребята хозяевами себя почувствовали, не побоялись недовольства нерадивых своих товарищей. Для меня сейчас это было самым важным. Такие не отступят и перед тем страшным и непонятным, что вчера вечером случилось в протоке. Всё! Работать, работать!..

Рябов покосился в мою сторону и сказал, точно угадывая мое состояние:

— Что бы ни случилось у нас в затоне, мы не имеем права на перебои...

И он стал говорить о том, что в номере с тассовским материалом о партконференции надо организовать подборку о судоремонте, получить материал от механиков и слесарей.

Весь день я пропадал в мастерской, в камбузах пароходов, где пахло разогретым металлом и машинным маслом и были установлены железные печки-временки, верстаки, тиски и шла работа по ремонту узлов пароходских машин. Механики и масленщики, превратившиеся зимой в слесарей, были стоворчливее, чем Луконин, который всегда решительно отказывался писать заметки, кивали, обе-

щали к завтрашнему дню написать. Я знал, что этим обещаниям грош цена, и не уходил, спускался в машинные отделения и лазал по нагромождениям замороженного шестидесятиградусными морозами металла под нависшей от дыхания рабочих бахромой инея, постигал хитроумности давно известных человечеству паровых машин для того, чтобы самому понять, какая же часть работ завершена и что еще «держит» выполнение графика судоремонта. Механики и масленщики, покоренные моей заинтересованностью в их нелегком труде, возбужденные, как и я, лазали вместе со мной по закоулкам машинных отделений. Потом мы поднимались в теплые камбузы, и крепыш Завьялов, механик «Чкалова», или усатый, похожий на Буденного «дед» Жданов, или какой-нибудь без году неделя молодой масленщик пристраивались с замызганным, выдраным из тетради листком на громадных тисках и обломком карандаша выводили несколько корявых строчек второпях, без знаков препинания. Заметки получались немногословные, похожие на ремонтные ведомости, в них говорилось о том, что уже отлажено и что еще предстоит шабрить, клепать, варить, сверлить, обтачивать на токарном станке и в какие сроки по плану и по обязательствам. Оказалось, что ремонт паровых машин отстает от графика, мастерская задерживает выполнение заказов, кое-где до сих пор не утеплили камбузов, превращенных во временные мастерские. Не уходя в редакцию, тут же, я правил заметки, дополнял их и читал вслух авторам. Те слушали, удовлетворенно кивая после каждой фразы, в простоте душевной вслух удивлялись тому, как у них гладко получилось, иногда просили что-нибудь дописать или вычеркнуть и к обоюдному нашему удовлетворению подписывали уже готовые к печати материалы.

Вечером я пришел в кабинет Кирющенко и не без волнения устроился на неуклюжем стуле затонского изготовления у бревенчатой стены. Кроме начальника политотдела, здесь были Стариков, Рябов, механик Жданов, черноусый невысокий человек, у которого только что в камбузе «Индиго» я взял заметку. Позднее всех пришел Васильев, присел сбоку от Кирющенко, закинув ногу на ногу и опершись локтем о край стола. Лицо его выглядело усталым, припухли складки у губ, лишь в глазах теплились прежние живые огоньки. Он хмурился и молчал. Мне показалось, что он ждет каких-то неприятностей.

Моя информация о работе комсомольской организации была короткой: рассказал о постах «легкой кавалерии» на складе и в мастерской, сказал, что ремонт судов отстает от графика, упомянул о драмкружке.

Васильев подтвердил:

— Читал акт «легкой кавалерии», заставлю навести порядок.

Стариков похвалил за рейды. Совсем коротко сказал Жданов: «Надеемся мы на наш комсомол...» Кирющенко слушал, едва при-



метно усмехался чему-то и тоже похвалил: правильное начало. Но затем, не щадя моего самолюбия, принялся стыдить за вчерашнюю историю.

Васильев неожиданно прервал его:

— По молодости чего не бывает... Вы бы о себе, о своей работе, а вернее, об отсутствии работы с людьми сказали, что же отыгрывать на нем, — он кивнул в мою сторону. — Пьянство в поселке, один Коноваленко чего стоит. Поножовщина! Вот ведь до чего докатились!

Кирющенко вздохнул и простецки сказал:

— С людьми недостаточно работаем...

И это его нежелание спорить с Васильевым, защищаться от несправедливого упрека было сильнее, мужественнее самых яростных протестов и оправданий.

— Сгущать краски не стоит, — наливаясь кирпично-бурым румянцем, глядя на Васильева, угрюмо проговорил Стариков.

— А я объективно... — круто замешанным на хрипотце голосом сказал Васильев. — Я факты привожу.

— Не будем спорить, — сказал Рябов, — поговорим и о наших недостатках, к этому нас обязывают решения партконференции. Тем более что вторым вопросом мы слушаем о поведении коммуниста Васильева во время прошедшей навигации.

Рябов повернулся к начальнику пароходства и спокойно выдержал его горячий взгляд. Тот хотел было ответить, но лишь крутнул головой и усмехнулся. Едва собрался сказать что-то Кирющенко, как Васильев перебил:

— Да, Александр Семенович, теперь, после решений конференции, тебе хлопот прибавится. Вот секретарь комсомола, — он взглянул на меня, — докладывал, что с ремонтом судов мы отставать стали. Взялся бы ты за коммунистов — механиков и слесарей. Социалистическое соревнование — твоя работа, вмешиваться не хочу.

— Правильно, товарищ Васильев, — Кирющенко кивнул, — надо с коммунистами поговорить, посоветоваться. Они и нам с тобой могут кое-что подсказать, и спросить и с меня, и с тебя. Общими силами порядок наведем и на складах, и в мастерской, решения партконференции для нас закон. С учетом материальных ценностей тоже надо разобраться, того гляди, ревизор прилетит, поможет нам. — Кирющенко нахмурился, опустил глаза и добавил: — Где-то из-за пурги самолет с ревизором присох...

## VII

Наступило настороженное молчание, видимо, никто не ждал, что ревизор уже находится на пути в затон.

— Есть радиограмма? — встрепенулся Васильев.

— Есть.— Кирющенко кивнул.— Синоптики обещают дня через три летнюю погоду.

— Ида-а... — протянул Васильев.— Ну, меня-то не будет, ревизора ждать не могу, надо к геологам ехать, а то вот так же пурга закрутит, как там, и не выберешься.

— Не рекомендовал бы тебе уезжать,— сухо сказал Кирющенко.

— Ревизора не я, а ты вызвал,— сказал Васильев.— Ты с ним и разбирайся.

— Не в ревизоре дело. Баржа в главном русле стоит, покою никому не дает. Ночью опять наледная вода залила часть канавы, по которой баржу в протоку будем заводить, у ребят руки опускаются. Как бы не подмыло баржу, упадет с «костров», поломаются...

— Ты, Александр Семенович, соревнование организуй, комсомол мобилизуй,— а уж с баржей я как-нибудь сам управлюсь. План грузоперевозок в прошедшую навигацию мы по тонно-километрам перевыполнили... — сказав это, Васильев повернулся к Рябову и, все больше и больше наливаясь крутым румянцем, в упор посмотрел на него.— Командовать начальником пароходства никто не позволит, об этом в решениях партконференции не сказано.

— Я не команду, а рекомендую,— сказал Кирющенко официальным тоном.

— Давайте закончим с первым вопросом,— настойчиво сказал Рябов.— Предлагаю принять к сведению информацию секретаря комсомола, а выводы из справедливой критики, я уверен, он сумеет сделать.

— Других предложений нет? — спросил Кирющенко.

Голосование было единодушным. Второй вопрос должен был слушаться на закрытом заседании партбюро, меня отпустили.

А на другой день я увидел около конторы оленью упряжку и якута-каюра в дошке из оленьих шкур шерстью наружу. По ступенькам конторы сошел Васильев в рыжей гриневской кушлянке.

— Надо геологов провести,— сказал начальник пароходства, когда я подошел к крыльцу.— Свежим воздухом подышу,— продолжал он со значением.— Припугнуть меня вчера хотели. Орешек крепким оказался. Вечером связался с Москвой, поддержали меня, считают поездку к геологам необходимой. Вот так! — Он усмехнулся и другим тоном сказал: — Хотел вас прихватить, помню ваше желание у геологов побывать, да Кирющенко уперся.

— Пожалуй, мне сейчас нельзя... — робко сказал я, испытывая невольную признательность, ведь помнит он...

— Ладно, в другой раз. Бывайте! — энергично сказал Васильев.

Он сел в нарты, каюр повел диковато сторонящихся оленей, придерживая их за ремешок, накиннутый на шею одного из них. Я смотрел вслед нартам и какое-то странное неприятное чувство стало все

более охватывать меня. Олени, нарты, седок в рыжей кухлянке скрылись среди деревьев, подступивших к самому поселку, а я все стоял и смотрел на оставшийся на снегу узкий след от нарт. Почему Васильев неожиданно взял меня под защиту на заседании партбюро и просил Кирющенко отпустить с ним к геологам? Искал во мне союзника или просто так, от душевной широты? Очень было важно для меня решить этот вопрос. Но решить его я не мог.

Лишь постепенно неприятный осадок в душе, как часто бывает, растворился от новых забот. В редакцию пришла Наталья, чего я никак не ждал, и сказала, что врач разрешил посещение Андрея. Зимой она работала медицинской сестрой в больнице. Мы с Рябовым принялись расспрашивать ее, как чувствует себя Андрей. Она сказала, что тяжелое состояние его объяснялось большой потерей крови, сама же рана, по определению нашего доктора, была нанесена неопытной рукой, оказалась не очень опасной.

В тот же день я собрался к Андрею. По пути мне повстречался Гринь.

— Извиняюсь, вы в больницу? — почему-то обрадовался он. — Только что радистка мораль мне читала, дров не подвезли. Данилов второй день на работу не выходит. Она слушать ничего не хочет. Сейчас сам привезу, последние, какие остались. Еще скажет, что мало. Посидите у Андрея, вместе с вами от нее отбиваться сподручнее...

Больничка стояла на краю поселка. Стены небольшого плоскокрышного сруба с наступлением холодов для утепления были заляпаны мокрым, тотчас смерзавшимся на бревнах в ледяные лепешки снегом. У крыльца сугробы были расчищены, около двери лежал половичок с втертой в него подошвами валенок снежной пудрой, к заледеневшей стене прислонен веник из тальниковых прутьев — обметать ноги. Замершая, усыпанная снегом тайга стояла совсем рядом. Хорошо тут было, покойно, светло от близких среди деревьев снежных завалов, подкрашенных зарей. В прихожей встретила меня Наталья в белом халатике, спускавшемся ниже колен, статная, какая-то успокоенная. Темные глаза ее были прозрачны и... удивительно светлы. Никогда бы не поверил, что бездонно-черные глаза могут стать светлыми, как пронизанные солнцем до дна озера.

— Ему сейчас лучше, — торопливо заговорила она. — Так было страшно... — она внезапно оборвала сама себя. — Проходи, только разденься.

Через дверь я увидел в палате с высокoblенными желтоватыми бревенчатыми стенами Данилова, он сидел у кровати. Жесткие его волосы были причесаны, под пиджаком топорщилась свежая рубаха, руки покойно лежали на коленях. Я вошел в палату и только тогда увидел Андрея. Он лежал похудевший, с темными глазами и обескровленными губами. Слабо пожал мне руку. Данилов, едва увидел

меня, полоснул по мне взглядом и застыл в напряженной позе. Наталья тронула его плечо.

— Подвинься, Коля, — мягко сказала она.

Легкое прикосновение девушки словно обожгло парня, он отпрянул.

— Мешаю, да? — спросил он.

— Нет, — сказала Наталья, опять коснувшись его плеча.

Он подвинул свою табуретку. Наталья принесла вторую для меня. Я опустился рядом с Даниловым и устался в пол. Он искоса глянул на меня. Наталья оперлась локтем о высокую спинку кровати.

— Что вы замолчали? — оглядывая нас, спросил Андрей.

— Я пойду... — сказал Данилов и почему-то взглянул на Наталью.

— Да куда ты? — удивилась она. — Только что пришел.

Пробыли мы у Андрея с полчаса. Разговор не получался, то я молчал, то Данилов не произносил ни слова. Андрею разговаривать было трудно из-за раны. Неожиданно мы с Даниловым поднялись почти одновременно, с досадой посмотрели друг на друга. Делать было уже нечего, пришлось вместе и уходить.

Снаружи послышался скрип снега под полозьями саней, звонко запели сваливаемые у дома сухие лиственничные поленья. Мы вышли на крыльцо. Гринь самолечно сгружал с саней колотые дрова. Вслед за нами выскочила Наталья в накинутой на плечи оленьей шубке.

— Гринь, вы молодец! — воскликнула она.

Гринь подмигнул мне и заулыбался в рыжие усы. Мы с Даниловым принялись перетаскивать поленья в прихожую. Уложили в углу аккуратной горкой, распростились с Натальей и вышли на крыльцо к Гриню. Постояли, глядя себе под ноги. Данилов поднял на меня глаза.

— Возьмешь в драмкружок? — неожиданно спросил он.

— Приходи, — машинально ответил я, никак не ожидая этих слов.

— Буду за Андрея слова говорить. Андрей нельзя, я буду. Дай, что нада говорить.

— Будешь исполнять роль Андрея? — воскликнул я, еще более удивляясь: Данилов всегда отказывался что-либо делать в драмкружке. — А ты сможешь выучить слова?

— Два мешка таскать — не падал. Слова таскать легко. Давай!

— Хорошо, дадим тебе роль Андрея. Приходи на репетицию.

— Ладна, приду. — Он взял из рук Гриня вожжи.

— Надо, Коля, на делянку в лес съездить, — сказал Гринь.

— Ладно, съезжу тайга... — покладисто сказал Данилов и, присев на край саней, дернул вожжи.

— Пора опять за репетиции приниматься, — сказал я Гриню.



— В самый раз! — воскликнул он, и лицо его засветилось. — Со-  
скупчились ребята, спрашивали у меня, когда вы скликать начнете.  
Забрала охота сыграть пьесу. У вас тоже свои, извиняюсь, неприят-  
ности приключились. Без того никак не обходится. Только, изви-  
няюсь, на кладбище неприятностей не бывает... Выходит, Андрею  
замена нашлась, а вы поговорили бы с Натальей.

— Посмотрим... — неопределенно сказал я. — Гринь, как вы ду-  
маете, кто ранил Андрея? — спросил я о том, что не выходило у меня  
из головы.

Гринь подозрительно огляделся вокруг, хотя на улочке никого  
не было.

— Я, извиняюсь, допрос снял с Петра Коноваленко, — подавшись  
ко мне, тайнственно, вполголоса заговорил Гринь. — Потому как  
милиции сроду в затоне не было. Первое подозрение на него падает,  
это, уж вы мне поверьте, точно. Когда я вышел из клуба, Андрей  
лежал раненый, крови вышло — снег почернел. Коноваленко на ко-  
ленях перед ним стоял, вроде хотел поднять. Все выходит, как долж-  
но быть, преступник сделал вид, что помогает своей жертве. — Гринь  
развел руками, воскликнул: — Так по всем приметам выходит, куда ж  
ты денешься! Приедет милиция, Петра перво-наперво сребрут. Это  
точно! А все же таки он не виноват. Вместе мы понесли Андрея.  
Никакой преступности у Коноваленко не наблюдалось, одно только  
беспокойство, что не выживет... Протокол дознания передал Кирю-  
щенко. Незаконно, говорит, следствие ведете.

— Что же теперь делать?

— Правды не затопчешь, — с уверенностью сказал Гринь. — Она,  
правда, завсегда выплывет наружу... Коноваленко ни при чем. Не ви-  
новат Коноваленко... — Гринь другим тоном спросил: — Будем соби-  
рать народ? Я с Коноваленко говорил, сказал ему, что вы зла на  
него не держите за то, что он тогда ушел.

— Будем, — решительно сказал я, — затапливайте завтра печи  
пораньше, палатка совсем выхолодилась, сколько дней прошло...

В назначенное время опять все собрались в клубе у раскаленной  
бочки. Пришел и Николай Данилов. Постоял в глубине палатки  
в полумраке, сунув руки в карманы кургузой телогрейки. Приблизил-  
ся к нам, сказал без всякого вступления:

— Давай буду говорить за Андрея...

Кто-то воскликнул:

— Сперва вызубри...

— Вызубрю, — ответил Данилов резковато, словно спорил с на-  
ми, и добавил: — Андрей сказал: «Добро...»

Больше его не стали ни о чем спрашивать. Он подсел ко мне  
и негромко сказал:

— Маруся спрашивает, можна? — Данилов кивнул на фанерную  
дверцу палатки.

Я быстро встал и прошел к выходу. У палатки стояла Маша, в темноте ночи я угадал ее хрупкую фигурку в ладной телогреечке.

— Чего ты стоишь? Входи, — сказал я.

— Парни засмеют... — сказала она неуверенно, совсем непохоже на нее. — Наталья велела, я пришла...

Маша села среди нас у печки, и все разом заговорили, начались шутки, смех, совсем как и в тот вечер, когда переступила порог палатки наша первая девушка, странная и непонятная Наталья...

Репетиции возобновились, хотя в наступившие свирепые февральские морозы и трудно стало протапливать палатку. Наши художники принялись готовить красочные объявления о премьере, собираясь вывесить его на полотняной стенке клуба.

## VIII

В эти-то пятидесятипятиградусные морозы к нам прилетел самолет. Машину принимали на льду Индигирки, расчистив от снега изрядный прямоугольник и запалив по его углам сигнальные костры. Летчики привезли почту, газеты с материалами XVIII партконференции и... ревизора. Вместе с ним из самолета вышли на лед Индигирки еще два пассажира, как мы почему-то решили, его помощники. Куда бы я в тот день ни приходил по делам газеты — в мастерскую, на пароходы, в камбузы, превращенные в слесарные мастерские, на баржи в шкиперские рубки — везде только и разговоров было о ревизоре. Если учесть, что самолет прилетел «спецрейсом», то есть вне плана, что половина дружинцев расчищала снег на реке и разводила сигнальные костры, то уже все это само по себе взбудоражило поселок. Да тут еще ревизор! Ждали каких-то разоблачений, ревизор-то был вызван Кирющенко, и, значит, не зря — об этом уже знал весь затон. Скрыть что-либо в нашем крохотном поселочке было совершенно невозможно, жили мы здесь, словно под стеклянным колпаком, через который не только все видно, но и слышно.

Ревизор, к общему удивлению, оказался неприметным мужичишкой, невысоким, добродушным, в допотопных очках с круглой потертой оправой без одной дужки, которую заменяла петелька из веревочки, накинутая на ухо. Заштатный вид грозного в представлении нашего рабочего народа должностного лица не вызывал почтения и, тем более, страха. Ревизор поселился в комнатухе дома, где жили Кирющенко и Васильев, по утрам аккуратно, вперевалочку ходил в контору и весь день просиживал за грудками бумаг в бухгалтерии. Мирная и нешумная его деятельность, казалось, не приносившая никому ни вреда, ни пользы, в конце концов притушила всеобщий к нему интерес. А два прилетевших вместе с ним человека, как мы сочли, его помощники, и вовсе держались в тени.

Совсем позабыли о ревизоре, когда по канаве в главном русле Индигирки, пробитой во льду от баржи, бурлящим потоком пошла зеленоватая, дымящаяся на трескучем морозе наледная вода. Наледь обычно появляется к середине зимы или к весне. Глубинные стоки напрочь перемораживает, скапливаясь где-нибудь подо льдом и замерзая, вода расширяется, взрывает ледяной панцирь, иногда в несколько метров толщиной, и вырывается наружу. Еще на «Моссовете» геологи, бывалые люди, рассказывали, что от ледяных взрывов вылетают стекла и гаснет пламя свечи, разрушаются дороги, дома, мосты. Наледная вода около устья протоки грозила подмыть «костры» — сложенные колодцами метровые кругляки, на которые при помощи множества ручных домкратов с великой осторожностью и трудом всем мужским населением затона была водружена для ремонта и покраски днища пятисоттонная баржа. В устье протоки на главном русле Индигирки ежедневно посменно выкалывали лед бригады рабочих, удлиняли и расширяли канаву, облегчая сток воде. Стариков надеялся, что удастся спустить воду и не дать подмыть «костры», спасти баржу от падения и поломки. После отъезда Васильева к геологам он остался за начальника пароходства и вся ответственность теперь ложилась на него. Но вода не убывала, где-то на дне протоки переморозило грунты до вечной мерзлоты, и воде был только один путь — наверх, в канаву, где лед был тоньше всего. Укротить наледный поток оказалось не так-то просто.

В конце концов и к этим заботам и тревоге тоже привыкли: вода хотя и не спадала, но и не топила чашу во льду, где на городках покоилась громадная баржа. И тогда мы вывесили заранее заготовленное объявление о премьере...

В палатку-клуб зрители набились «под завязку», как выразился Гринь, выглянув через прореху в занавесе. Пятисотсвечовая лампа у матерчатого потолка освещала на передних рядах обнаженные головы со спутавшимися влажными от пота волосами. Дальше от печки на головах были уже меховые шапки всех расцветок и фасонов: пушистые серые — беличьи и заячьи; рыжие, огромные — из меха рыси; пестрой шерсти, лохматые — из собачины; аккуратные флотские — черной цигейки... Сизые облака табачного дыма поднимались и быстро рассеивались, проникая наружу через тонкую материю, и потому в палатке было довольно ясно. Приглушенный ровный шум голосов доносился к нам за кулисы, зрители терпеливо ждали начала спектакля. А мы изнывали от тревоги и ожидания. Наш суфлер, учитель местной школы, накануне ушел пешком в районный центр, якутский поселок Абый, за сорок километров и до сих пор не появлялся. Начинать без него мы не решались.

К нам за кулисы пришел Кирющенко в меховой летной куртке и тоже летных меховых сапогах из собачьих шкур. Знал, что в клуб в эти морозы надо приходить в теплой одежде. Вместе с ним появил-

ся секретарь райкома комсомола Семенов, тоже в меховом, впрочем, у него это был дорожный наряд. Он еще вчера приехал в Дружину на лошадях. Идти на лыжах с комсомольцами, как он прежде собирался, в мороз было небезопасно. Я объяснил причину задержки спектакля.

— Как же учитель вчера ко мне в райком не зашел? — сокрушался Семенов. — Я бы его с собой привез. Зачем ему пешком ходить, может замерзнуть, и время его ценить надо. Учитель хороший, ребята в якутском интернате его хвалят, а совсем еще мальчик, стесняется.

Кирющенко в сопровождении Гриня осматривал декорации, а я и Семенов отошли в уголок. Он уже слышал историю с Даниловым и теперь принялся винить себя за то, что передал дневник для опубликования. Спросил, где живет Данилов, я объяснил.

— Ночевать к ребятам пойду, — сказал он.

— А как они тебя встретят? — спросил я, понимая, что не зря он хочет идти к ним.

— Не выгонят же...

Кирющенко увел Семенова в зрительный зал, и тут у меня мелькнула спасительная мысль поручить в этот вечер суфлерство Гриню. Все репетиции Гринь просиживал с нами, тексты ролей знал почти дословно и не раз поправлял актеров, когда те начинали нести отсебятину. Самостийно стал, так сказать, «помрежем».

На мою просьбу заменить учителя Гринь ответил так:

— Суфлер из меня получится хоть куда, это вы точно примечали... Полчасика еще потяните. Мне надо сбегать к ямке, извиняюсь, с морожеными зайцами. Чует мое сердце, что под шумок драматического искусства притопают кто-то за мясом. Так что полчасика еще задержитесь, лекцию им какую-нибудь обскажите, может, извиняюсь, акробатикой занимались? А то еще фокусами? Цирк народ уважает. А я тем временем обернусь.

Не дожидаясь моего ответа, Гринь нагнулся и, задрав брезентовую стенку, с неожиданным проворством подлез под нее, только я его и видел. Было поразительно, как это Гринь до сих пор не забыл злополучных зайцев. Недавно он сказал мне, что видел у ямы свежие следы. Совершенно неисправимый романтик!

Прошло полчаса, Гринь не появлялся. К тревоге за учителя прибавилось беспокойство за Гриня. В зале начался ропот. Я вышел на авансцену объявить, чем вызвана задержка с началом спектакля.

Входная дверь с треском распахнулась, и в палатку ворвался учитель. Брови, ресницы его, шапка рысьего меха, ворот полушубка были покрыты сверкающей в ярком свете опушкой инея.

Суфлер с текстом пьесы разместился за кулисами, и спектакль начался. О Грине в этот момент я совсем забыл.

Первые аплодисменты выпали на долю Николая Данилова. Играл



он вместо Андрея разведчика красных. По ходу пьесы разведчик должен был выбежать к зрителям в мокром белье, только что переплыв Волгу. Данилов разделся за кулисами до трусов и майки, вернулся на себя ведро ледяной воды и выскочил на сцену. Струйки стекали с его босых ног на пол и тут же белели, примерзали к доскам. От мокрой майки валил парок. Зрители разразились овацией, Кирющенко в первом ряду зааплодировал было вместе со всеми, но тут же встал и прошел за кулисы.

— Вы что, с ума посходили? — накинулся он на меня. — Ты их переморозишь, в больнице коек не хватит.

— А я тут при чем? — забыв про зрительный зал, воскликнул я. — Так по пьесе положено.

— Пьесу ты сам переделывал, мог же учесть наши условия, — не уступал Кирющенко.

— Они хотят играть без всяких условностей, так, чтобы было реально, понимаете? — воскликнул я. — Seriously относятся к искусству, и это очень хорошо. А насчет ведра воды я и не знал, они сами притащили, можно было, конечно, и без воды...

Кирющенко посмотрел на меня уничтожающим взглядом, я ответил ему тем же, и он пошел в зал.

Не успели отгреметь первые аплодисменты, как зрители были захвачены новой сценой: появилась дородная кулацкая супруга. Зрители вытянули шеи, открыли рты, замерли, поглощенные единой мыслью — откуда мы откопали такую бабищу. Ребята честно сохранили тайну исполнителя.

— Так то ж луконишская баба! — в простоте душевной выкрикнул кто-то. — То ж Авдотья!

— Я те покажу Авдотью! — грозно пробасил Луконин с другого конца палатки. — Со мной она рядом, разуй зенки...

— И нешто я такая? — взвизгнула Дуся, сидевшая рядом с мужем.

— Так а кто ж? — в мертвой тишине продолжал все тот же не в меру любопытный любитель театрального искусства.

— Свою-то бабу проверь... — ответил кто-то, и зал грохнул от надрывного хохота.

Но в следующее мгновение зрители были захвачены прямо-таки профессиональной игрой Коноваленко, и никому уже не приходило в голову спрашивать, кто такая на сцене.

## IX

В антракте, когда мы дали свет, в зале послышалась какая-то возня, задвигали скамейками. Я заглянул в прореху занавеса. Между рядами скамеек от двери кто-то силком вел Гриня, наряженного

в белый больничный халат поверх флотской шинели. Шляпка была нахлобучена на него задом наперед, во рту виднелась затычка из грязной тряпки или рукавицы, руки завернуты назад и связаны за спиной. Гринь вертел головой, видимо, хотел что-то сказать, уширался и, лишь подчиняясь сильным пинкам сзади, продвигался к сцене.

Я вышел в зал. Гриня вел Федор.

— Вот, чужих мороженных зайцев воровал,— сказал Федор и со всей силой ткнул Гриня кулаком в спину. Гринь утробно взвыл, крутнул плечами, халат на нем затрещал.

В палатке стало тихо, в задних рядах поднялись.

— В чем дело? — спросил я у парня. — Это вы его связали?

— Связал, чтоб не убег. Ползком крался к яме с зайцами, для маскировки халат на себя напялил. У-у, бандюга! — Федор опять дал изрядного тычка связанному Гриню. — Сами разберитесь, как он чужих зайцев задумал своровать...

Из дверцы, ведущей за кулисы, выскочил Данилов, переодетый во все сухое. Только жесткие вороненные волосы отблескивали влагой. Он молча подошел к товарищу и негромко сказал:

— Оставь, Федя...

Тот не ответил, даже не взглянул на Данилова, будто его и не было рядом.

— Оставь, Федя... — настойчиво повторил Данилов.

Федор, словно назло Данилову, опять ткнул Гриня в спину. Глаза якута блестели гневом. Резким движением он отбросил руку Федора и встал перед ним грудь с грудью. Сжатые губы Федора посерели, худощавые щеки, казалось, еще более ввалились, и он процедил сквозь зубы:

— Чего тебе надо?..

Мне показалось, что они сейчас сцепятся, я никогда не видел Данилова таким неуступчивым.

— Оставь, Федя... — негромко попросил Данилов. Голос его дрогнул, и глаза набухли слезами. Да, мало еще я знал людей, с которыми жил бок о бок! Я мягко отстранил его, шагнул к Федору.

— Ну-ка, развяжи! — сказал я.

— Сам развяжешь. Мое дело было словить.

Кирющенко подошел к нам, выдернул кляп изо рта Гриня.

— Чего ты, Гринь, опять натворил? — спросил он. — Расскажи народу, в чем дело.

— Паразит! — в сердцах воскликнул Гринь, освобожденный от кляпа, и рванулся к парню. — Ох же паразит!

Руки у него все еще были связаны. Федор не двинулся с места. Кто-то из первых рядов подскочил к Гриню и принялся освобождать его от пут. Обретя свободу, Гринь прохрипел: «Паразит!» и кинулся на обидчика. Я едва сумел ухватить полу больничного халата. Материя с треском разорвалась, и Гринь влепил «паразиту» затрещину.

В зал со сцены прыгнул Коноваленко. На нем все еще было пи-  
роченное платье и самодельный парик из пакли, какой конопатят  
срубы. Он сгреб Гриня, оттащил его в сторону и запихал в крохот-  
ную дверцу у сцены. Парик слетел с его головы. Баба с мужичьим  
лицом и всклокоченными волосами произвела неотразимое впечатле-  
ние, поднялся дикий хохот. Федор пошел было к выходу, но Коно-  
валенко схватил его за ворот телогрейки и повернул к себе. Тот не  
стал сопротивляться, спокойно остановился и своим холодным, цеп-  
ким взглядом смотрел в лицо старпома.

— Постой! — воскликнул Коноваленко в наступившей тишине. —  
Чего это ты затеял, зачем Гриня связал?

Среди зрителей поднялась Наталья, торопливо прошла между  
скамьями. Шубка ее была распахнута, волосок к волоску туго при-  
чесанные волосы отблескивали под яркой лампой, подвешенной по-  
среди палатки. Она подбежала к нам и всей тяжестью повисла на  
руке Коноваленко, сжимавшей ворот Федора.

— Господи, нечистая сила! — пробормотал Коноваленко.

— Опомнись, Петро, — сказал я, заставляя его опустить руку.

— Как ее к ночи повстречаешь, так до утра глаз не сомкнешь, —  
сказал он. — Сохрани меня бог!

— А все-таки объясни, в чем дело? — воскликнул я, подходя  
к Федору. — Ты делаешь, что хочешь... — Меня охватил гнев, Ната-  
лья из-за него ушла от нас и едва все не развалилось. — Странно, что  
происходит в поселке, понять ничего нельзя. Кто же тут все это?..  
Кто?..

В моем восклицании невольно прозвучал намек на происшествие  
в протоке, о чем я и не думал, и теперь вдруг понял, что превратно  
могут истолковать мои слова. От общего внимания и от того, что я так  
неосмотрительно сказал, мне стало неприятно и холодно на душе.

— Оставь Федора, — густым простуженным баском неожиданно  
сказал Коноваленко. — Ни в чем он не виноват. Гриня связал, так  
то мы промежь себя разберемся. — Он тоже понял, какой смысл мо-  
жет быть придан моим необдуманным словам, и защищал Федора.

— Чего ты меня взялся заслонять? — спросил Федор и, усме-  
хаясь бескровными губами, посмотрел на Коноваленко. — Ты себя  
обороняй, они и тебя подведут под монастырь, с тебя спрос больше,  
ты первый раненого нашел...

Холодок глубже и глубже проникал мне в сердце, зачем я произ-  
нес необдуманную фразу и вызвал эти слова Федора? Все опять  
поворачивается против Коноваленко, что за судьба у человека!..

Федор неожиданно шагнул ко мне и приблизился почти вплот-  
ную.

— Объяснить тебе требуется? Объясню...

У него было неподвижное лицо, глаза провалились и совершенно  
утратили свою синеву. На меня скорее даже не смотрели, а просто

были обращены в мою сторону темные, неподвижные, лишенные жизни провалы вместо глаз, как два высверленных в металле отверстия винтовочных стволов. Глухим, усталым голосом Федор заговорил:

— Послушай, как я тебе объясню... Он, — Федор повел головой в сторону стоявшего подле нас Данилова, — он пришел к людям, не захотел жить один в тайге. Все у нас делал, куда ни пошлют, за все брался. Боялся, что не осилит трудную работу, помнил, как едва с голодухи не помер, начал зайцев добывать петлями, про запас складывать в яму, мясо хотел есть, когда ослабнет, чтобы не прогнали, работу, какую дадут, справно сполнять. А этот бандюга начал Данилова выслеживать, словить захотел. Зачем? За что? Потешиться над ним скотел. Начитался разных шекспиров и давай в прятки играть...

— Правильно! — неожиданно воскликнул Кирющенко. — Хорошо ты проучил Гриня, завтра я с ним и сам поговорю. И Данилову поможем, Луконина попросим за ним присмотреть, помочь профессией рабочего овладеть, как было на пароходе.

— Присмотрю, будь надежен, Александр Семенович... — пробасил Луконин в притихшем зале.

Федор больше не сказал ни слова. Вместе с Натальей пошли они к выходу.

Коноваленко пробурчал у меня над ухом:

— Слушай, хватит антракту, иди выключай свет...

— Ну и театр! — усмехнулся Кирющенко.

— Сами бы тут с ними поработали! — в сердцах сказал я.

— Поменьше дерзи, — сказал Кирющенко без всякой обиды или раздражения в голосе. — Тебе дело говорят, гаси свет и открывай занавес. — Он пошел к своему месту, покачивая головой и усмехаясь.

Не дожидаясь тишины в зале, открыли занавес.

В это время за кулисами Гринь поднял низ матерчатой стенки и сделал попытку выскользнуть наружу. Я поймал его за полу шинели и втянул обратно.

— Кто же мог подумать... — бормотал Гринь. — Надо пойти похорошему с ними поговорить... Пусть врежет мне еще разок, может, ему полегчает. Что ты будешь делать!

Он нагнулся и опять полез под брезентовую стенку.

— Да вы, Гринь, в своем уме? — шепотом, чтобы не было слышно в зале, напустился я на него и бесцеремонно схватил за ногу. — Давайте обратно, некогда мне с вами нянчиться.

Гринь вяло подергал плененной ногой и ползком на одной ноге вернулся в палатку.

— А все ж таки паразит... — снова начал было Гринь.

— Хватит! — воскликнул я. — Трудно сказать, кто из вас двоих больший паразит. Если бы суфлер не пришел?



— Кто же знал, что он меня подкарауливает?

— Гринь, сейчас должна быть стрельба из орудий, — строго сказал я. — Это же ваше дело, идите за кулисы к фанерным листам и прилажьтесь пока не поздно.

— Канонада будет в лучшем виде, — воскликнул Гринь, вдохновляясь. — Народ, извиняюсь, перепугается, будьте уверены... — Уходя в темноту, он все-таки негромко пробормотал: — Паразит окаянный...

— Цыц! — прошипел я.

В середине второго действия хлопнула фанерная дверца, и голос Старикова в сумраке зала громко произнес:

— Сменная бригада Луконина — на выход, вода прибывает... Кирющенко прошу выйти ко мне.

Я, не мешкая, задернул занавес и дал свет в зал. Люди разом поднялись и двинулись к выходу. Среди наших актеров были рабочие из бригады Луконина, они спешно приводили себя в порядок.

В темноте над устьем протоки мерцало причудливо меняющееся зарево, там работали при свете костров. Я пошел к дому конторы, окна кабинета Кирющенко ярко светились. В небольшой комнатке набилось порядком народа, пришли из протоки в телогрейках, подпоясанных кушаками или ремнями, с раскрасневшимися после мороза лицами и сваливающимися от ушанок волосами. В дальнем углу сидел один из тех, кто прилетел вместе с ревизором, но самого ревизора не было. Стариков доложил, что положение становится угрожающим, вода в канаве медленно прибывает, может быть, придется взорвать лед ниже по течению, чего без нужды не хотелось бы делать, чтобы не потревожить «костров», на которых стоит баржа.

— Когда вы собрались рвать лед? — женственно-мягким голосом спросил тот, что прилетел с ревизором. Впервые я оглядел его внимательнее. Это был располневший, сравнительно молодой человек крупного роста, с широким лицом и намечавшейся спереди лысиной.

— Как только сильнее начнет прибывать вода, — сказал Стариков.

— Но все-таки когда?..

— Может быть, ночью, может быть, утром, — проговорил Стариков, пожав неестественно широкими в ватнике плечами. Ушанка лежала у него на коленях, жидковатые волосы прилипли ко лбу.

— Вам придется дать мне подписку, что баржа останется невредимой... — заговорил незнакомец. — Не только после взрыва, а вообще... Как вас утोरаздило оставить ее в плесе?

— А кто вы такой? — спросил Стариков.

— Следователь прокуратуры, — произнес своим мягким вкрадчивым голосом молодой человек. — Больше нет нужды скрывать мою должность, сегодня в вашем клубе я, кажется, нащупал ниточку... — Он окинул нас странным торжествующим взглядом.

Какое-то неуловимое движение возникло в комнате, и наступила необыкновенная, глухая тишина.

— Младший следователь, — холодно поправил его Кирющенко.  
— Разница небольшая, — молодой человек пожал рыхлыми плечами.

— Пожалуйста, я могу написать... — сказал Стариков и усмехнулся. — Подписка нисколько не поможет...

Молодой, располневший человек помолчал и сказал, роняя слова в тишину, как камни, без плеска опускающиеся в темную застоявшуюся воду:

— Я прибыл по другому делу, но и эта история с баржей достойна внимания прокуратуры...

Следователь хотел еще что-то сказать, Кирющенко перебил его:

— Стариков ни при чем. Как же он может давать подписки?

— Почему же, — сказал Стариков и опять пожал широкими плечами, — дам подписку или не дам, все равно баржу надо спасти. Без рейдовой баржи что мы будем делать? — Он оглядел всех, кто сидел в комнате, остановил свой взгляд на следователе и еще раз пожал плечами, видимо, удивляясь его непонятливости. — Дело совсем не в подписке...

— Пишите, — сказал следователь, — я продиктую...

— Ну зачем вы?.. — сказал Кирющенко, поворачиваясь к молодому человеку.

— Пожалуйста, диктуйте, — сказал Стариков и вытащил из кармана блокнот и остро отточенный с позолоченными буквами на черенке чертежный карандаш. — Поскорее, мне в протоку нужно.

## Х

Кирющенко настороженно, внимательно смотрел на Старикова. Следователь наморщил лоб у переносья и, опутив глаза, принялся диктовать:

— Я, начальник эксплуатации Индигирского пароходства Стариков В. И., беру на себя полную ответственность... — следователь помолчал и поправился: — Вытекающую из уголовного кодекса ответственность...

Стариков усердно писал в блокноте. Понимал ли он в этот момент, на какую опасность идет?

— Зачем ты берешь на себя то, в чем не виноват? — спросил Кирющенко. — Начальник пароходства того гляди приедет.

Находящийся здесь же на совещании Семенов закивал, подтверждая справедливость сказанного:

— Да, скоро будет в Дружине...

Вчера, едва появившись в затоне, Семенов первым делом рассказал, что начальник пароходства вернулся в Абый с полпути из-за пурги, так и не добравшись до Аркалы. Переживает в Абые плохую

погоду. Местные жители говорят, что все равно ничего не выйдет, на Аркалу в горы в это время года ехать на оленях и трудно, и опасно, по пути нет ягеля — оленьего корма, весь закрыт гололедом, а ездовых собак в Абые не держат.

Стариков продолжал писать, не отвечая Кирющенко. Следовательно продиктовал весь текст, встал и подошел к нему, заглядывая в блокнот и ожидая, когда он кончит писать. Стариков дописал, вырвал из блокнота листок и протянул следователю.

— Вы забыли расписаться,— едва приметно усмехаясь, сказал тот.

Стариков взял обратно блокнотный лист, старательно выводя буквы, расписался и вернул следователю. Потом посмотрел на Кирющенко.

— Надо в протоку, Александр Семенович...

— Иди, Василий Иванович, забирай кого надо.— И неожиданно решительно: — Не дадим мы тебя в обиду. Не дадим!

Стариков вышел.

Из-за спин людей в углу комнаты поднялся Семен Рябов, оперся рукой о спинку стула, точно собирался что-то сказать. Постоял так, ни на кого не глядя, и стал протискиваться между стульев к следователю.

— Покажите,— сказал он совсем негромко.

— Что показать? — следователь с недоумением посмотрел на него снизу вверх.

— Подписку Старикова.

Следователь пожал округлыми плечами и протянул блокнотный листок, говоря:

— Здесь все в порядке.

Рябов взял листок и, не читая, порвал, скомкал обрывки, хотел бросить на пол, но помедлил и сунул их в карман.

— Вы оплатитесь за это! — вскипел следователь.

Он окинул всех нас быстрым злым взглядом и почти выбежал прочь.

— Что ты делаешь? — вскипел и Кирющенко.— Надо было по-другому...

— Есть минуты,— сказал Семен,— когда нельзя по-другому.

— Вам придется отвечать перед коммунистами,— жестковато сказал Кирющенко и, помедлив, добавил: — Иначе он затеет дело.

— Пусть лучше против меня, чем против Василия Ивановича,— сказал Рябов.— Правильно, согласен, меня надо привлечь к партийной ответственности за хулиганство... все равно, затеет он дело или нет... Но иначе поступить я не мог.

— Ну, не сейчас же обсуждать... — оборвал его Кирющенко.— Можете быть свободны,— сказал он, обращаясь к сидящим в ком-

нате, — до особых распоряжений Старикова. Прошу остаться членов партбюро и секретаря комсомола.

Загремели стулья, в молчании стали расходиться. Среди беспорядочно раздвинутых стульев осталось лишь несколько человек. Мне стало не по себе, уж очень мало нас было.

Кирющенко молча сидел за своим столом, осунувшийся, посеревший, с горькой складкой меж светлых бровей. Странно было видеть его в состоянии душевной опустошенности. Он поднял голову и, взглянув на нас, сказал:

— Пойду за ним, он у меня живет. Скажу, что приглашаем на заседание партбюро... Надо сразу... Не дать ему возможности принять другие меры, начать дело.

Кирющенко посидел, опустил голову, видно трудно ему было идти уговаривать мальчишку-следователя. Стал медленно подниматься, одернул темный китель.

Семен повернулся ко мне и как-то неловко, смущенно улыбаясь, стыдась, что из-за него столько неприятностей, сказал:

— Сходи, будь другом... Такое дело, понимаешь... Тебе лучше, чего же Кирющенко срамиться перед этим...

Я поднялся, хотел было натянуть ушанку и идти.

— Пойжди, — сказал Кирющенко, — мне самому надо, у тебя уровень не тот, откажется.

Он медленно, долго не попадая в рукава, надел летнюю куртку и пошел к двери. Плечи его обмякли, шел он, натываясь на стулья, и, выходя в коридор, оставил дверь приоткрытой. Холодный воздух потянул в комнату, я встал, осторожно, почему-то стараясь не шуметь, плотно закрыл дверь. Никогда прежде не мог бы я предположить, что спокойный, рассудительный Рябов способен на столь отчаянный поступок. Всегда казался он мне «сухарем», лишенным глубоких чувств, до скупности «правильным».

Мы сидели потупившись, храня молчание, и ждали возвращения Кирющенко. Рябов наклонился, уперся в колени локтями и запустил пятерни в свои длинные, прямые, свесившиеся на высокий лоб волосы.

— Как хотите, извиняться не стану... — сказал он и выпрямился.

— А кто с тебя требует?.. — сказал усатый механик Жданов. — А впасть придется... Для твоей же пользы.

Хлопнула входная дверь, вошел Кирющенко в сопровождении следователя. Кирющенко разделся и торжественно отправился за своей «саркофаг». Следователь только снял ушанку и присел на стул у двери, точно заглянул на минутку. Рябов опять наклонился и запустил пальцы в волосы.

— Дайте мне сказать, — начал Жданов. — Редактор он, конечно, сами знаете... Однако надо уважение иметь... что, если мы так начнем бумажки, какие нам не правятся, уничтожать? Анархия! К при-

меру, в прошлую навигацию мне Василий Иванович выговор впаял за неисправность в машине и ту самую бумажку вывесил на стенке надстройки у капитанской каюты. Я ходил вокруг, была, конечно, соблазна, но устоял против себя... Я его, конечно, уважаю, — Жданов кивнул на согбенную круглую спину Рябова, — за смелость я его уважаю. Уважаю, а впаять придется. Для его же пользы. — Жданов огладил усы, потоптался около своего стула, хотел было сказать еще что-то длинное, забрал в легкие воздух, но только со значением произнес: — Вот так... — И опустился на место.

Кирющенко говорил долго, перечислял какие-то промахи Рябова, о которых я и не подозревал, ругал якобы нестерпимый его характер, упрямство, самомнение. Я в простоте душевной ждал, что и строгого выговора Кирющенко будет мало. А кончил он неожиданно:

— Думаю, что товарищ Рябов правильно поймет критику коммунистов и сделает для себя выводы из обсуждения его безответственного поступка. Предлагаю ограничиться внушением.

— Правильно! — согласился Жданов.

Мы проголосовали и вздохнули с облегчением. Украдкой посматривали на следователя.

Тот встал, сохраняя собственное достоинство, милостиво сказал:

— Либеральное наказание, но все-таки наказание. Пусть он вернет мне хотя бы обрывки документа.

Такого поворота событий никто не ждал. Кирющенко тоже встал и вопросительно смотрел на Рябова. Тот поднялся, пожал плечами и пробормотал:

— Но... у меня... их нет.

— Куда же вы их дели? — спросил следователь.

— Съел, — совершенно спокойно сказал Рябов, — половину...

— То есть как?.. — изумился молодой человек. Гневный румянец стал заливать его располневшее лицо. — Вы издеваетесь надо мной!

Кирющенко, не менее изумленный, чем следователь, спросил:

— Как это съел?

Рябов все стоял и пожимал плечами.

— Да так, жевал, жевал и проглотил.

Кирющенко помолчал, потом строго сказал:

— Идите отдыхать. Положение критическое, в любой момент могут поднять на аврал.

Пришел я в свою палатку, разделся, от усталости не растопив печку, потеснил Пургу, залез под холодные простыни и одеяло. И, кажется, едва погрузившись в сон, проснулся от глухих взрывов. Быстро оделся и выскочил из палатки. У самого горизонта среди смерзшихся деревьев едва зацветала лиловая полоска зари. По улочке бежали люди с ломами, лопатами, кольями. Никаких сигналов не было, кроме звуков взрывов. Спешили на помощь, подчиняясь общему чувству тревоги.



На сумеречно-синих заледеневших просторах Индигирки около устья протоки все время тянул обжигающий ветерок. Рабочие с обындевевшими шарфами, закрывавшими лица почти до глаз, кололи ломами лед, расширяли канаву, по которой, свиваясь тугими жгутами, мчался зеленовато-мутный поток. Здесь же я столкнулся с Кирющенко. Он был в телогрейке, с ломом в руках.

— Ищи Луконина,— сказал он,— люди ему нужны, домкраты ставить, спасать баржу...

В ледяной чаше, под днищем баржи, стоявшей на городках, растеклась маслянисто-черная, неподвижная, зловещая своим спокойствием вода. Луконин распоряжался установкой множества приземистых колонок ручных домкратов вдоль бортов баржи. На меня он не обратил ни малейшего внимания. Телогрейки на нем не было, исподняя белая рубаша выбилась из-под ватных брюк, шапка сидела на голове боком. Выскочил из дома в чем был. Парок тянулся от его широкой спины, слабо розовея на разгоравшейся заре. Он метался от одного к другому, поправляя колонки домкратов, переставляя их туда, где они прочнее встанут.

— Петро,— крикнул он на ходу Коноваленко,— подь на тот борт, глянь, как ставят...

Старпом бросился было обегать баржу и вдруг, вобрав голову в широкие плечи, нагнувшись, сунулся в темную щель. Там шумно заплескалась вода. Я заглянул под баржу. Коноваленко выбирался по другую сторону чаши на ледяной ее борт, с его валенок и штанов стекали струйки воды. Он забегал там вдоль борта, переставляя колонки домкратов под те места, где было надежнее, как это делал Луконин по нашу сторону баржи. Коноваленко руководил подъемом судов в протоке и прекрасно знал, что надо делать. Я стал помогать какому-то рабочему выдергивать бревешко из-под пятки домкрата, чтобы перетянуть механизм метра на два вдоль борта. Потом мы начали налегать на рычаг согласно со всеми — поднимать баржу, облегчая тем самым давление ее днища на городки. Слышно было, как по другому борту командовал Коноваленко. Нам не было заметно, поднимается ли баржа или по-прежнему всей своей тяжестью давит на городки. Изредка только натужно поскрипывал привальный брус, в который были уперты домкраты.

## XI

С каждым движением рычага легонько поскрипывал привальный брус. Слухом своим, руками, всем напрягшимся телом я ощутил громадную тяжесть баржи, повисшей на домкратах. «Костры» под ее днищем, видимо, сдвинулись с места на подтаявшем от воды льду и рассыпались.

— Чуток, еще чуток...— покрикивал Луконин, показывая рукой вверх.— Не рви, робя, полегоньку, поскладнее, гуртом!..

Я нажимал на рычаг, пот стекал из-под шапки, вытирать его со лба и щек было некогда, руки немели, но и отдыхать было нельзя.

Гринь на саях подвозил короткие бревешки. Вскоре около баржи выросла куча городков.

С другого борта, расплескивая воду, кто-то спустился под баржу. Из-под днища к нам высунулся Данилов с мертвенно посеревшим лицом, губы синели от холода или волнения.

— Давай! — сказал он Луконину, указывая на городки. И тут же неуверенно спросил: — Ладна?

— Клади колодцы,— сказал Луконин и, широко расставив ноги, с размаху нагнувшись, схватил и подал ему городок. Женщины стали подкидывать городки Луконину, тот, не мешкая, совал их под баржу. К борту подсела Наталья, дождалась, когда Данилов выглянул наружу.

— Вылезьте с Федей...— сказала она, сложив руки ладошка к ладошке и уткнув их в подбородок.— Вылезьте оба, Коля... Женщины говорят, упадет баржа...

— Нельзя, Наталья,— спокойно, ласково ответил Данилов.— «Костры» нада выкладывать... Ладна, Наталья?

Луконин стоял, нагнувшись, с бревном в руках и, как ни странно, не прерывал их разговора, мешавшего работать и ему, и Данилову. Наталья уткнулась лицом в припухшие, надсадно красные от мороза маленькие свои ладони и замерла.

— Остерегись,— сказал Луконин и легонько отодвинул ее плечом.

Она вскочила и кинулась к бревешкам. Выхватила из груды за один конец тяжелый городок и поволокла его по снегу к борту, сама подала Данилову.

— Уйди, Наташа,— негромко сказал Луконин,— не бабье дело. Баржа осадку даст, придавит.

— Давай городки,— крикнул Данилов из-под баржи.

Луконин тоже полез под днище, и Наталья подала ему свой городок.

— На домкратах стой! — слышался из-под баржи глуховатый возглас Луконина.

— Стоим!.. Стоим!.. Будь надежен!..— раздались дружные возгласы.

— Стоим!..— безотчетно, с опозданием крикнул и я.

Под баржу полезло еще несколько человек, работа пошла бойчее.

Я заглянул под баржу. Воды поубавилось, обнажился грязный поздраватый лед, лишь в промоинах вода еще плескалась под ногами переползающих с городками в руках рабочих. Видно, взрывами проббили широкий сток и вода уходила в Индигирку, не успевая скапливаться в ледяной чаше, где стояла баржа. Городки почти все уже

были спущены под ее днище, лишь несколько бревешек валялось у борта. Вылез Луконин, отстранил протянутый ему кем-то городок. Вслед за ним выкарабкались наружу и остальные, и среди них Семенов, Данилов и Федор.

Домкраты убрали. Буднично, неторопливо, словно ничего особенного и не было, разошлись по домам, кто переодеться, кто поесть — выскочили в протоку голодными. В этот же день, просушив одежду в моей полотняной комнатке, Семенов уехал в Абый. Он получил сведения об эпидемии гриппа, его присутствие в райкоме было совершенно необходимым. Так ему и не удалось поговорить с Даниловым.

Я все не мог успокоиться после аврала. На следующий день опять спустился в протоку, прошагал к ее устью, заглянул под баржу. Ледяная чаша была совершенно сухой, замороженной, нижние бревешки «костров», выложенных под всем днищем, впаялись в лед намертво. Наледная вода исчезла так же внезапно, как и появилась.

Уже несколько дней никак у меня не получалась подборка из заметок рабочих о социалистическом соревновании, которую надо было организовать по заданию редактора. Не мог я найти какой-то главной мысли, которой были бы подчинены все заметки подборки. История с наледью сначала показалась мне вполне достойным сюжетом, и я не раз ходил на Индигирку, следил за тем, как расширяют канаву, и, взяв лом, сам помогал рабочим. Но после того как отстояли баржу, я понял, что это будут лишь рассказы о происшествии, об аварийной ситуации — и не больше. Событие яркое, впечатляющее, как сказал бы Рябов, но где же та будничная, внешне мало приметная работа, которой каждодневно живем все мы и в которой и надо искать социалистическое начало соревнования?

Разыскал в протоке Луконина. Вместе с ним работал Данилов, боцман возобновил свое шефство. Они подгоняли по месту на стальной стотонной барже новый привальный брус. Кажется, и не вспоминали об опасности, которой вчера оба подвергались, неторопливо переговаривались, как сподручнее взяться за тяжелый брус, где подтесать, в какое место ударить, чтобы вернее осадить. Присматриваясь к их ладной работе, я дождался перекура. Когда присели они рядом на желтоватое листовничное бревно, спросил у Луконина:

— Страшно было вчера под баржей?

— Как тако страшно? — не понял Луконин.

— Придавить могло... Осторожно надо было, не всем сразу лезть, — заметил я, надеясь разговорить Луконина, выяснить, как он относится к мужеству своих товарищей.

Луконин молча потягивал «козью ножку», шурился от едкого дымка. Отвел сигарку в сторону, глянул на меня спокойным-спокойным взглядом.

— Как тако осторожнее? — спросил он, видимо, не поняв меня. — Из-под груза никогда не уходи. Само опасно дело упустить груз — вот-то и придавит.

— Но как же так можно? А если бы сорвалась баржа и всех сразу?..

— А куда ей деться? Всем же миром, никуда она не денется, — терпеливо, словно объясняя ребенку простые вещи, сказал Луконин. И безразличным тоном продолжал: — Без пароходов и барж нам здесь грош цена. Вишь, кормят нас баржи и пароходы...

— А Федор полез тоже потому, что пароходы и баржи кормят?

Луконин смущенно осадил шапку на затылок, открывая в толстых морщинах лоб, пожал плечами.

— Парень отчаянный, завсегда лезет... — проговорил Луконин. — Этого не отнимешь.

— Какая же разница между тобой и Федором? — придирчиво спросил я.

— Вишь ты, он больше из озорства, для насмешки. Так и голову зазря можно сложить...

— А ты?

Луконин посмотрел на меня с хмурым прищуром, теряя терпение, сказал:

— Ты что же, всамделе не понимаешь? Пароходы и баржи нам даны, можно сказать, на поруки. Без них в тайге пропадешь, жрать неча будет, мало того тебе и мне — всем в округе. Какие мы в тайгу грузы волоком, видал? Все тут встанет без пароходов. Не умею я тебе объяснить, — мягко сказал он. — Поживешь с нами, сам поймешь.

— А успеем до воды отремонтировать суда? — спросил я.

— Управимся, — спокойно сказал Луконин. — Когда своими руками, время-то не упустить. Это со стороны глядеть — сомнение берет, а когда сам делаешь, надежности поболее...

Любил я его неторопливую обстоятельную речь и в своих интервью для «Индигирского водника» старался передать ее, да не всегда удавалось уследить за словами, интонацией голоса, спокойными жестами.

— Возьми, к примеру, бревно мы ладим под привальный брус, — продолжал Луконин. — Его в самый раз надо по обводам подогнать, а иначе какой привальный брус, так, видимость одна. Где навалит баржу скулой, так и промнет стальную обшивку. Хошь не хошь — выгадывай, как сподручнее, чтобы время не упустить. Когда спозаранку утречко прихватишь, когда по вечернему сумраку топориком намахаешься. Зори-то длинные зачались, свету прибавилось, того гляди, солнышко пожалует... Управимся, будь надежен!

— Может, ты для газеты заметку напишешь? — спросил я.

— Это какую такую заметку? — удивился Луконин, хотя прекрас-

но понимал, о чем идет речь и чего мне от него нужно. Не раз мы с ним на эту тему объяснялись.

— Ну вот расскажешь, как работа идет, напишешь, что вы с Даниловым к сроку сделаете... А может, даже и пораньше срока, соревнование же...

Луконин затынулся в последний раз, отбросил остаток «козьей ножки», надел рукавицы, взялся за отполированное топориче вогнанного в бревно топорика.

— Давай, Коль...— сказал он,— перекурили, душу, можно сказать, отвели...

— А заметка как же? — стараясь сдержать раздражение, спросил я.

— Уладим привальный брус, вот те и будет «заметка»,— невозмутимо сказал Луконин.

— Так я возьму и все сам напишу, как мы тут с тобой говорили...

— Напиши,— спокойно согласился Луконин.

Прибежал я в редакцию после «интервью» с Лукониным и записал беседу с ним, наметил, с кем еще надо поговорить, от кого взять заметки. Шутка сказать, привальный брус уладить! Слова будничные, а дело нелегкое, привальный брус надо из цельного бревна вырубить, дугу по обводу борта вывести, до воды успеть, потому что пароходы кормят целый край... Для того мы и трудимся, для того баржу спасли, потому и привальный брус надо уладить. Да, прав Рябов, человек проверяется тем, во имя чего живет. Другой меры для человеческой души нет.

## XII

В тот день, когда подборка о соревновании оттискивалась на «американке» в пюпитрах экземплярах нашим Иваном, и душа моя по этому случаю была полна радости, мне повстречался Коноваленко в сопровождении милиционера. Все вокруг на улочке поселка разом для меня померкло. И тут я вспомнил замечание следователя на совещании о «ниточке», которую он нащупал. И не я ли сам, не сознавая того, своими необдуманными словами вечером в клубе помог ему схватиться за эту «ниточку»? Старпом шел неторопливой походкой усталого человека, закинув руки за спину. Милиционер, в котором я узнал второго прилетевшего вместе с ревизором человека, шагал позади в форменной шинели, прежде скрытой под кухлянкой, в ушанке и валенках, с бравой солдатской выправкой. Коноваленко прошел мимо, даже не посмотрев на меня. Взгляд его глаз, подернутых влагой, был устремлен куда-то далеко-далеко. Лицо было неподвижным, постаревшим, совсем чужим. Я спросил милиционера, куда он ведет арестованного.



— На допрос,— коротко бросил тот, и они прошли мимо, направляясь в контору.

Я двинулся вслед за ними. Милиционер оглянулся на меня, но ничего не сказал. Оба они скрылись в кабинете начальника пароходства, как я понял, резиденции следователя. А я отправился напрямик к начальнику политотдела. Кирющенко объяснил мне, что распоряжением следователя старпом взят под стражу на время следствия.

— Можешь успокоиться, расправы мы не допустим,— сказал Кирющенко.

— Зачем же под стражу? А если невиновен?

Кирющенко пожал плечами, ничего не сказал. Постоял у своего стола, потом повернулся ко мне, произнес с усмешкой:

— Куда тут убежишь? — Помолчал и заговорил: — Да и не станет он бежать, лучше мы теперь узнали Коноваленко, правды будет добиваться, а бежать не станет. Не виноват он в преступлении. Ну, распустил себя, и мы ему вовремя не помогли — все это так, а на поножовщину никогда не пойдет. Да и пьяным я его последнее время не видел... Следователь молодой, наломал дров. Запасись терпением, скоро придет тот, по особо важным делам, я его знаю, человек справедливый, разберется. — Кирющенко строго взглянул на меня и добавил: — Иди спокойно работай!

Арест Коноваленко и последующие допросы многих затонцев создавали в поселке тягостную, тревожную атмосферу. Лишь трудная работа по ремонту судов развеивала мрачное настроение людей.

В это время вернулся Васильев. Вместе с ним из Абыя приехал невысокий, худощавый якут с живыми, веселыми глазами, оказавшийся тем самым следователем, которого ждал Кирющенко. Они привезли тяжелую весть: в районе началась эпидемия гриппа, местное население, совершенно лишенное иммунитета, поголовно лежало с высокой температурой, дрова и воду развозили по юртам работники райкома и райисполкома, в недавнем прошлом жители Якутска, не раз болевшие гриппом. Было уже несколько смертельных исходов.

Все это мы узнали, собравшись в кабинете Кирющенко и слушая приезжих. Эпидемия, казалось, гораздо больше волновала следователя, чем дело, по которому он приехал к нам. Он сокрушенно покачивал головой и то и дело повторял:

— Молодые люди силы потеряли, а старики совсем без движения... Что ты будешь делать!

— Завтра направлю всех возчиков с лошадьми в район,— решительно сказал Васильев,— сами как-нибудь обойдемся. Бедствие, понимаете, бедствие народное... — Он почему-то посмотрел на меня. — Все вповалку, как от чумы.

— Вот еще геологов не мешало бы проверить,— озабоченно сказал Кирющенко,— в глуши, связи нет, радиостанция им по штату не положена, неровен час и до них дойдет эта зараза.

— Поехал бы,— опуская глаза, с какою-то натугой произнес Васильев,— на погоду не посмотрел бы, так ведь дошли слухи до Абья, что я без вины виноватый... Пришлось вернуться.

— Вот бы когда в самый раз была твоя поездка,— сказал Кирющенко, словно и не слышал слов Васильева, и в упор посмотрел на него.

Тот, насупив брови и глядя в пол, молчал. Что-то, видимо, более серьезное, чем беспокойство за судьбу геологов, тревожило его. И я молчал, мог ли я теперь уехать из Дружины, не дождавшись, чем кончится дело с обвинением Коноваленко? А если понадобится и моя помощь, и мое вмешательство? Ну как тут уедешь! И я молчал, боясь напомнить о давнишнем своем желании съездить к геологам.

Сразу после окончания беседы с приезжими, я проскользнул в дверь кабинета начальника пароходства за вошедшим туда следователем по особо важным делам и попросил выслушать меня.

— Вы хотите дать показания? — спросил следователь и после моего утвердительного ответа пододвинул к себе лист бумаги и взял ручку с васьильевского чернильного прибора. Времени он не терял. Едва я начал свою речь в защиту Коноваленко, следователь засмеялся и отложил в сторону ручку.

— Не надо волноваться понапрасну,— сказал он,— для следствия имеют значение факты, которыми, как я вижу, вы не располагаете. У нас нет оснований для обвинения Коноваленко, только что я дал распоряжение освободить его из-под стражи.

Я расхрабрился и спросил, кто, по мнению следователя, ранил Андрея, и тотчас спохватился: что он мог сказать сейчас? Лицо моего собеседника утеряло выражение добродушия, стало официально-недоступным.

— Пока следствие не может ответить на этот вопрос,— сказал он сухо.

В комнату заглянул ревизор в своих очках с веревочкой вместо дужки и грудой сброшюрованных бухгалтерских документов под мышкой. Следователь разрешающе кивнул. Ревизор впереvalочку подошел, сложил на угол стола груду папок, вытащил платок, неторопливо протер стекла очков. А мы о нем совсем позабыли...

Коноваленко я увидел не сразу после освобождения. В тот день, когда его освободили, и на следующий, и еще на следующий, идти к нему мне почему-то не хотелось, я хорошо помнил его взгляд мимо меня, когда он под конвоем милиционера повстречался мне в поселке, неизвестно еще, как он примет мое появление. Но спустя

несколько дней, шагая по улочке, я заметил, как он скрылся в палатке-клубе. Странно мне это показалось; что ему делать во время рабочего дня в холодной, полутемной палатке? Колебался я, стоя посреди улочки,— идти вслед за ним или не ходить? Пошел.

Коноваленко стоял посреди зала и смотрел на сцену. Света из крохотных оконек не хватало, сцена была темной, неприятной. Он обернулся на звук шагов.

— Здравствуй, Петро...— несмело сказал я. Почему-то мне стало неловко, я опустил глаза.

— Здравствуйте,— отчетливо, холодно ответил он и, обойдя меня, вышел из палатки.

Зачем он приходил и отчего так сдержан? Я стоял посреди палатки, пытаясь представить себе чувства, владевшие Коноваленко. Поднялся на сцену, машинально снял рукавицу и дотронулся до полотнища кулис из синей диагонали. Материя обожгла холодом, точно жестяной лист, выставленный на мороз. Я потер ознобленные кончики пальцев, восстанавливая кровообращение, заглянул в темень за кулисами, вспомнил, как ловил здесь Гриня, пытавшегося подлезть под матерчатую стенку. Казалось, как давно все это было, наша привычная жизнь нарушена, наверное, навсегда... Легонько скрипнула фанерная дверца, еще кто-то вошел в палатку. Я выглянул в зал, у двери стоял необычайно нарядный Васильев в зимнем пальто с отблескивающим черным под котик воротником, в кожаных перчатках вместо рукавиц.

— Увидел вас и решил заглянуть...— словно оправдываясь, сказал Васильев и пошел мне навстречу.

Постояли мы друг перед другом и, не говоря ни слова, оба присели на скамью.

— К геологам поедете,— сказал он без всякого предисловия.— Я так до них и не добрался...— Он покачал головой и с горечью усмехнулся.— Пришел ваш черед. Сказал Кирющенко, что вас надо направить, а он сомневается — доберетесь ли.— Васильев пристально смотрел на меня, словно прикидывая, доберусь я или не доберусь.— Доберетесь! — решительно, с хрипотцой, что всегда придавало уверенности и энергичности его речи, сказал он.— Не понимаю, почему вы молчали, когда мы об этом говорили у Кирющенко? Сразу бы и решили. Я не могу ехать, ревизор слишком много накопал. Откровенно скажу, не ожидал. Придется первым самолетом в Главное управление, не знаю, как удастся отбрезхаться. В свой карман ничего не клал, а за халатность могут...— Васильев крутнул головой: — Эх, боюсь, тоска возьмет по тайге, жизнь не в жизнь будет.— Он с энергией воскликнул: — Все равно выкарабкаюсь! Или опять на Север, или в армию. Сегодня тассовскую сводку с полярной станции получил, что во Франции фашисты вытворяют! Не-ет, в спокойном месте, да еще в такое время не усужу, будьте уверены. Научат меня

уму-разуму и опять — на полную железку, только уж считать государственные деньги буду как следует, зарок себе дал.

Васильев в раздумье, покачивая головой, уставился себе под ноги. Когда-то я спрашивал себя: почему он стремится помочь мне, хочет ли привлечь на свою сторону, заполучить союзника в том скрытом проединке, который все время шел у них с Кирющенко, или от душевной широты! Но я уж ничем не помогу,— значит, не из корыстных целей. Легче стало на душе. Не каждый смог бы в момент душевной катастрофы, признав себя побежденным, не пасть духом. Он смог.

— Нельзя мне уезжать, пока у нас все не наладится,— сказал я, решив быть откровенным.— Коноваленко подозревали, мало ли что еще дальше будет. Хочу, чтобы все прояснилось, чтобы мы относились друг к другу как прежде... Коноваленко сейчас со мной как с чужим... Нет, я не поеду.

— Как знаете,— сказал Васильев и встал.— Я бы на вашем месте не стал возражать. В одном случае личные отношения, в другом, кто знает, может, человеческая жизнь, болезнь пощады не дает.

— Это не личное...— я тоже встал.

Васильев покачал головой.

— Коноваленко я лучше знаю,— сказал он и усмехнулся,— зря вы о нем так печетесь, няньки ему не нужны. Жизнь штука грубая, жестокая, и вы ее уговорами и соболезнаваниями не повернете, по себе знаю. Когда пошло молотить — держись, подставляй разные бока, чтобы не по одному месту, и держись. Послушайтесь моего совета: Кирющенко скажет ехать — езжайте. Я его не люблю — да вы знаете,— но должен сказать, по пустякам он возни не затеет.— Васильев помолчал, как-то несмело, неожиданно смущенно взглянул на меня и сказал: — Пароходство сдал Старикову, первым самолетом с ревизором полетим. Был хозяином, стал гостем, без дела, вот и нарядился... Непривычно как-то...

— Может, еще обойдется...— сказал я и, почему-то испытывая неловкость, отвел глаза в сторону.

Васильев рассмеялся, будто я сказал неумную шутку.

— Нет, не обойдется. По новым временам не обойдется. Знаете, что страшно? Как бы от настоящего дела не отстранили. С малолетства тружусь, на Алтае пошел с отцом на охоту, когда еще двенадцати не было. Избы помогал рубить, лес с ним валил, сплавом занимались. Приохотил он меня к спокойной работе, так потом и пошло. В Одессе мореходку окончил, в Арктику потянуло, потом сюда бросили реку обживать. Чего тут только не было по первости, случаем чуть голову не сложил. С меня, знаете, как спрашивали? Сделал — ну и хорошо, а чего это стоило государству, какой ценой — никого не интересовало. Специалистов настоящих не было, а дела — невпроворот. Ну вот и зарвался, не учел, что время на месте

не стоит... Эх, пожучили бы, а потом на самое, какое есть трудное, самое рассумаспешнее дело бросили. Чую, и нам придется горюшка хватить от фашистской чумы, тут уж не до легкой жизни...

### ХІІІ

Васильев и ревизор улетали через день, спетрейсом.

Рано утром я отправился на Индигирку, на наш аэродром. К самолету пришел еще Стариков. Он крепко пожал руку ревизору, кивком головы молча распрощался с младшим следователем, тоже покидавшим затон. Ревизор и следователь скрылись в самолете. Стариков подошел к Васильеву и обеими руками, смущенно улыбаясь, сжал его руку, сказал, что судоремонт будет закончен в срок, пусть Васильев не беспокоится.

— Хороший ты человек, Василий Иванович, — сказал тот, — но не для меня твои слова, сам остаешься хозяином...

— Вы затон создавали, — сказал Стариков, — вас должно беспокоить, что тут дальше будет.

— Спасибо тебе за человеческое отношение, — сказал Васильев и неуклюже — кухлянка стесняла движения — обнял Старикова. Они расцеловались.

— Бывайте, — сказал Васильев и протянул мне руку. Я сжал ее, ничего от волнения не сказал и прикрыл щеку рукавицей, заслоняясь от ветра, дувшего сверху по широкой замерзшей реке.

В поселок со Стариковым возвращались молча, не глядя друг на друга. У самой конторы Стариков сказал, что меня разыскивает Кирющенко.

Едва я появился на пороге, Кирющенко живо воскликнул:

— Слушай, журналист, надо съездить к геологам, посмотреть, все ли там благополучно. Отвезти лекарства. Если много больных, направим врачей. А пока их отрывать нельзя, придется тебе первую разведку провести.

Я молчал, все еще под впечатлением проводов Васильева. Кирющенко искоса глянул на меня, сказал, что почти все затонские лошади ушли в Абый в распоряжение местных властей, поехали многие работники парохозяйства. Выходило так, что, кроме меня, на Аркалу послать некого.

— А ехать на чем? — спросил я, в душе благодаря Васильева за то, что он помог мне настроиться на деловой лад и не отказываться от поездки к геологам. — Триста километров в один конец, целая экспедиция.

— Н-да!.. — протянул Кирющенко. — Вижу, серьезно относишься к делу. Целая экспедиция, это верно, а все-таки съездить придется. Кому, как не тебе, ты даже лыжи свои привез...



Не думал я, что Кирющенко способен прибегнуть к лести даже в этих исключительных обстоятельствах.

— Лыжи тут ни при чем,— сказал я угрюмо, проводы Васильева не давали мне покоя.

Кирющенко посмотрел на меня долгим взглядом и не предполагал, наверное, столь прохладного отношения к поездке на Аркалу.

— Посоветуйся с Гринем,— сказал он,— оставшиеся лошади в его распоряжении. Не забудь к врачам сходить, получить инвентарь.

— А вам не жалко, что Васильев уехал? — спросил я, облегчая душу.

Кирющенко свел белесые брови, чуть-чуть выпятил губы и молча смотрел на меня, никак не ждал такого вопроса.

— Что это вы оба — и ты, и Рябов — взялись жалеть Васильева? — спросил Кирющенко.

Мне Рябов ничего такого не говорил, я и не знал, что он жалел Васильева.

— Пришел прямо с аэродрома, Рябова там не было... — сказал я, пытаюсь объяснить, что мы с ним не сговаривались. — Я ничего не знаю.

Кирющенко потупился и как-то неуверенно сказал:

— Что же теперь жалеть?.. После драки... — он посмотрел на меня, и мне показалось, что ему все же не по себе. Не все ладно в душе Кирющенко.

— Почему вы его не проводили? — спросил я.

— Не любит меня Васильев,— помолчав, сказал Кирющенко. — Ты же знаешь.

— А может, душевнее надо было с ним?.. — робко заметил я, имея в виду не проводы, а все, что было до его отлета.

— С Васильевым душевнее? — Кирющенко усмехнулся. — Душевностью его совсем под расстрел... Сейчас еще спасти можно, человек-то он честный... по-своему. А в общем, ты прав, много на себя беру, слишком много для одного человека. Людей не умею поднять, воспитать. Сорвусь когда-нибудь... Ну, а как не брать на себя? Нельзя не брать. Строить стране надо, пока дают время. Немцы в Европе хозяйничают, а кто скажет, что потом? Не хочется каркать, а иной раз спросишь себя: а ну как на нас повернут?.. Давай за дело приниматься, нету у нас с тобой времени на переживания. Пойди сам договорись с Рябовым, на сколько дней он тебя отпустит. Сторонится меня, то ли из-за Васильева, то ли забыть не может, как я его честил перед следователем. А что было делать? Душевность не всегда помогает. В больницу загляни, как бы доктор в Абый не уехал помогать районному врачу... Да, на переживания у нас времени нету... — со значением сказал Кирющенко.

Я ушел от него еще более растревоженный. Было ясно, что после

ревизии Васильев не мог не сдать пароходство, должен был уехать, и все-таки почему-то его отъезд разводновал нас, наверное, каждого по-своему. Кирющенко храбрится, не хочет показать каких-то сомнений, но они поселились в его душе, не дают ему покоя. Может быть, он винит себя в том, что не понимал Васильева так, как должен был бы понять, не увидал за его порывистостью и необдуманными поступками чего-то важного для нас всех: смелости, стремления жить «на полную железку», как говорили у нас механики, имея в виду последнюю зарубку на регуляторе подачи пара в машину — «самый полный», и еще чего-то... А теперь Кирющенко винит себя в том, что не сумел понять и поправить Васильева, винит и не знает, как бы он должен был поступать. А кто это знает?..

Но, может быть, я все это придумал и Кирющенко ни в чем не винит себя?

От горьких размышлений я освободился у самой больницы.

Доктора я и в самом деле уже не застал. Встретила меня Наталья. Сидела она на высоком табурете в комнатке аптеки перед небольшими лабораторными весами, готовила какие-то лекарства. Я не видел ее давно, меня поразило ее осунувшееся лицо, какой-то неподвижный, безразличный взгляд. Медленными движениями она брала разновески, опускала их на роговую чашку весов и так же медленно сыпала из банки на другую чашку белый, похожий на пудру порошок. Опять, наверное, у нее какие-то осложнения из-за Федора.

Я объяснил, зачем пришел. Наталья молча достала из шкафчика таблетки уротропина, порошки аспирина, пирамидона, пузырьки с сероватым порошком, новое лекарство, только что доставленное самолетом, с которым улетел Васильев. Я сгреб все это и сыпал в карман. Негромко, по временам замолкая и неподвижно сидя с опущенными глазами на своем высоком табурете, Наталья объяснила мне, какими дозами и в каких случаях следует принимать лекарства, как обезопасить себя от заражения гриппом с помощью марлевой маски. Казалось, она совсем и не думала о том, что я сижу перед ней; как бы по инерции выполняла свои обязанности.

— Что с тобой? — спросил я в одну из таких пауз, когда она подперла щеку кулаком и, наморщив лоб, думала о чем-то своем.

Она посмотрела на меня далеким-далеким взглядом, болезненно наморщила лоб.

— Ничего... — произнесла она.

— Да поговори же с Федором как следует, пусть он не мучает тебя своими выходками.

Она молча отрицательно покачала головой.

— Нет! — сказала она. — Я не буду ни о чем с ним говорить.

— Ну так я сам поговорю...

Она подняла глаза и в упор посмотрела на меня. Я смешался.

— О чем? — холодно спросила она.

— Должен же он понять... — пробормотал я.

Наталья усмехнулась.

— Поймешь ли ты его — вот о чем тебе подумать, — сказала она с откровенной враждебностью. — Ты ничего не знаешь о нем. Ни-че-го!

Я хотел возразить, сказать, что кое-что знаю, но она не дала мне говорить.

— Ты никогда не задумывался, как он живет, что делает, что думает, отчего страдает. Как же ты будешь объясняться с ним?.. — Она оборвала себя, подперла голову рукой и медленно исподлобья оглядела меня с ног до головы. Негромко, устало заговорила: — Что ты ему можешь объяснить? Что он жесток, груб, малограмотен? Что еще? Тебе нужны герои, а он совсем не похож на твоих героев. Как же ты, вот такой правильный, благородный, можешь понять и его, и меня? — Она зло, отрывисто сказала: — Нам бы с ним что-нибудь попроще, не для нас твои объяснения, я сама уж как-нибудь. Сама и помилую, сама и прогоню. Ни у кого не спрошусь. Да если хочешь знать, я прогнала его. Да, прогнала, — с надрывом проговорила она. — Совсем прогнала. Ну что? Это тебя устраивает?

У меня мелькнула мысль, что Наталья чего-то недоговаривает. Никогда прежде я не видел ее такой расстроенной, обозленной, издерганной, сплошной комок нервов.

— Что у тебя случилось? — спросил я.

Наталья отпрянула, сжалась.

— Оставь меня! — воскликнула она.

— Наташа, успокойся, — сказал я, понимая, что испугал ее чем-то или обидел. — Успокойся.

Она сказала, отчетливо произнося слова:

— Прощу тебя никогда не говорить с ним обо мне, выбрось эту мысль из головы. И никогда не говори со мной о нем. А теперь уходи, я не хочу тебя больше видеть... Так же, как и его.

У двери я оглянулся. Она сидела на высоком табурете, отрешенная, занятая своими мыслями, и даже не посмотрела на меня...

— Проводил? — спросил меня Рябов, едва я появился в теплой комнатке редакции.

На аэродром я ушел с утра, не заходя на работу, отпросился у редактора накануне.

Я молча кивнул и уселся за стол. Никакого желания рассказывать, как происходили проводы, у меня не было. Рябов, работая над статьей, нет-нет да окидывал меня пристальным взглядом. Но мне было все равно; браться за стопку гранок, лежавших на уголке стола, я не спешил.

## XIV

Рябов отложил ручку, встал и, утробно кряхтя, потянулся, сделал вид, что до последней степени заработался. Но обеденный перерыв будет еще не скоро, я понял, что он хитрит, ему хочется расшевелить меня. А мне было не до того: и проводы Васильева, и разговор с Натальей, у которой что-то не ладилось, расстроили меня вконец. Я не делал ни малейшей попытки вступить в разговор. У нас по молчаливому соглашению было принято не тревожить друг друга, когда мы сидели за столами, углубившись в себя, даже по-видимости не занятые делом; мало ли, может, надо над чем-то основательно поразмыслить.

— Черт его знает, жалко почему-то Васильева, — не вытерпев, сказал Рябов. — Вот разумом понимаю, что дел он натворил — хуже некуда, сам же я когда-то на заседании партбюро разделал его под орех. А свербит почему-то... — Он сунул руку за борт кителя на грудь. — Ты распрощался с ним?

— Распрощался... — мрачно сказал я.

Сцена на аэродроме возникла в моем сознании во всех подробностях. Рябов исподлобья следил за мной.

— Стариков пришел провожать, — сказал я, подчиняясь охватившему меня чувству. — Твой «друг», — я хмыкнул, — следовательно этот, и ревизор сразу залезли в самолет, а Васильев со Стариковым обнялись и поцеловались. Стариков сказал: «Вы тут начинали, не беспокойтесь, судоремонт в срок завершим...»

Мне хотелось теперь передать чувства их обоих, никак я не мог отделаться от впечатления, которое произвела на меня сцена прощания двух мужественных людей: преемника, сознающего свой долг уважения перед тем, кто вынес на своих плечах тяжесть начала, и того, кто уходил так бесславно и все же не согнувшись.

— Уважаю Василия Ивановича... — сказал Рябов и отвернулся от меня, пытаясь скрыть свои чувства.

Я спросил, почему Рябов не пришел к самолету так же, как и Кирющенко.

— Да передовая тут... — пробормотал он и нагнулся над исписанными листками на столе, будто ему не терпелось продолжать работу. — А если правду сказать, — неожиданно сказал он, отходя от стола, — помешала такая, понимаешь, черствость души. Боимся мы своих чувств. Как, подумал, Васильев отнесется? Решит еще, что расчувствовался, нюни распустил... А ведь я его защищал, — продолжал Рябов и вскинул на меня взгляд. — Он-то об этом ничего не знает.

— Защищал?! — воскликнул я. — Когда же?

Вот уж чего трудно было ждать от Рябова. Я хорошо помнил, как он осуждал Васильева осенью за историю с лосями и брошенные

в плесе баржи, потом за неудачную поездку на Аркалу прошлым летом на катере и зимой совсем недавно, за нетерпимое отношение к критике — казалось, за все, что исходило от Васильева.

— Да не так давно. Мы, видишь ли, с Кирющенко сцепились, тебе я ничего не говорил. Он предложил мне напечатать редакционную статью, разоблачающую все ошибки Васильева, чтобы другим неповадно было. Я ему говорю: «Как же так провожать человека пинком под зад. Какой он ни есть, а все же много сделал, затон создавал...» А потом, говорю, пусть в Главном управлении окончательно разберутся, в чем он прав, а в чем виноват. Охаять человека легче легкого... Отказался я, одним словом, печатать такую статью. Погорячились мы с ним оба, я ему наговорил с три короба арестантов, он тоже в долгу не остался, обоим теперь совестно... Понервничал я, жена прислала письмо о разводе, — неожиданно сказал он. — Вот так все соединилось... Написал в политуправление, попросил по личным обстоятельствам отпустить в Москву на время.

Я молчал. Ничего я не знал о семейных делах Рябова, никогда не говорил с ним о том, как он жил, есть ли у него кто-нибудь на «материке». Как же теперь, когда разразилась катастрофа, будешь спрашивать? И я молчал. Мы стояли друг против друга, прислонившись к своим столам.

Заговорил Рябов:

— Встретил ее за год до отъезда, двое детишек у нее, сын шести лет и девочка семи. Работала в покрасочном отделении, на текстильной фабрике. Меня, почему-то все студентом называла, по очкам, что ли... Отца детей посадили за хулиганство, она с ним и расписана не была. Что люблю ее, не говорил, не хотел обманывать. Сказал как есть: и у меня пристанище будет, и ей жить легче станет, детей в люди вывести помогу. Год прожили, привыкли друг к другу, расписались, чтобы никто не придирался. Поехал на Север обещание выполнять, деньги на детишек стало больше уходить. А его, видишь ты, недавно освободили, я уже здесь был. Отсидел свой срок и к ней вернулся. Да и куда еще идти, никого у него нет, один совсем. Написала мне, что любит его, не может без него. И дети родного отца знать должны. Вот просит развода... Все как будто правильно, и рыпаться мне нечего. А не могу успокоиться. Легко с ней сходилась, думал, легко и разойдусь. А я, пока жил с ними, к детишкам привязался и они ко мне. Думал — легко, на время... Нельзя легко с людьми. Нельзя! Мне бы съездить в Москву, развод оформить, с детишками разобраться...

— Как же так, ничего я не знал? — сказал я, оглушенный его рассказом.

Рябов повел плечами.

— Ты не спрашивал, а навязываться ведь не будешь... Живем мы как-то странно, — продолжает он, — каждый сам по себе. Нет, не



в деле — тут у нас, как говорится, порядок, работать умеем. А вот, когда одни остаемся... Самое страшное, когда один на один с самим собой... Да, вот так-то, брат, и получается...

— А Кирющенко знает про это?..

— Как-то не к месту было говорить... Другие у меня с начальником политотдела отношения.

— Боится он тебя, что ли? — спросил я. — Ты, видно, насолил ему, он даже не стал с тобой говорить о том, чтобы мне к геологам съездить, выяснить, не больны ли. Не ладится, говорит, у меня с Рябовым, сам поговори с ним, на сколько дней он тебя отпустит.

Рябов уставился на меня холодным, пристальным взглядом, как только он один мог смотреть.

— Все-таки добился ты своего, — произнес он, — не дают тебе покоя геологи.

— Нет! — я покачал головой. — Не хотел я ехать на этот раз. Васильев уговорил перед отлетом, его это идея. Да и в самом деле надо кому-то ехать, чем, говорят, черт не шутит, врачи заняты.

— Значит, для серьезного дела?

— Вполне.

Рябов помолчал, походил по комнате, бесшумно загребая валенками по узким лиственничным затертым половицам, и остановился передо мной.

— Видно на роду мне написано о других заботу проявлять, а о себе и не думать, — он усмехнулся. — Ты уедешь, я за тебя тут отдуваться должен. А если попутный самолет пойдет в Москву и разрешение будет получено? Кому я редакцию буду сдавать? — Он уставился на меня. — Сколько тебе времени надо на поездку?

— Кирющенко сказал — у тебя спросить. На сколько отпустишь.

— Тоже гусь хорош, будто не понимает, что тебе самолет не подадут на Аркалу лететь. Вон Васильев попробовал, уйму времени только потерял и не добрался. Сколько туда километров?

— Триста, говорят... в один конец.

Рябов присвистнул.

— Ну, герой! На чем же ты собрался ехать?

— С Гринем велено посоветоваться.

— Этот присоветует, никаких сомнений. Гриня хлебом не корми, дай только ввязаться в какую-нибудь «завлекательную историю». С того он и начнет разговор — попомни меня... Ну, что я могу тебе сказать, езжай, раз такое дело. Времени сколько тебе дать? Да откуда же я знаю? Пойди у Гриня спроси.

— Слушай... — сказал я, — ты и вправду рассердился на Кирющенко за эту историю со следователем... на партбюро?

Рябов посмотрел на меня, видно, на физиономии моей было уж слишком трагическое выражение, и расхохотался.

— Кто это тебя надоумил?

— Кирющенко так считает...

— Ну, знаешь, это уж надо быть совсем наивным человеком. Кирющенко своим выступлением спас меня от этого подлеца, он бы уголовное дело мог состряпать. Я же прекрасно понимаю.

— Так что же: только из-за этой статьи о Васильеве?

Рябов задумчиво побарабанил пальцем по столу.

— Статья о Васильеве — частность, — заговорил он. — Я все больше стал убеждаться, что нам всем чего-то важного не хватает, чего и сам не пойму. Доброго отношения к людям? Нет! Злыми нас не назовешь. Равнодушие заело? И так бы я не сказал. Понимаешь, какая история... — Рябов крепко охватил свои локти руками, поднял плечи, нахмурился. — Не умеем мы всматриваться в чужую жизнь, — медленно продолжал он — Не умеем и не хотим. Кирющенко вполне устраивают благополучные заметки, а уж если кто натворил дел, вроде Васильева, — изобличающие, одной краской мазанные. А как живет человек, когда остается один с самим собой? — Это уже вне поля нашего внимания. Сумбурно я говорю, понимаю, что сумбурно. Кирющенко смеется или ругаться начинает... — Рябов махнул рукой. — Ладно, езжай, все равно я до твоего возвращения никуда не подамся. Совесть у меня есть, понимаешь? Вычитай гранки и лови Гриня. Мне тоже не терпится узнать, что он придумает. Давай-ка за работу!

После обеда я отправился разыскивать Гриня. Мы устроились в его комнатке на конбазе. Одна только чернильница-непроливайка украсла завидно пустой гриневский стол.

Выслушав меня, Гринь сказал совершенно то, что предполагал Рябов:

— Завлекательная история!

— Запрягайте лошадь, — сказал я, несколько опережая события, чтобы не дать возможности Гриню пуститься в разглагольствования и настроить его на деловой лад. После разговора с Рябовым, я потерял всякое желание наслаждаться гриневскими историями. — Пойду собираться, — сухо добавил я.

— А чем вы, извиняюсь, эту лошадку кормить будете?

— Овсом.

— Больше пятидесяти километров — и то еще много по делику — лошадка в день не пройдет, как вы, извиняюсь, должно сами знаете... Выходит, кормить надо ее неделю туда и неделю с таким обратно. Так она тот овес, извиняюсь, не поднимет. Вам самому, извиняюсь, придется его тягать вместе с подводой.

Я уставился на разрисованные фиолетовыми чернилами замызганные плахи и молчал.

— Не расстраивайтесь, — сказал Гринь, вкрадчиво. — Надо малость подумать...

— Ну и что же делать? — спросил я, отчетливо ощущая, что попадаю в полную власть Гриня.

— Есть у меня одно, извиняюсь, соображение... — начал Гринь, таинственно оглядываясь. — Только вы до времени Кирющенко Александру Семеновичу ничего не докладываете. Очень он недоверчивый человек. — Гринь приосанился и воскликнул: — Да, яркая может история получиться!

Не очень-то и я доверял Гриню с некоторых пор и потому мрачно спросил:

— А в живых я останусь?

— В лучшем виде! — ни секунды не задумываясь, ответил Гринь. — Хотя, конечно, как говорили в старину, человек предполагает, а бог располагает... Бога, извиняюсь, нету, а судьба все ж таки у каждого человека своя. Тем более — триста километров туда и триста километров обратно. До Абыя всего-то сорок, а сколь со мной историй приключалось! Один раз вот, поди ж ты...

— Гринь, — сказал я решительно, — когда-нибудь в другой раз я с удовольствием послушаю, но теперь давайте займемся не фольклором, а делом. Что вы придумали?

— Извиняюсь, а что такое фольклор?

— Устное народное творчество. Так что у вас такое?

— А вот что... — Гринь помедлил, явно наслаждаясь моим нетерпением. — Пойду гляну, не слушает ли кто...

Он встал и на цыпочках, что в его огромных валенках не так просто было проделать, вышел из комнатенки.

## XV

Наконец Гринь появился в дверях, прокрался к столу и осторожно опустился на лавку.

— Гринь, ну что вы!.. — не выдержал я. — Кому придет в голову нас подслушивать?

— Есть кому, — сказал Гринь. Он еще раз оглянулся на дверь и, положив локти на стол, посунувшись ко мне, заговорил вполголоса: — Вот тут какой фольклор получается: приметили вы собачек в поселке? Стаями рыскают, извиняюсь, на помойках. И никому теперь они не нужны. Порода в лучшем виде, ездовая индигирская лайка! Было время, они у нас нарты тягали... Изловим мы тех собачек, вернем им память, малость обучим молодняк, и побегут они за милую душу, как в старые времена... Собачка, как вы, может, приметили, шагом не ходит, все норовит трусцой. Вроде бы и без поспешности, а на поверку выходит сто километров в день, без всякого фольклора! Правда, подход требуется индивидуальный к собачьему характеру. У каждой собачки особые, извиняюсь, причуды:

кого стегануть надо, как следовать быть — другого языка не понимает, а на кого добром, уговором, лаской можно произвести впечатление. Конечно, когда остервенишься на их, тут уж не до ласки, готов удрушить всех без разбора. В общем — в руках надо себя крепко держать, иначе с места не стронуться. Один раз я с ими в истерику вдарился, зашелся — себя перестал помнить. Еще немного — и всех бы их прикончил. Вот то транспорт — не соскучишься! С кобылой никак не сравнить!

— Так на кобыле лучше или хуже? — не понял я.

— Какое может быть сравнение, лучше, конечно! Однако скучновато, а окромя того, я вам докладал — гору овса ей под хвост, а этих — только мясом али рыбкой... На двенадцать, али четырнадцать душ тоже порядком получается...

— Откуда же мы возьмем мясо или рыбу на четырнадцать псов? — усомнился я. Гринь покашлял в кулак. — И сколько же это будет стоить?

— Смотри как развернуться, — загадочно проговорил Гринь. — А то можно и за гроши... — Он оглянулся на дверь, снова повернулся ко мне, вытаращил глаза, словно с трудом сдерживая свою болтливость. Не хватало еще, чтобы засунул оба кулака в рот, как делал Карабас-Барабас в моей любимой сказке «Буратино», когда боялся выболтать тайну.

— Гринь, объясните мне, кого или чего вы боитесь? — спросил я, через силу заставляя себя быть спокойным.

— За себя я ничуть не опасаюсь. Я, извиняюсь, за вас...

— Ну, хорошо, пусть будет за меня. Так в чем дело?

Гринь снова посунулся ко мне и приглушенно заговорил:

— Вот тут такой фольклор: Коноваленко, Федор и Данилов собрались уезжать из поселка, вещички свои укладывают, как я приметил. На чем им ехать, как не на собачках? А на две упряжки — им и нам — серьезных собачек не хватит, одна, извиняюсь, шваль останется. Так что, кто первый собачек перехватит, тот и поедет. Вот она, какая завлекательная история получается.

— Зачем же Коноваленко понадобилось уезжать? — удивился я. — Следовательно отпустил его на все четыре стороны.

— В том и дело, что отпустил, иначе бы он и не побег. Совесть у него есть.

— Так сейчас-то зачем?

— А это вы у Коноваленко спросите. Со мной он не разговаривает. Так, если малость подумать, понять можно человека. Довел его у нас, не хочет он больше с нами. Вас бы, извиняюсь, повели с милицией по нужде, а то еще и по улице... У человека, какой он ни есть, душа имеется. Собачки и те каждая свой характер соблюдают. А то человек! Взять бы разобрать душу Коноваленко по косточкам — сколь в нем хорошего есть, а сколь и плохого,

потому как в нашей жизни борьба происходит. Та борьба в душе Коноваленко, хочешь — не хочешь, пропечаталась...

— Вы философ, Гринь!

— Есть малость, — скромно заметил Гринь.

Так вот зачем приходил Коноваленко в палатку-клуб: прощался, наверное, с тем хорошим, что вошло в его жизнь здесь у нас и, может быть, как сказал Гринь, «пропечаталось» в душе!

— Зачем же перехватывать собак друг у друга? — воскликнул я. — Просто поговорить с Коноваленко, поймет же он, что мне надо съездить к геологам.

— Уж не знаю, поймет или не поймет, — с сомнением в голосе сказал Гринь. — Он не один собрался. Только, извиняюсь, если вы всерьез решили ехать, поговорите с ими после, когда мы основных собачек переловим. Тоже задача нелегкая. Псы обленились, хитрющие стали до ужаса, с ими хватим горя еще до отбытия, на помойках. Каждую псину придется уговаривать, а то и приманивать рыбкой. Вот переловим, тогда й поговорите. Человек вы образованный, может, они всамделе вас послушают. Но для верности все же таки пока повремените им лекцию читать. Они все трое, как на подбор, страсть не любят, извиняюсь, пустых слов... А с кормом дешево можно обернуться: у завмага скупить мерзлую рыбу с запашком, да еще пополнить запасы по пути у якутов. Соображаете?

На том мы и порешили. О наших планах и неожиданных конкурентах я рассказал Кирющенко и не без горечи добавил:

— Вот ведь как... Коноваленко давно мне говорил: соткнемся мы с вами рано или поздно. Ну вот, прав он оказался!.. А я еще не поверил ему, удивился его словам.

Выложив все это, я откинулся на прямую, как доска, спинку стула и уперся в Кирющенко таким же неуступчивым взглядом, каким он иной раз смотрел на меня. Впервые он отвел глаза. Встал, подошел к окну. Долго смотрел в заснеженную, полыхающую огненными красками тайгу. Стремительно повернулся ко мне, разом освобождаясь от раздумий или сомнений своих, и сказал:

— Собак не дадим. Вызовем Коноваленко и запретим собак трогать. Милиция на крайний случай у нас пока есть. Собирай упряжку и езжай.

Кирющенко вернулся за свой «саркофаг» и смотрел на меня прямо и строго.

— Ну уж нет, — сказал я. — Коноваленко оставьте в покое. С него и так хватит всякого. Сам разберусь. Не так мы что-то делаем... — вырвалось у меня.

Кирющенко, видимо, перебарывая себя, некоторое время молча смотрел на меня, сказал:



— Оба вы с Рябовым взялись винить меня в каких-то грехах. Может, и правы, чего-то не умею,— и решительно продолжал: — Если уж взялся читать души человеческие, так поглубже в них заглядывай. Только побыстрее уезжай, мало ли что там...

Плохо мне было в эти дни, никогда я не думал, что придется всегрез «соткнуться» с Коноваленко, жестоко враждовать с ним и его товарищами. В довершение всего пропала моя Пурга. За зиму щенок вырос, стал пушистой, белой, как свежий снег, лайкой. И видом своим, и беспокойным нравом Пурга оправдывала свою кличку. Она ходила за мной всюду, терпеливо ждала в сенях редакции, когда я освобожусь, и встречала меня радостными прыжками и лаем. Я привязался к собаке и не мог смириться с ее исчезновением. Обошел поселок в поисках хоть каких-то ее следов. Пурги нигде не было, никто ее не видел. Луконин сказал, что вчера поздним вечером слышал отчаянный собачий вой в тайге за протокой.

— В той стороне, где Федор и Данилов юрту поставили,— уточнил Луконин.— Может, Федор на шкуру позарился?

«Неужели и теперь Данилов заодно с Федором?» — думал я, с тяжестью на душе направляясь к их жилью. Еще издали заметил на плоской крыше небольшой юрты расстеленную мездрой наружу шкуру с желтовато-белой опушкой. Подошел к юрте, перевернул замороженную одревеневшую шкуру и понял, что моей Пурги больше нет, вот все, что от нее осталось... Дверь оказалась запертой. И к счастью — не смог бы я в тот момент сдержать себя.

В протоке разыскал я деревянную баржу, которую ремонтировали Луконин и Данилов. Луконина не было, работал один Данилов. Нагнувшись, он обтесывал топором бревно, видимо, опять готовил для привального бруса. Желтоватая пахучая лиственничная щена усыпала снег под его сильными, чуть выгнутыми наружу ногами. Он увидел меня, оставил работу, выпрямился, сжимая в руке топор, не врубая его в бревно. Мы стояли молча друг перед другом. В темных узких глазах Данилова, мне показалось, мелькнула усмешка. Нет, я ошибся, красно-коричневое от зимнего загара лицо его было неподвижным.

— Ты убил собаку? — едва сдерживая себя, спросил я.

Он молчал. Лицо его оставалось таким же непроницаемым, крупные губы были сжаты, продубленная морозом кожа без единой морщинки туго обтягивала щеки и сильно выпирающие скулы. Я пошел прочь.

Данилов нагнал меня.

— Я не убивал собаки,— сказал он и зашагал обратно к барже.

Значит, Федор. Что же это? Мелкая месть мне за неприязнь или просто шкура понадобилась перед отъездом для шапки, для рукавиц? Дикая омерзительная жестокость! А кому пожалуешься,

как его накажешь? Душа моя ожесточилась, я понял, что отступления быть не может, Гринь прав. Одно только остается: не дать им ездовых собак, успеть переловить псов. Поездка к геологам важнее всего.

Оказалось, что Гринь сумел-таки поймать четырнадцать псов. Запер их на конбазе. Потом мы принялись за починку лямок старой собачьей упряжи. В гриневской конторке было размаривающе тепло, пахло деревней: кожей хомутов и сбруей, сеном, прелым навозом.

Починка обветшалых лямок заняла немало времени. Однообразная работа настраивала на спокойную, неторопливую беседу. Я спросил, как Гринь попал на Север.

— Завлекательная история... — раздумчиво сказал он и надолго замолк, продолжая работать.

Я не повторял вопроса, пожалуй, впервые Гринь медлил поведать мне «завлекательную историю». Мы сидели у печки и, протыкая ремни шилком, тянули через отверстия смоленую, затвердевшую, как проволока, дратву. Гринь низко склонился над лямами, светлое его лицо с девически нежной кожей, обрамленное рыжей бородой, чуть потепдело, и мне показалось, что он смущен, трудно ему говорить.

— Да-а... — протянул я, — скучная работа, когда-то мы починим эти лямки...

Мне хотелось сказать Гриню, что не надо отвечать на мой вопрос, что я спросил так просто, от скуки. Но я сумел сказать только то, что сказал об этой однообразной работе.

— А как, извиняюсь, без лямок собачки нарты потянут? — спросил Гринь и поднял на меня свои светлые, чистые глаза. Он точно, возражал мне, точно хотел сказать, что вовсе не нужно таких сомнений, запятанных в моем замечании.

— Без лямок-то не потянут, это верно, — как бы отвечая Гриню, заговорил я. — Но уж очень нудно их чинить, кажется, вся жизнь остановилась, какие-то глупые вопросы лезут, лишь бы о чем-то говорить...

## XVI

Гринь склонил голову набок и, оставив работу, смотрел на меня мягко светившимися среди рыжих бачек глазами. Все лицо его заросло бородой до самых разлохматившихся, не рыжих, а просто светлых, как говорят, русых волос.

— Работа, извиняюсь, всегда работа, — произнес Гринь. — Интерес у человека не от работы, а от любопытства к жизни... Хотя, конечно, бывает и работа завлекательная, не оторвешься. — Он замолчал, опустил глаза. — Да, интересная история получилась! — продол-

жал он, снова взявшись за шило и прокалывая ремень. — Работал я, извиняюсь, кладовщиком в колхозе «Красные зори» в Курской области. Должность, сами знаете, строгая, аккуратности требует. Ни-ни ни себе, ни другим, все через бухгалтерию. Как только ко мне ни прилаживался бригадир полеводческой бригады! Был у нас такой бугай, до баб и до самогона охочий, Нечипуренко. Крепкий, ноги короткие, как бы за землю цепляются — не повалишь. Рожа, извиняюсь, грязного оттенка, как прошлогодний буряк, ручищи растопырены, работы просят. Умел работать, ничего не скажешь. В районе его поддерживали. Там его как бы с фасаду видели, а я, извиняюсь, как бы с изнанки просматривал... — Гринь помолчал, протививая дратву в отверстие. — Жинка у меня была ладная женщина. Хата своя, мальвы в огороде, каких здесь и не видали никогда. Как должно быть... Она в поле работала в бригаде Нечипуренко. Все с того и произошло.

Гринь опять надолго замолчал. Я беспокойно завожился на лавке, начал вымерять лямки, подгонять под нужный размер.

— Выдержат ли? — спросил я. — Псы сильнющие, оборвутся еще...

Гринь ничего не ответил, стянул дратву, закрепил узлом, отложил починенную лямку.

— Не отпустил я Нечипуренко со склада зерна, — заговорил Гринь, — бурюков не дал. «Иди, говорю, в бухгалтерию, выпиши, извиняюсь, как должно быть». — «Пожалеешь, говорит, поздно будет». Я ему на дверь указал: «Извиняюсь, выдь со склада...» Хотел он мне со зла двинуть, однако опомнился, ушел. Жена мне как-то говорит: «Что ты злой к бригадиру? Мужик он ничего...» А я отвечаю: «Что ты добра к нему не в меру?» Молчит... Опосля уже люди мне глаза открыли, рассказывать не хочется, до сих пор за сердце берет, как вспоминать начинаю... Ушел я со своей хаты, оборудовался на складе в каморке. Через полгода судили Нечипуренко за воровство, дали три года, хоть и защитники у него нашлись в районе. Посадили все ж таки. Колхозники за меня встали, давайте, требуют, нам его в председатели. Отказался я. Не мог ни в свою хату вертаться, ни бывшую жену видеть... На складе век жить не будешь, и глаза завязывать тоже не выход. Собрался сюда, предложил хорошей девушке со мной уехать. Не схотела. Первый год не знал, как жить здесь. Извиняюсь, свету дневного не видел. Прошло время, опять интерес до жизни народился... Необыкновенная история со мной приключилась: извиняюсь, встретил тут одну... Помните, в клубе с Коноваленко поспорил, сказал ему тогда, что нет ничего удивительного, если невесту встречу. Верите, каждый день с праздником схож...

Глаза Гриня разгорелись синим огнем, и весь он стал деятельным, просветленным, привычным для меня Гринем.

— А она? — спросил я, догадываясь, о ком говорит Гринь.

— Она, извиняюсь, одно уважение ко мне имеет, а то насмешничать начнет, как малое дите... — Возвращаясь к делу, которым мы были заняты, он, как всегда обстоятельно, с доброжелательностью заговорил: — А насчет лямочек не сомневайтесь, в лучшем виде будут лямочки. Собачки побегут — ветер не угонится. Ну, конечно, у каждой псины свой характер, я уже вам докладывал...

Лямки мы починили часам к двенадцати ночи. Выезжать можно было хоть завтра, осталось только договориться с Кирющенко, чтобы Гриня отпустили вместе со мной. Ни у меня, ни у Гриня не было сомнений насчет того, что мы покатым вдвоем, я собаками управлять не мог.

Утром пошел кормить свой «транспорт». Фанерная дверца палатки была распахнута, палатка пуста. И гнев и горечь обиды овладели мной, я понял, кто это сделал. Вести себя с такой наглостью! Позвал Гриня. Он принялся ползать по снегу, изучая следы злоумышленников.

— Не иначе Петр Коноваленко, его валенки, — сказал Гринь, вставая. — Что ты будешь делать! Придется, извиняюсь, за горло его брать... В поселке собак нет ни одной, куда-то спрятали.

Я тут же отправился на другую сторону протоки, в юрту Коноваленко. Набухшая синевой тропка меж порозовевших от зари сугробов вела в глубь тайги. Маленькая плоскокрышая юрта, обсыпанная снегом, стояла в окружении невысоких, словно обглоданных, зимой лишенных хвои, лиственничек и тальниковых кустов. Глянул вокруг — никого. Дома поселка, суда в протоке, дымы от костров, разведенных плотниками, — все это исчезло, заслоненное тайгой. Крохотная юрта и пронизанная холодными тенями, в отдалении подожженная зарей, тайга. «Вот как он тут живет, — подумалось мне, — точно один на всем свете...»

Я решительно рванул на себя дверцу и, нагнувшись, нырнул в юрту. Небольшие окошечки, прорезанные в сенях, давали достаточно света, и я сразу увидел сидевших на приступках у стен троих людей в телогрейках и шапках и разложенные подле них какие-то тючки и свертки. На деревянном топчане не было постели, наспех сколоченный стол был свободен от посуды, комнатка выглядела оголенной, неприятной, совсем нежилой. Я остановился у двери и оглядел сидевших вдоль стен Данилова, Федора и Коноваленко. Они смотрели на меня настороженно и сумрачно.

— Здравствуйте, — сказал я.

Ни один из них не ответил, не шевельнулся. Я чувствовал на себе их тяжелые враждебные взгляды, и мне становилось страшно вато в этой одинокой, далекой от поселка юрте.

— Куда собак подевали? — спросил я и не узнал своего хриловатого голоса.

Они молчали. Я шагнул на середину комнаты, уперся взглядом

в слезящиеся глаза Коноваленко. Тот тяжело вздохнул, полез в карман, вытащил кожаный кисет.

— Слушайте! — воскликнул я, и робость вдруг покинула меня. — Не дам ни одному из вас уехать отсюда, если вы не выпустите собак. Ни один не уедет! Попомните мое слово.

Пока я произносил эту горячую речь, Коноваленко спокойно свертывал козью ножку. Федор, поигрывая желваками, встал, прошел к двери позади меня и прислонился острым плечом к притолоке, сунул кулаки под мышки. Я невольно оглянулся на него, отошел, спиной к стене.

Коноваленко задымил самокруткой, искоса поглядывая в мою сторону. Федор сдвинул шапку на самые брови, как-то странно завел зрачки кверху, как будто смотрел на меня одними белками. Я чувствовал, как в нем закипает злоба. В исступлении он ударил головой в притолоку, нарочно растрawляя себя, доводя до состояния слепой ярости. Лицо его исказилось от боли.

Я прислонился плечом к покато́й стенке комнаты, окинул взглядом тючки и свертки у стен, хмыкнул.

— Чего ты? — не выдержал Федор.

Я молчал. Он многозначительно сунул руку в карман, поворошил там.

— У-ух... — пробормотал он.

Коноваленко неторопливо поднялся. Кивая на дверь, обращаясь ко мне, сказал:

— Выйдем, поговорим...

Он потеснил Федора, приоткрыл дверь, впуская в комнатку клубы холодного воздуха, и оглянулся на меня. Я вышел вслед за ним. Мы зашагали по тропке в глубь тайги. Дорожка тут была узенькая, едва промятая. Коноваленко шел впереди, сутулился, попыхивая самокруткой. Остановился под разлапистыми лиственницами и повернулся ко мне.

— Ну, чего ты пришел? — сказал он. — Думал, с тобой тут шутки будут шутить? Федор сейчас все может сотворить. Чего ты навязался на мою шею. Интеллигенция, черт ее дерит!

— А ты, хорош тоже! — воскликнул я. — Бандит! Собак своровал.

Я готов был драться с Коноваленко.

— Собаки не твои, — посверкивая влажными глазами, буркнул Коноваленко. — Ничейные собаки!

— Гринь их переловил... — начал я и поперхнулся от охватившего меня гнева.

— Ну и что? Подумаешь, Гринь переловил! А я их забрал, ничейные они. Тебе для забавы, а мне для дела!

— Хороша забава! Может, геологи на Аркале в лежку все, вон как в Абые... Забава! Ты мне собак выпустишь, а не то башку сверну...



— Я те сверну! — рявкнул Коноваленко.

Хлопнула, как сухо прозвучавший выстрел, дверца юрты. По тропке к нам бежал невысокий крепкий Данилов без шапки, в растерзанной телогрейке с болтавшимся, наполовину оторванным воротом и оголившимися желтоватыми клочьями ваты.

— Стой!.. — задыхаясь, крикнул он. — Стой, Петро!..

Он подбежал к нам, с ходу толкнул Коноваленко в грудь, тот повалился спиной в сугроб и неуклюже завозился в снегу.

Ноздри Данилова раздувались, щеки ввалились, жесткие волосы торчали, как иголки у ежа.

— Уходи юрта, слышь? — заорал он. — И ты уходи поселок. — Он повернулся ко мне. — Слышь, уходи... — И опять крикнул поднимавшемуся Коноваленко: — Не трожь человек!

— Да ты что, оглашенный!.. — проговорил Коноваленко. — Чего с тобой?

Данилов, покачиваясь от изнеможения, — видимо, только что выдержал борьбу с Федором, — оглядел Коноваленко, потом, точно впервые видя, меня.

— Ничего со мной... — крикнул он. — Иди-ка, Петро, в юрта.

— Да ты что, Коль? — с укором в голосе произнес Коноваленко. — Что ты подумал? Ну что ты?.. Застегнись, шапку поди надень. Глянь-ка, что у тебя с воротом. Что вы там с Федором не поделили?

Данилов оглядел себя, застегнулся, подобрал болтавшийся ворот, сунул его на грудь, под телогрейку.

— Вязал я его... Не хотел я, чтобы Федя тебе помогал... — Данилов кивнул на меня.

— Да ты что, что ты говоришь-то! — поводя своими крупными, чуть навывкате глазами, сказал Коноваленко. — Перестань, Коль. Совесть во мне еще есть, понял. Иди, иди, — Коноваленко хлопнул его по плечу, легонько подтолкнул к юрте.

Данилов посмотрел ему в лицо, глубоко вобрал в легкие воздух.

— Ладна... — с облегчением сказал он.

— Иди, Коль. Мне надо с ним поговорить, — Коноваленко повел головой в мою сторону. — Иди, не бойсь. — И когда Данилов, оглядываясь на нас, пошатал к юрте, сказал ему вслед: — Федора повремени развязывать, постереги. Я возвращусь сейчас.

## XVII

Мы снова остались вдвоем с Коноваленко в посветлевшей, подневному ожившей, мерзлой тайге. Коноваленко стоял передо мной, опустив глаза, и валенком разминал сахарные, словно изнутри жемчужно светившиеся комья снега.

— Да-а... — произнес он, поднимая глаза, — некстати появился ты, душу мне растревожил...

Этот переход у Коноваленко от раздражения, гнева, злобы к беспомощности и горечи был так неожидан, что стало не по себе и уже не хотелось ни драки с ним, ни ругани, ни упреков.

Коноваленко посмотрел в тайгу, далеко, туда, где в переплетении коричневых ветвей лиственниц и кустов плавилось неяркое, едва показавшееся над горизонтом солнце. Долго мы ждали его после полярной ночи, и вот оно вышло наружу, катится в гуще тайги у самого горизонта, и почему-то нет никакой радости в душе.

— Солнце встало... — проговорил Коноваленко.

— Да, солнце... — машинально ответил я.

И мы опять замолчали. И все смотрели в тайгу, и как будто не видели солнца.

— Ну вот, — сказал Коноваленко, — ночь полярная, выходит, кончилась.

— Да, все как-то по-другому стало...

— По-другому... — негромко подтвердил Коноваленко.

Постояли мы еще. Коноваленко сказал:

— Собак я тебе в тую палатку к вечеру приведу, за ними еще сходить надо, можешь быть спокойным. Ты бы сразу пришел, сказал бы, что тебе к геологам ехать. Кирющенко небось посылает?

— Кирющенко, — почему-то вздохнув, сказал я.

— Вот тут у меня все... — покряхтел Коноваленко, потеряв кулаком ватник на груди. — С вами бы... — И словно опомнившись, сказал: — Нельзя! И вас замучаю, и сам с вами пропаду... Уезжать надо.

— Зачем же уезжать, Петро? — робко спросил я. — Ведь все хорошо... кончилось.

— Н-да-а... — протянул он со злой иронией, — «хорошо»! Сгребли, с милиционером напояк всем поводили, а потом извинились... Очень хорошо!.. Да и не в том совсем дело, — другим тоном воскликнул он. — Совесть, видишь, меня смаяла. Что у меня в душе, ты знаешь?

— А что? — с наивностью спросил я, самому даже неловко стало.

Коноваленко усмехнулся.

— Да куда тебе понять... Был ты в армии? — неожиданно спросил он.

— Был, — сказал я. — До института еще призывали, а потом, после, как демобилизовался, учиться начал... Знаешь, как зверь в книги вцепился, то ли поумнел, то ли повзрослел.

Коноваленко не спускал с меня острого взгляда и слушал не прерывая.

— Вот видишь, армейский ты человек, в случае чего можешь

пригодиться. А я... а я дисциплины боялся. Могу я теперь, когда там, — Коноваленко мотнул головой куда-то в тайгу, — такая заваруха с фашистом, могу я спокойно сидеть здесь? — Он подождал, скажу ли я что-нибудь, но я молчал. — Помнишь, я тебе когда-то сказал, что просто так пить не бросают, что в душе надо что-то иметь, а что, я не знаю. Забыл, должно?

— Нет, помню, — сказал я, — мы еще с тобой северное сияние смотрели.

— Ну, правильно, помнишь. Так вот, есть теперь у меня в душе, есть, понял?.. Не пусто в душе... Долг свой мне надо жизни вернуть, пока силы есть, потому и уезжаю. Что там делается, фашист прет и прет, никто его не остановит. А ударит в голову, да повернет на нас?.. Поеду на материк, в первом же городе на железной дороге, в Иркутске, приду в военкомат, попрошусь в Красную Армию. Примут солдатом, как думаешь? Я мужик здоровый, думаю, возьмут. Могу же я там сгодиться?

— Можешь, — решительно сказал я, пытаюсь твердостью в голове скрыть внезапно нахлынувшие чувства. — Можешь, конечно... Слушай, Петро, а как же ты без собак? Как туда доберешься? До Якутска тыщу километров. Как же? В мороз, в пургу, сейчас самые ветра начнутся.

— Доберусь! Не впервой мне бродяжить. А теперь, главное, цель есть, жизнь по-другому поворачивается. Доберусь!

— Привык я к тебе, — неожиданно для себя сказал я и отвернулся.

— Ну ладно, ладно... — пробурчал Коноваленко. И нарочито грубовато продолжал: — Наказание с вами, с интеллигенцией! Тебе тоже не сладко придется с этими псами, душу их возьми господь!.. Доберусь! В Абый пешком, а там, как придется — и на почтовых упряжках и пешком. Ползком, а доберусь. Все! Твердо решил... Да и путчик есть — Федор. Данилова ты бы взял под свое управление, зачем ему с нями? Видал, как он тебя защищать прибежал! Из него правильный мужик получится, поверь мне, присмотреть только надо.

— Ладно, пусть остается.

— Я ему скажу, чтобы остался, он меня послушается.

— А Федор тоже в военкомат? — удивился я.

— Да нет, он и не знает про то, куда я. И знать ему незачем. Он еще с упряжкой кордебалет устроит... надо будет, так я его скручу, не впервой. К вечеру собачье племя в палатке будет.

Постояли мы с ним, поеживаясь от холодного ветерка, тянувшего из тайги, точно легонько касалось щеки острое лезвие бритвы.

— Петро, а почему Федор с тобой уходит? — спросил я. Не хотелось мне заводить этот разговор, выпытывать у Коноваленко то, что он, может быть, и опасался мне говорить. Нехорошо было на ду-

ше, будто в чем-то виноват перед Федором, вот и пересилил себя, спросил...

Коноваленко спокойно ответил:

— Есть у парня причина, понять можно. Наталья довела, лучше бы он с ней не связывался, предупреждал я его — добром не кончится. — Коноваленко насупился, потерялся замерзшей щечкой о высокий ворот стеганки. — Одним словом, прогнала она Федора. За что — не пойму, а он не говорит. Сказал только, что видеть ее не хочет, ходил к ней, а она его не пустила, прогнала. Вот те и весь сказ! Потому и уезжает, а куда — я не спрашивал, да он и сам, по-моему, не знает. Злой на весь свет, одна она у него была. И жалко парня, и, бывает, боязно с ним. Как чумной какой... Ты сам видел.

— Вот не ожидал... — сказал я, — никак не ожидал, что она характер проявит... Посмотрел бы за ним, мало ли...

— А что тебе Федор? — Коноваленко усмехнулся. — Ты уж о нас не печалься... Собак приведу, слово мое верное. Скажи Гриню, чтобы не разводил муть в поселке.

— Напрасно ты, Гринь тебя уважает, — с укором сказал я.

Коноваленко как-то странно заморгал, протянул мне руку.

— Спасибо на добром слове... Прощай!

Тряхнул мою руку изо всей силы, да и я не уступил. Повернулся и пошел к юрте, вперевалку, прочно, крепко.

В поселок я вернулся сам не свой. Собак отвоевал, а какой ценой! Доберутся ли Коноваленко и Федор до Якутска, может, замерзнут где-нибудь в тайге. Все не так получается, как хочется! Надо забрать их, довести хотя бы до Абыя...

В пустой конторке на конбазе сел я на лавку и уставился в оконце, не видя за стеклом облитых заревом первого неяркого солнца лиственничек. Смотрел на них и не видел. Очнулся, а лиственнички уже погасли, солнце укатилось за тайгу. Несколько десятков минут длился наступивший полярный день.

Вошел Гринь, взглянул на меня, молча присел напротив.

— Отдал он собак... — безразлично, монотонным голосом сказал я. Посмотрел на Гриня, прочел в его взгляде укор или что-то похожее, опустил глаза.

Гринь заметил:

— Извиняюсь, не расстраивайтесь, доберутся они. Привыкли мотаться по тайге. Ну, а что мы еще можем сделать? Бывает, конечно, по-разному, спирту хлебнут, свалятся в сугроб и заснут, никто уже не добудится.

— Он в военкомат решил, в армию. Кончает он с тайгой. Хотя до Абыя их довести, что ли?

— Не примет Коноваленко от вас, извиняюсь, милости, — возразил Гринь. — Да и какая от того помощь? Сорок километров, а там до Якутска еще остается девятьсот шестьдесят. Только для себя

успокоение. Зачем, извиняюсь, позориться перед ним? Страсть он того не любит! Грубостью вам ответит, обидит — того и добьетесь. Он всегда понимает, где дело, а где, извиняюсь, одна ерунда...

Я ушел от Гриня в смятении. Победа ли — обречь людей на страдания и уповать лишь на то, что они привыкли к ним? Может быть, просто по-хорошему поговорить с теми — и все сложности исчезнут? Просто поговорить... Больше мне не с кем советоваться, и не у кого искать утешения. Я должен пойти сам к тем троиц и уговорить их подождать моего возвращения от геологов. Передам им упряжку и нарги и помогу достать корма для собак. Нельзя предавать людей страданиям и лишениям на тысячекилометровом пути к Якутску. Подождать — вот все, что от них требуется! И конец мучениям — их и моим. Завтра еще раз схожу в юрту за протокой и поговорю.

Решив так, я сразу успокоился.

Вечером в фанерную дверцу моей палаточной комнатки бесцеремонно постучали. Вошел Данилов, стянул шапку с жестких волос.

— Собака на конбаза привел, — сказал он, останавливаясь у порога, — всех четырнадцать... Петро наказал зайти к тебе. Смотри, чтобы кто опять не выпустил. Федор злой, может дверь открыть, замок сбить. Кормить нада собак перед дорогом, иначе не потянут, исхудали совсем...

— Хорошо, спасибо, что предупредил, — сказал я. — Присаживайся, чаю выпьем.

— Чай пить не буду, — Данилов решительно мотнул головой и неожиданно предложил: — Хочешь, каюром с тобой поеду? Петро сказал, что ты согласишься меня взять. Вернемся в затон, опять буду работать плотником, из затона не убегу. Так Петро велел сказать.

Предложение Данилова было таким неожиданным, что я не сразу нашелся, что ответить.

— Гринь собирался ехать... — начал было я и осекся, поняв, что не то говорю. Коноваленко зря не посоветует.

— Гринь сказал, чтобы ты меня взял каюром, я с ним сейчас говорил, — сказал Данилов, глядя на меня спокойно и доверчиво.

— Хорошо, — решительно сказал я, — едем. Поговорю с Кирыщенко, чтобы тебя отпустили, Гринь в затоне нужнее. Помоги мне собак на ночь сюда перевести, вернее будет, как бы опять не своровали. Завтра с утра тронемся.

— С псами спать будешь? — недоверчиво спросил Данилов.

— Что сделаешь!.. — развел я руками.



## XVIII

Через час «операция» была закончена. В тепле собак разморило, они попадали на фанерный пол, высунули языки, часто-часто задыхались. Пол моей комнатки покрыл роскошный, разномастный ковер. Я сунул в печку кругляки и довольный своей предусмотрительностью улегся спать.

Проснулся я посреди ночи от ужасающей духоты и вони. Вскочил и, спасая свою жизнь, кинулся по собачьим телам к дверце в коридор. Вой, визг, стоны, рычание наполнили палатку. В комнатке началась всеобщая свалка, псы со сна вообразили, что кто-то нападет на них, и теперь беспощадно грызлись друг с другом. В коридор выскакивали жильцы соседних комнат в кальсонах и трусах, чиркали спичками и кидались ко мне. Кто-то спрашивал, что случилось, кто-то тащил двустволку, ведро с водой, полено.

— Не надо, — сказал я, перекрикивая вопли и рыдания псов. — Просто сейчас зажгу спичку, и тогда они опомнятся.

— Как же ты войдешь к ним? — воскликнул Пасечник. — Они тебя растерзают. Ну-ка, дай сюда, — он взял у кого-то двустволку и нацелился в звездную дыру в матерчатом потолке. Выстрел грянул у меня над ухом. В палатке разом наступила давящая тишина: молчали перепуганные псы, молчали оглушенные люди.

— Давай, входи, — сказал мне Пасечник, протягивая ружье его владельцу. — Да скорей же, пока они не опомнились... На тебе зажигалку... Ты что, сам испугался, что ли? Лица на тебе нет.

Он рванул дверцу в мою комнатку и чиркнул колесико зажигалки. Робкий огонек осветил комнату и сгрудившихся у матерчатой стенки псов. Клыки их были беззвучно очерены, глаза горели зеленым фосфоресцирующим пламенем.

— Вы что, очумели? — спросил Пасечник таким тоном, словно усовещивал людей. — Что вы творите, обормоты проклятые? Ночь на дворе, люди спят, а вы тут развоевались. Скоты!

Хищный огонь в глазах псов померк, хвосты дружелюбно завиляли, клыки исчезли.

Вдруг Пасечник зажал нос, выскочил в коридор и захлопнул дверцу.

— Вот и я там чуть не задохся, — извиняющимся тоном сказал я. — Понимаешь, вышел в коридор немного подышать...

— А они почему перегрызлись? — спросил Пасечник.

Кто-то не без ехидства заметил:

— Обиделись, должно...

Мои соседи принялись хохотать, дрожа от холода и пританцовывая на полу. Псы почувствовали, что опасности нет, и в ответ радостно залаяли.

— Забирай постель, иди к нам, — сказал Пасечник, — есть свободный топчан. Вдохни поглубже и врывайся к ним...

Остаток ночи я провел в тепле и покое.

Утром отвел собак в палатку на конбазу, с меня было вполне достаточно одной кошмарной ночи. Договорился с Кирющенко о том, что каюром у меня будет Данилов, приготовил к отъезду лыжи, одежду, сходил в магазин, запасся едой.

Сразу после работы еще раз отправился в юрту за протокой. Там был один Федор. Он сидел за столом перед керосиновой лампой с острым языком копоты на стекле. Пустыми глазами смотрел на меня.

— Чего ты влез? — спросил он. — Ну, чего? — сказал он громче и распрямил плечи. — Мало тебе было один раз: из-за тебя все мы перегрызлись...

— Насчет собак... — неуклюже вымолвил я, сразу растеряв заранее приготовленные слова.

— Тебе же выдали собак, так чего ты опять?

— Когда вернусь от геологов, забирайте упряжку, корму достану... — постарался я побыстрее выложить свою идею.

— Чего ты добрый такой? — насмешливо воскликнул Федор. — Чтоб совесть тебя не мучила, так, что ли? Может, за себя испугался? Надо будет, я собак возьму сам, у тебя не спрошусь.

— Неужели так трудно подождать? — спросил я, сдерживая себя.

— Не буду ждать, — сказал Федор. — Привязался!..

— Почему ты хочешь отсюда уехать? — решившись, спросил я.

Федор вдруг крикнул:

— Да уйди ты, слышь, не доводи... — Он хотел ударить меня, но как-то обмяк. — Прогнала меня Наталья... — заговорил он устало и безразлично. — Когда увидишь, скажи, что одна она у меня была на всем свете. Никого больше нету, ни единой души...

— За что она?.. — спросил я. — Может, помиритесь.

Федор тяжело вздохнул и уставился на меня горячечным взглядом.

— Не суйся в те дела! — сказал он с угрозой. — Не твоего ума... Скорый какой нашелся. Уйди отсель, а то я, знаешь, напоследок...

Как я вышел из юрты, как перебрался через протоку, не помню. Прошел в свою палатку, прилег на койку, не раздеваясь, так же, наверное, и заснул бы, если бы не услышал, что кто-то царапается в фанерную дверцу комнатки. Встал, включил электрическую лампочку, открыл дверцу. В коридоре стояла Наталья, в лице — ни кровинки. Вошла, остановилась у двери.

— Куда он едет, что будет делать?.. — негромко сказала она.

— Я был у него, он не хочет оставаться, — сказал я.

— Пойди к нему еще раз... Про меня ничего не говори, только — чтобы из поселка не уходил. Важно это, я с ним должна поговорить... когда успокоится. Пойдешь?

— Да что же это такое?! — воскликнул я. — Что случилось? Он не говорит, ты молчишь...

Она отрицательно покачала головой.

— Не могу, не меня касается. Пойдешь?

— Пойду. Успокойся, ну чего ты... — Я дотронулся до ее локтя.

Она наклонила голову и выскользнула из комнаты.

С утра я отправился к Федору. Дверь юрты оказалась распахнутой, внутри не было ни людей, ни вещей. Опоздал, ушли или уехали!

Я разыскал Гриня в конторке конбазы, спросил, не знает ли, куда они исчезли.

— Уехали ночью с попутной подводой в Абый, — сказал Гринь, сразу поняв, о ком я спрашиваю. — Пришли, попросили, я разрешил.

С досадой ударил я кулаком по столу.

— Эх, Гринь, что вы наделали! — воскликнул я. — Зачем отпустили? С Федором надо было поговорить еще раз...

— Я подумал, что лучше будет. И девушке, извиняюсь, спокойнее...

— Она знает?

— Откуда ей знать? Ночью уезжали, один я встал проводить. Они вам поклон передали. Коноваленко — тот понятно. От Федора, извиняюсь, никак не ждал.

— Как же теперь с ней быть? — проговорил я.

Опустился я на скамью около столика, кулаком сдвинул шапку на затылок, уткнулся лбом в кулак.

— Вы, извиняюсь, не убивайтесь, с радисткой я сам улажу, — сказал Гринь. — Вам ехать надо, мало ли что у геологов может приключиться.

— Она просила меня с Федором поговорить, — сказал я. — Надо было в тот же вечер, а я утра дождался...

— Ничего бы вы с Федором, извиняюсь, не поделали, — резонно возразил Гринь. — Стал бы он вас слушать? Ни в жисть! И с радисткой не надо вам говорить, и с Машей не надо. Я, извиняюсь, влияние на ее имею, я с ей и поговорю, объясню, чтобы радистке все обсказала. Так-то лучше будет. Кирющенко наказал, чтоб я вас сегодня с утречка пораньше отправил. Данилов собачек налаживает, идите за вещичками и трогайтесь...

В середине дня все было готово к отъезду. Нарты мы выкатили за поселок на берег озера в тальниковые залитые солнцем кусты, чтобы не позориться на людях, предвидя, что не так-то просто будет стронуть псов с места. На задке нарт лежал мешок с мерзлой рыбой, продукты и дорожные вещи. Я решил встать на свои лыжи и ехать на буксире, взявшись за веревочную петлю. Собакам будет легче и мне приятнее. Надел меховой комбинезон из собачьих шкур шерстью наружу, которому до сих пор не было применения, ушанку,

темные очки от солнца. Данилову Гринь выдал меховую рыжую доху до пят. Собак мы выводили попарно и впрягали в лямки. Каждая пара считала своим долгом прежде всего подергать лямки. Убедившись в их прочности, псы чинно рассаживались на снегу и, наострив ушки, с явным любопытством следили за появлением следующей пары собратьев и их поведением в упряжке.

Провожал нас один Гринь. От всех других жителей поселка время отбытия мы держали в тайне.

— Так что прежде требуется пробный забег организовать, — сказал Гринь. — Наперед станет ясно, кому всыпать... Слазь, Коля, я с ими общий язык имею...

Гринь скинул свою длиннополую шинель, остался во флотском кителе и, взявшись за передок нарт и качнув их, чтобы ослабить сцепление полозьев со снегом, протяжно крикнул:

— Подь, подь, подь...

Псы с любопытством повернули к нему головы и заулыбались, прижав ушки, покручивая носами и повиливая хвостами. Один только вожак, старый ездовой пес с широкой пятнистой грудью и сильными лапами, напрягся и рванул лямки.

— Сейчас я с ими, извиняюсь, на другом языке побалакаю...

Гринь оставил нарты и принялся ломать ветки тальниковых кустов. Собаки недоверчиво следили за ним. Но едва только он направился к нартам с пучком упругих ветвей в руках, как псы вдруг вскочили и, не разбирая дороги, рванулись вперед. Гринь успел схватиться за самый задок нарт и поволокся по снегу, оставляя за собой лоткообразную траншею. С разгона собаки и нарты врезались в тальник, лямки запутались в густых ветвях.

Вставая и отряхивая снег, Гринь сказал:

— С тальниковых прутков память к им разом возвернулась. Теперь пойдут — не утонишься. Хотя, конечно...

Мысли своей на этот раз он не закончил.

Мы вызволили собак и нарты из кустов и приготовились к старту. Данилов встал у передка нарт, я взялся за веревочную петлю. Перед нами расстилалась спящая гладь озер. Далеко впереди у самого горизонта темнела полоска тайги, на противоположном берегу. Хорошо стоять вот так в начале длинного пути, ждать ветра от быстрого движения, неизведанных далей, каких-то открытий — на том берегу озера, за поворотом дороги, за горным хребтом... Хорошо!

— Бывайте! — сказал Гринь и пожал нам руки. — В случае чего по задам их настегайте, деться им некуда, побегут, как миленьные. Вожака только не трогайте, я его давно знаю. Старик работает на совесть...

Гринь навалил на нарты впрок для порки псов ветвей тальника, крикнул: «Подь, подь, подь...» — и погрозил псам кулаком.

Упряжка рванулась. Данилов едва успел повалиться на нарты, я раскатился на лыжах, и наш поезд вылетел на озерные, твердые, как камень, снежные застрugi.

Легко было скользить на лыжах за собачьей упряжкой. Я чуть-чуть переступал с лыжи на лыжу и чувствовал по натяжению веревочной петли, что собакам легко. Нарты катились ровно, застрugi убегали назад, и я наконец поверил в собачий транспорт. Хорошо, что выстоял, не упал в снег, когда собаки рванулись, хорошо, что дорога уносится и уносится назад и что собаки бегут дружно, и что молод и силен... Хорошо!

---



## Часть третья

---





# I

По безлюдной улице многострадального, охваченного эпидемией Абыя среди плоскокрыших юрт мы промчались на полном ходу. Расспрашивать о дороге было не у кого и незачем. Данилов знал, как надо ехать к Аркале. Объяснял он мне по-своему, долго, я понимал, что общее направление на юго-запад.

За Абыем потянулись туманившиеся в сумерках озера, перелески, болота с одинокими остро обрубленными деревцами, на которые были насажены побуревшие болотные кочки — указатели пути. Солнце давно уже закатилось, горизонт тлел зловещим заревом, мороз крепчал. И — о чудо! — собачки наши бежали дружной ходкой рысью, не сбавляя скорости ни на минуту, казалось, позабыв о недавних своих проделках, охваченные одним общим порывом: добраться к жилью, куда стремятся люди, где дадут поесть и где за ночь можно отдохнуть. Что еще могло заставлять их гнать и гнать? Я прятал подбородок в обындивевшем вороте мехового комбинезона, старался почаще переступать с лыжи на лыжу, чтобы облегчить собакам их работу и самому согреться, прогнать колющий спину холодок. Скорее, скорее! Пусть холодно, пусть темно и поверхность снега едва различима, надо ехать, пока бегут собаки. Да и где мы можем остановиться на ночь в тайге? Надо доехать до ближайшей охотничьей юрты, когда бы она ни встретилась: ночью, утром, днем...

Упряжка помчалась с утроенной скоростью, и я, мгновенно освободившись от своих мыслей о дороге и нашей доле, выгибался и дергался то назад, то вперед, стремясь устоять на лыжах. Собачки вынесли нас на сумеречно-лиловое озеро с красно-бурой зарей у горизонта.

Раздали псам куски смерзшейся рыбы и вошли в юрту. Хозяева, поняв, что происходит около их жилья, ждали нас, на мороз им, видно, выходить не хотелось. На поду камелька под дымовым отверстием в плоской кровле горели только что брошенные в угли поленья, дерево едва занялось пламенем, старик якут подвешивал на цепь каган с оленьим мясом.

Желтое пламя горящих поленьев освещало юрту неверными бликами. Размаривающее первобытное тепло, исходящее поседшими от пепла углями, клонило ко сну. И было безразлично, когда кончится наша дорога и кончится ли вообще, и какие люди рядом, и что делается в замороженной бескрайней пустыне... Спать, спать, спать...

Я очнулся от вопроса хозяина:

— Какой твоя работа?

Он сидел около меня на «завалинке» и осторожно трогал за плечо. Проклинаю любопытство старика, борясь со сном, я стал объяснять, что мы едем проводить геологов, не больны ли?

— О, геолог! — воскликнул якут и весь преобразился, морщины у его глаз словно засветились, он нагнулся, заглядывая мне в лицо. — Геолог нашел уголь-камень, — быстро заговорил он. — Дорога Аркала построят, совсем другой жизнь начнется. Ты начальник?

— Нет, — сказал я, — так просто...

— Так просто не бывает. Доктор ты?

— Нет. Политотдел, газета, — невольно копируя неправильную речь старика, сказал я.

— Так, — с удовлетворением кивая, сказал старик. — Эта газета? — старик протянул мне листок нашего «Индибирского водника». — Хороший самокрутка получается, — простодушно сказал он. — Сын, однако, делает самокрутка, на охота пошел. Я трубка курю... Ой, уголь-камень нашел геолог, ой, дорога у нас построят...

— Откуда ты знаешь, что нашел геолог? — спросил я. — Был у геолога?

— Нет, не был, далеко геолог. Сын твоя газета читал. Газета нам сказал...

Ничего подобного в нашей газете написано не было. В одной из статей Рябова просто рассказывалось о задачах геологического отряда, о том, что геологи ищут уголь и, может быть, когда-нибудь найдут его. Я так устал, что у меня не было никакого желания объяснять старику его ошибку. Запах сварившейся оленины погрузил меня в состояние полного отупения. Только утром тепло юрты уже не казалось первобытным, дальнейший путь не представлялся пустынно-бесконечным. Все вокруг — и юрта, и старик, и тайга — наполнилось каким-то сокровенным смыслом. Вот и сюда дошла наша газета и породила современную легенду...

Перед отъездом я поставил на низенький стол банку со сгущенкой, буханку хлеба, пачку какао.

— Зачем? — спросил старик. — В дорога продукта нужна.

— Тебе тоже нужна, — сказал я, — спасибо за угощение, за ночлег. Спасибо, что газету читаешь.

— Человек без тайга нельзя. Человек без газета нельзя... — с такою искренней простотой сказал старик, что заподозрить его в лести было совершенно невозможно.

Я вышел из юрты сам не свой от охвативших меня чувств. Нужна наша газета, ох, как нужна. Повскакавшие со снега при моем появлении псы разом вернули меня к прозе жизни. На всякий случай я погрозил им кулаком в меховой рукавице. Они восприняли мой жест как недостойную шутку и принялись подвывать, выгибать спины и протяжно во всю пасть зевать, всем своим видом

показывая, что им наскучило безделье. Пламенеющее небо подкрашивало сугробы кармином, солнце готово было выкатиться в тайгу.

Мы накрепко привязали к нартам наши вещи и мешок с мороженой рыбой. Я схватился за веревочную петлю, Данилов раскочалял нарты, облегчая собакам первый рывок, и наш поезд помчался в синеющую даль озера. Скорей, скорей, скорей!..

К середине дня, когда сугробы в тальниковых кустах загорелись, как зеркала прожекторов, вдали показались горы. Затуманенные их грани едва возвышались над лиловой полоской тайги, тянувшейся по другому берегу озера. Горы были так далеки, что их можно было принять за серебристую нить облаков, за мираж, полосу тумана. Но все-таки это были горы, и едва я увидел их, все вокруг преобразилось. Я ощутил, как огромна равнина с озерами, по которой мы мчимся второй день. Огромна, но не бесконечна, ограниченная серебристыми горами... И как долго нам надо еще ехать. Долго, но вот же виден конец пути...

И все, что было передо мной — тальниковые кусты, слепящие сугробы, лиловая тайга на том берегу озера, синие заструги под лыжами, наши нарты, пушистые собаки, золотистый силуэт человека в кухлянке на нартах — все это стало каким-то необходимым, неизбежным, зовущим туда, к тем горам. То, что было рядом со мной, менялось: уходили назад кусты, приближался берег озера и полоска тайги набухла чернильной густотой. А далекие горы все оставались такими же — неподвижными и призрачными, похожими на робкую и протяжную мелодию скрипичной струны. Пока еще нерешительно тянется задумчивая мелодия. Она как будто успокаивает, и как будто тревожит, и зовет куда-то. И ты весь отдаешься ожиданию того момента, когда могучесть оркестра обрушится на тебя многоголосой лавиной... Как начало Девятой симфонии Бетховена. Откуда у гор такая власть над людьми?

Посреди озера упряжка внезапно остановилась. Данилов воткнул остол, короткую толстую палку, в снег между полозьев нарт, налег на нее плечом, и собаки, не в силах преодолеть торможение, встали. В снегу позади нарт осталась глубокая, до краев наполнившаяся тенью, борозда, будто канава, залитая синей водой. Я по инерции подкатил к нартам. Данилов поднялся, встал на затвердевший от ветров озерный снег, разминая ноги, как-то странно посмотрел на меня.

— Пройдем туда, — сказал он, кивая вперед, и, не оборачиваясь, зашагал по твердому снегу к горам.

Я скинул лыжи и пошел за ним. Мы прошагали мимо шарахнувшихся от нас собак и еще метров сто дальше. Я оглянулся на упряжку, собаки сидели, распустив по снегу хвосты, наострив ушки, и внимательно следили за нами. С каждым шагом и собаки и нарты как



бы уменьшались в размерах. А горы впереди нас оставались все такими же. И вновь я подумал о том, как еще далеки горы.

Данилов остановился и повернулся ко мне. Солнце сияло за его спиной, и смуглое лицо его ровно, без теней, освещалось отблеском снега. Мне показалось, что оно было таким же неподвижно-непроницаемым, как и много дней назад, когда я стоял перед ним в протоке около баржи и спрашивал про мою Пургу. Тревожное чувство охватило меня. Зачем он увел подальше от собак?

— Я хотел убивать тебя,— сказал он совершенно спокойным тоном.

Смысл его слов не сразу дошел до меня, и я молча смотрел на него. Лицо его оставалось непроницаемым.

— Что ты говоришь? — спросил я, начав осознавать то, что он сказал.

— Нас никто не слышит, даже собака...— сказал Данилов, не обратив никакого внимания на мой вопрос.— Самый глухой место, видишь, гора не близко и не далеко. Я хочу сказать тебе, чтобы ты знал правда. Я хотел убивать тебя около клуба, ночью. А попало Андрею, в темноте обознался.

— Зачем ты это мне говоришь?

— Хочу, чтобы ты знал правда. Ты, больше никто. Нас никто не слышит...— монотонно, как заклятие, повторил Данилов,— нас никто не слышит...

— Так это ты чуть не убил Андрея? — спросил я, не веря.

— Нас никто не слышит...— повторил Данилов.

— Но ведь я услышал,— сказал я.

— Ты никому не скажешь,— в голосе его появились угрожающие нотки.

## II

Я невольно скользнул взглядом по жемчужной нити гор позади парня, и на этот раз горы показались мне недостижимо далекими. Домчимся ли мы до них когда-нибудь?

— Ты никому не скажешь,— настойчивее и глуше повторил Данилов.

Я молчал. Повернулся и пошел к собакам. Данилов нагнал меня и, шагая сзади след в след, забормотал:

— Тебе все равно не поверят... Я ничего не говорил... Ничего не говорил...

Гнев охватил меня. Почему я молчу? Боюсь Данилова, боюсь его сумасбродств в этой дикой пустыне?..

Я круто повернулся.

— Ты сам скажешь,— крикнул я ему в лицо.

— Нет! — Данилов замотал головой.

— Трус! Негодяй!.. — в ярости крикнул я.

— Нет! — повторил он. В голосе его послышалась мольба. — Нет! Мне тюрьма...

Он вдруг опустился на снег, скрючился у моих ног и затих. Собаки вскочили и принялись визгливо лаять, воображив что-то неладное.

— Встань, — властно сказал я. — Собак пугаешь.

Данилов послушно поднялся, уронил руки, напоминая в своей кухлянке большого, похожего на человека, пингвина.

— Мне тюрьма... — не поднимая головы, тихо сказал он.

— Послушай, а зачем тебе понадобилось убивать меня? — спросил я, поражаясь, что до сих пор не задал ему этого вопроса. — Меня? Зачем?

— Сам не знаю, — сказал Данилов и простодушно взглянул на меня.

— Пошел убивать человека, даже не зная, за что? — негодуя, спросил я. — Как же так?

— Правда говорю: не знаю, за что... — Данилов беспомощно пожал плечами, отчего кухлянка встопорщилась и меховой капюшон наехал ему на глаза. Он поправил капюшон, высвобождая из меха свое лицо.

— Как же так?

— Пьяный сильно... Сердился на тебя, что ты в газета напечатал, какой я был плохой, весь затон узнал. Пьяный был, плакал, Федор тоже пьяный был, тоже плакал... Дальше, что было, не помню. Ночью прибежал в юрта к Федору, упал, совсем память потерял... Другой день он спросил: «Кто убил человек?» Я сказал: «Зачем я вино пил?» А он сказал: «Я ничего не помню, я тоже пьяный был». Я сказал: «Теперь я все вспомнил... Не выдай меня, тюрьма будет». Он сказал: «Ладна, не выдам...»

— Ну, хватит, и так все ясно. Ехать надо, время с тобой зря теем, пошли. Зачем ты меня сюда привел, собаки все равно человеческую речь не понимают?

— Собака чует, о чем люди говорит... Стыдна... — сказал Данилов, и я вдруг понял, как неуместен, смешон был мой страх перед ним.

Мы зашагали к собакам, я впереди, Данилов сзади. Неожданная мысль поразила меня.

— Послушай... — сказал я и остановился. Данилов тоже остановился и с любопытством смотрел на меня. — А почему уехал Федор?

— Наталья его прогнал... — с готовностью сказал он.

— А за что прогнала?

Данилов молчал. Опустил глаза и стоял передо мной, глядя под ноги. Я понял, что он знает и не хочет сказать.

...И опять мчится упряжка, и горы серебрятся у самого горизонта, и звучит задумчивая, робкая мелодия, предвестница многоголового лавины оркестра.

Солнца уже нет, алая заря у верхнего края переходит в янтарную желтизну, а еще выше — в изумрудную глубину небосвода. Гор тоже нет, они погасли с уходом солнца и снова встанут с его появлением. Мороз жжет лицо все сильнее и сильнее, белая опушка давно уже легла на ворот мехового комбинезона. Собравшись в пружину, я переступаю с ноги на ногу и бессознательно повторяю одни и те же привязавшиеся ко мне слова: «Скорей, скорей, скорей!..»

Глубокой оглушающе-звездной ночью мы останавливаемся рядом с темной юртой на краю тайги.

— Сто километр от юрта до юрта, — говорит Данилов, прохаживаясь сколо нарт. — Старик так говорил. Я тебе не сказал, думал, будешь бояться. Однако, доехали...

Пока он отвязывает мешок с рыбой, псы валяются в снег, сворачиваются колечками и прикрывают носы пушистыми хвостами. Сто километров за день!..

...И еще сто с лишним километров за следующий, третий, день. В сумерках мы катим по твердому, как мрамор, обдутому сумасшедшими горными ветрами снегу в русле Аркалы. Горы с темными пастями распадков отчетливыми громадами стоят на той стороне реки. Лагерь геологов располагается где-то на ближнем обрывистом берегу, мы чувствуем запах дыма, совсем рядом человеческое жилье. Блеснул огонек среди деревьев... Каскады музыки гремят, рушатся, снова выстраиваются, уходят в неимоверную высоту, заключая в себе все оттенки человеческих чувств. Триста километров за три дня!..

Утром в рубленой избушке со мхом в пазах между бревен, сидя за столом, на который выложены образцы горных пород, мы слушаем геологов. В отряде все спокойно, больных нет. Легенда старика стала былью: разыскали уголь, да еще коксующийся, за зиму прошли штольню по пласту. Запасы могут быть значительными, есть и другие выходы угля в обрывах берега.

Данилов не выпускает из рук угловатый, отблескивающий вороненой сталью кусок. То поглядит на него против света, то украдкой лизнет, понюхает. Но уголь не прозрачен, безкусен и не имеет запаха. Незаметно я слежу за ним. Ему хочется спрятать уголь в карман, но он кладет его на самодельный грубо сколоченный стол. Потом снова берет, разглядывает, проводит пальцем по темным граням.

— Подаришь мне уголь? — спрашивает он, обращаясь к начальнику отряда Горожанкину. Смуглое лицо Данилова еще более темнеет от румянца, он все-таки не спрятал угля украдкой, спросил, переборол себя.

Горожанкин крепок, сильная шея борца впаяна в ворот суконного кителя, густые пряди седых, свитых кольцами волос нависают

над крутым лбом. Каждое слово он произносит напористо, пристукивая по столу кулаком, отчего невольно слушаешь его с удовольствием, пустого слова не скажет.

— Возьми, возьми, — говорит Горожанкин и мягко пристукивает по столу. — Это, братец, твое богатство, якутский коксующийся уголек! Долго мы за ним охотились. Вот взять его будет трудно, дорога нужна, Аркала мелкая, не подплывешь.

— Дорога будем мы строить! — неожиданно говорит Данилов и так же, как Горожанкин, пристукивает по столу смуглым кулаком. — Строить будем дорога, — повторяет он, чтобы придать своим словам больше веса.

— Ну уж дорога — это действительно твое дело, — говорит Горожанкин полухутуда-полусерьезно. — Наше дело, уголек искать, твое дело — дорогу строить...

Данилов долго еще сидит рядом с нами, вслушиваясь в каждое слово Горожанкина и не отрывая взгляда от его лица. Никогда еще не видел я Данилова таким.

Отдохнув день, взяв образцы угля, мы пускаемся в обратный путь. Собаки бегут дружно, ровно. Теперь это настоящая упряжка. День стал ярче, солнце дольше не уходит за горизонт, зори пламеннее. А мороз к вечеру все так же жжет.

На равнине, откуда мы в первый раз увидели горы, Данилов останавливает упряжку — похоже, даже на том озере. Встает с нарт, подходит ко мне. Смотрит на меня долго, внимательно, хочет что-то сказать и, кажется, не решается. Узкие темные глаза его то совсем суживаются, то становятся шире, будто он задумывается на секунду, и опять суживаются. Кожа лица туго обтягивает скулы и впавшие за время поездки щеки.

— Ты никому не говори, — наконец произносит он. — Не нада тебе ничего говорить. Тебе не поверят. Я сам скажу. Мне поверят.

— Коля, — говорю я негромко, боясь, что совсем разволнуюсь. — Может, еще обойдется, ты же не убил Андрея, ранил только. Может, дадут условно.

— Что такое условно? — недоверчиво спрашивает Данилов.

— В тюрьму сажать не будут...

— Наказать совсем не будут? — Данилов смотрит на меня требовательно, строго, почти враждебно.

— Скажут: еще раз плохо сделаешь, тогда посадим.

— Нет... — Данилов качает головой, в меховом кашюшоне ему неудобно, он скидывает кашюшон назад, обнажая жесткие волосы. Ветер тревожит их. — Нет, так мне не нада. Я виноват, пускай, однако, накажут. Мне нада наказать. Хочу, чтобы все то осталась позади. Впереди дорога строить. Горожанкин сказал, дорога нам строить, он геолог, он дорога не строит. Нам нада. Пусть накажут, потом будем строить...

— Ну что ты опять остановил упряжку? — сердито, чтобы скрыть свои чувства, говорю я. — Ну чего мы здесь торчим?

— Я хотел тебе хорошо сказать, — с обидой в голосе произносит Данилов. — Помнишь, ты мне сказал: «Сам скажи...» Я решил, сам пойду к следователь. Думал, ты обрадуешься, а ты опять сердисься. За что?..

— Николай, послушай, — говорю я, смущенно опуская глаза, — нам надо скорее в затон. Надо уголь показать Кирющенко. Рябов в газете написал, что геологи ищут уголь — только пока ищут, понимаешь? Тот старик в юрте перепутал, решил, что уже нашли. А вышло — и в самом деле нашли. Никто не знает, кроме нас с тобой. Надо в газете написать, чтобы все знали.

— Нада, — соглашается Данилов. — Нада газета печатать, пусть узнают, газета все читают, газета всем нужен. Ты будешь писать, я буду машина крутить. Иван мне позволит машина крутить... — Он замолчал, потупившись. — Помнишь, ты спрашивал, почему Наталья прогнала Федора? Помнишь, тот раз, на озере?..

— Помню.

— Наталья ему говорила: «Иди к следователь, скажи, кто ударил ножом, ты знаешь, скажи, что и ты виноват, вместе вино пили...» Он сказал: «Не пойду...» Тогда Наталья его прогнала, сказала: «Уходи, хочу с правда жить, с тобой не хочу». Федор ушел. Так была, Федор сам мне сказал, когда уезжал с Коноваленко. Я хотел идти к следователю, а Федор уже уехал. Я побоялся, не пошел, с тобой поехал.

Так вот в чем дело, вот чего не захотела сказать мне Наталья. Я молчал, пораженный тем, что услышал.

Данилов, видимо, решил, что я не верю ему, и повторил:

— Так была, Федор мне сам сказал. Поехали, однако...

### III

В середине полыхающего дня мы ворвались в Абый и подкатили прямо к райкому комсомола, к двум слепившимся друг с другом просторным юртам. Я помнил, что позади них была яма с негодными потрескавшимися клыками мамонтов. Когда я приезжал сюда в первый раз, осенью, становиться на учет, эти клыки заворожили меня. На этот раз карманы моего комбинезона были набиты свертками с углем. Тоже пожадничал. Не так-то просто оказалось, стоя на лыжах, тащить на себе столько груза. Класть свертки на нарты я не решался, еще растеряются, мало ли что взбредет в темные собачьи головы.

На всякий случай мы привязали упряжку к забору и вошли в могильную темень юрты, сразу перестав видеть после изливающих необузданное пламя снегов. В сенах, в темноте нащупывая скобу две-

ри, я ощутил, как горит обожженное солнцем лицо. Мы ввалились в комнату и остановились у порога, привыкая к неяркому свету, льющемуся из крохотных оконца. В дальнем углу сидел Семенов и молча смотрел на нас.

— Здорбво! — хрипловато сказал я и негнушимися после лыж ногами зашагал к нему.

— Здорбва! — копируя меня, сказал Данилов и пошел рядом.

Так вместе мы и подошли к столу секретаря райкома и остановились перед ним.

— Ребята! — вдруг воскликнул Семенов и живо поднялся. — Да откуда вы? Не узнать вас, обгорели совсем...

Он с силой тряс наши руки, хлопал нас по плечам, все лицо его так светилось, что я почувствовал себя дома, хотя до затона нашим собачкам бежать еще часов пять.

Данилов сбросил назад капюшон, задрал тяжелую меховую полу кухлянки и вытащил из кармана кусок угля.

— Бери, — сказал он, протягивая уголь Семенову, — мне не жалка. Бери! Геолог уголь нашел, покажи всем. В райком многа народа бывает, всем покажи.

Работники райкома окружили нас, кусок угля пошел по рукам, кто-то выронил его, уголь ударился о пол, рассыпался на мелкие остроугольные кусочки.

— Ай, что сделал! — воскликнул Данилов, — зачем такой жадный?

Я вытащил один из моих свертков и выложил на стол несколько маслянисто-черных кусков.

— Любуйтесь и забирайте себе.

Семенов лукаво глянул на меня и рассмеялся.

— Осталось что Кирющенко показать?

— Еле стою, — усмехаясь, сказал я, — везде насовал.

— Да, это настоящее богатство. И твое и мое — настоящее. Пошли ко мне, чаем напою. Устали вы.

— Нельзя, — Данилов решительно покачал головой, — ехать надо, затон нада...

Семенов пристально посмотрел на него.

— Если надо, поезжайте, задерживать не буду.

В сенях Семенов остановил меня.

— Спасибо, — тихо сказал он.

После комнаты я мог различить в полумраке черты его лица. Он смотрел на меня строгими темными глазами, лишь белки мягко посверкивали.

— За что? — удивился я и его словам, и серьезности его лица.

— За Данилова. Я начал, вы в затоне кончаете, я тогда так и не смог с ним поговорить...

Я стоял подле Семенова и слушал повизгивание собак на улице.



Данилов наводил там порядок. Не мог я сказать Семенову всего, не имел права...

— И ты не за спасибо, и мы тоже не для благодарности,— сказал я, отводя глаза в сторону.— Уж так получилось...

— Я же вижу...— сказал он.

— Эх, Николай, не знаешь ты еще...

Он пристально взглянул на меня, помолчал и решительно сказал:

— Может быть, чего-то и не знаю. Так вы там в затоне лучше меня разберетесь, что делать.

В затон мы приехали поздно вечером. Улочка над протокой была пустынная, никто не видел, как мы подкатили к моей палатке. Данилов раздал собакам остатки мороженой рыбы. Мы дождались, когда они проглотили мерзлые куски, и распустили псов. Сначала они даже не поверили свободе, крутились около нас, толкались в колени своими носами, благодарили за еду. Но вот добродушный, хитрющий Тузик огляделся и со всех ног кинулся куда-то в темноту. Вслед за ним разбежались и остальные собаки.

Данилов постоял возле меня, глядя себе под ноги, и, не прощаясь, побрел к протоке. Хотел я его остановить, позвать к себе в палатку, и не смог, почувствовал, что он не примет ни жалости, ни просто сочувствия. Так я и остался один около палатки, под звездным небом.

Утром, выспавшийся, но все-таки бесконечно усталый, испытывая безразличие ко всему, я докладывал Кирющенко о поездке, выложил на стол куски угля. Он слушал молча, не прерывая, и в первый раз я уловил в его светло-водянистых глазах радость и что-то еще хорошее. А я думал о том, что Данилов не выполнил своего обещания, ничего не сообщил следователю, иначе Кирющенко сказал бы. С холодной душой, усталым глуховатым голосом рассказывал я о том, как мчалась наша упряжка, о геологах и о том, как они нашли уголь... И как-то совсем отдельно от своего рассказа думал о Данилове. Где он сейчас, спал ли в эту ночь.

Наверное, Кирющенко заметил что-то неладное, потому что своим обычным напористым тоном сказал:

— Берись теперь за работу в комитете. Андрей совсем выздоровел, мы проводили его с попутным самолетом в Якутск, учиться полетел, так что тебе одному заправлять. Навигация на носу, самое горячее время... А пока отдыхай денька два. Для газеты небось привез что-нибудь?

Не часто Кирющенко проявлял заботу о моем самочувствии, раньше я, наверное, умилился бы.

— Привез,— сказал я равнодушно.— Легенду одну...

Кирющенко посмотрел на меня критически, хотел было высказаться, но промолчал.

Часа через два он вызвал меня из редакции посыльным.

— Как вел себя Данилов во время поездки на Аркалу? — спросил он.

Я понял, что Данилов выполнил свое обещание.

— Хорошо, — ответил я, чувствуя, что лицо мое теплеет. — Без него я, наверное, не доехал бы.

Кирющенко опустил глаза, острая складочка залегла меж его светлых бровей.

— Ты не помогал Данилову составлять его показания? — холодно спросил он и, подняв на меня глаза в упор, добавил: — О том, что оба они с Федором пьяные были, ничего не помнили?..

Вся кровь бросилась мне в лицо.

— А как вы думаете?.. — резко сказал я.

— Мало ли как могло получиться, — спокойно сказал Кирющенко. — Ты от ошибок тоже не застрахован. Дело серьезное, Федор сбежал, показаний от него не получишь. Чем Данилов докажет, что говорит правду, — не понимал, что делал?

— Он не станет доказывать, — сказал я с вызовом. — Считает, что ему поверят.

— Это он, вчерашний охотник, считает, — округлив глаза, воскликнул Кирющенко. — А ты, работник политотдела, подумал о том, что закон — для всех закон? Подумал, как парня из беды вызволить, если ты его защищать взялся? В амбицию ударился, какую-то там... легенду привез вместо заметки в газету...

Усталость, обида и горечь оттого, что Кирющенко не понимает меня, захлестнули душу. Я тяжело поднялся и пошел к двери. С каждым шагом я ждал, что Кирющенко окликнет меня, заставит вернуться. Он молчал, и я вышел из комнаты.

Улочка над протокой с длинными бескрышими бараками и выцветшими палатками была полна голубого сияния. После комнаты я не мог смотреть от ослепляющего света и почти совсем зажмурился. Навстречу мне кто-то шагал. Присмотрелся — Данилов. Ушанка сидела на его голове боком. Я потер глаза и встал спиной к солнцу.

— Тебя искал, — воскликнул Данилов вместо приветствия. — Все я сказал, следовательно бумага писал, потом дал мне подписать, сказал, выезжать нельзя. — Он, видимо, воспринял мое молчание как результат недоверия и развел руками: — Все сказал, как было сказал... Следователь говорит: «Иди, работай...» Я пошел.

— Знаешь, что, — воскликнул я, словно просыпаясь от тяжелого сна, — идем, Расскажи Кирющенко, как все было.

— Раз нада, идем, — покладисто согласился Данилов.

Мы пошли в контору. Я распахнул дверь кабинета, смиренно спросил:

— Можно?

Кирющенко помедлил, милостиво разрешил:

— Если с делом...

Данилов принялся рассказывать, как и мне на озере: «Он сказал...» — «Я сказал...» — «Он сказал...» Кирющенко терпеливо слушал.

— Куда денешься, нада наказывать,— закончил Данилов свое повествование.— Потом дорога буду строить...

— Какую дорогу? — спросил Кирющенко, вытянув шею и уставившись на Данилова. Такого конца он, видимо, не ждал.

— Какая дорога? — удивился Данилов.— Ты не слыхал? Дорога уголь. Горожанкин сказал: «Я уголь искал, ты дорога будешь строить. Мое дела уголь, твоё дела дорога». Так Горожанкин сказал.

— Вот это и есть моя легенда,— не удержался я.

Кирющенко смотрел на нас во все глаза, и едва приметная улыбка закралась в его настороженный взгляд, тронула губы.

— Он у тебя в драмкружке был,— сказал Кирющенко, сразу обретая деловой вид.— Можешь ты написать ему характеристику для следователя? Все-таки общественная работа.

— Могу,— сказал я.— Конечно...

— Собрал бы сегодня комитет, план работы тебе надо утвердить, в разном — характеристику. Ну, а отдыхать, как видишь, некогда.— Кирющенко развел руками.— Что сделаешь, потом, когда-нибудь... После навигации уже.

## IV

Скрипнула дверь, в щель одним плечом протиснулся Гринь в своей шинели и ушанке с эмблемой Севморпути. Кирющенко опасливо глянул на него, сказал:

— Сейчас они освободятся, выйдут к тебе.

— Извиняюсь, я к вам доложить...— сказал Гринь, не прикрывая дверь, но и не входя в комнату, будто застряв в щели между дверью и косяком.

— Только покороче,— сказал Кирющенко, хмурясь,— у меня сегодня дел невпроворот, списки судовых команд, бригад грузчиков.— Он кивнул на стол, заваленный бумагами.

Гринь вошел в кабинет, стянул ушанку и потряхнул руки нам с Даниловым.

— С приездом,— сказал он.— Как, извиняюсь, собачки себя показали?

— Сто километр день, однако,— торжественно сообщил Данилов.

— Тузик не чудил? — продолжал Гринь свои расспросы, не обращая ни малейшего внимания на Кирющенко.— Извиняюсь, хитрющий пес, только я с им и справлялся. Сейчас сюда, к Александру Семеновичу иду, а он подбежал, носом в колени ткнулся, соскучился, должно. Понимает, что теперь с им заигрывать некогда, и не опасается...

— Гринь,— перебил его Кирющенко,— я же сказал, сейчас они к тебе выйдут.

— Я, извиняюсь, к вам доложить прибыл,— сказал Гринь, ни мало не теряясь.— Даром, что псина,— продолжал он, снова обращаясь к нам с Даниловым,— а душа у него все ж таки есть...

— Какое у тебя дело? — снова перебил его Кирющенко.

— Так что, Александр Семенович, радистка и Маша, уборщица, в моем штатном расписании, в Абый бегали Федора искать, сами не в себе, как рехнулись...

— Бросил он Наталью,— сказал Кирющенко.— Что она раньше думала, с кем связалась? Отец запрашивает, все ли с ней в порядке. Как ему отвечать?

— Ни о чем она, извиняюсь, не думала. Если бы каждый наперед думал, так дети бы не рождались,— философски заметил Гринь.

— Поговори с ней, объясни,— поворачиваясь ко мне, просительным тоном сказал Кирющенко.— Скажи, пусть отцу напишет.

— А все ж таки вы бы, извиняюсь, с ей сами поговорили,— пришел мне на выручку Гринь.— Вы у нас, как сказать, главный по политической линии...

— Так тут, Гринь, не политика. Что тут сделаешь? И голова не тем занята, опять с этой васильевской баржей в главном русле... Того гляди, ледоход начнется.

— Оно хотя и взаправду не политика, а все ж таки, извиняюсь, до вашей должности как бы больше тянет. Ваше это дело,— твердо сказал Гринь.

Кирющенко вздохнул. Долго сидел, опустив глаза. Мы не мешали ему и не уходили.

— А ведь действительно мое,— раздумчиво сказал Кирющенко.— И вот этого я и не умею. Прав, пожалуй, Рябов, не научился и меня не научили. Да и кто научит?

— А вы наперед подумайте, что ей сказать,— не замедлив, научил Гринь.— Я бы к примеру, извиняюсь, в ее положении очутился, да сказали бы мне тогда человеческие слова,— все бы полегче было... Прислать ее к вам?

Кирющенко из-под светлых бровей поглядел на него и усмехнулся.

— Я, Гринь, сам с ней встречусь, без всяких посредников и явок на беседы.— И сердито добавил: — Сам я, понятно?

— Понятно,— с готовностью сказал Гринь,— чего же тут непонятного? Так оно и должно быть...— Гринь поворошил волосы, пытаясь загладить их в одну сторону, и снова повернулся к нам с Даниловым.

— Так что с приездом вас,— сказал он,— намаялись, должно, под завязку?

— Гринь, пошли, — сказал я и встал.

За мной поднялся и Данилов. Втроем мы вышли из конторы и остановились на высоком берегу протоки.

— Комнатку выделил им обеим, извиняюсь, на конбазе, — заговорил Гринь, — конторку свою. Вместе им повеселее. — И словно оправдываясь, продолжал: — Утром они все одно на работе; наряды выпишу, с возчиками инструктаж проведу — и все дела, помещение высвобождаю... Есть им нечего, неделю не работали, Федора искали, без вас в Абый по морозу-то в своей одежонке легонькой бегали. Уж как обе живы остались, и не знаю. И денег не берут. Вот принесу им хлеба, чая, сахара, положу на стол и уйду. Тем только и живут.

Гринь заторопился по своим завхзовским и конбазовским делам, мы остались вдвоем с Даниловым.

— Позови, когда машина крутить, — сказал он мне на прощанье.

Я вернулся в редакцию. Мне хотелось одного: спать, спать, спать... Рябова я только что встретил, он шел с выправленными полосами газеты к Кирющенко. Вернулся он быстро и, растормошив меня, пробуждая от липкой дремы, напустился:

— Где твоя «Легенда»? Давай ее срочно в набор, в текущий номер. Кирющенко опять мне весь номер переломал, хочет, чтобы я свою передовую снял ради места для твоей «Легенды»... Конечно, еще и перо в чернила не макал. А я торопился, думал, ты все написал, материал лежит у меня на столе.

Я хмыкнул: Рябов с Кирющенко ссорятся, а мне отдуваться, отдохнуть не дадут... Прямо так — с ходу подавай какую-то... эту... Легенду!

Окончательно просыпаясь, я сказал:

— Все ты с ним ссоришься, ссоришься, а на мне отзывается. Что же ты не мог настоять на своем, не дать ему номер тасовать?

Рябов укоризненно покачал головой и произнес:

— Ну и ну!

— Что «ну и ну»?

— А то, что он же на этот раз прав! Как ты понять не можешь? Зачем мы тут торчим, как не затем, чтобы поглубже заглядывать в жизнь? Ты из самой, можно сказать, глубинки вытащил свою «Легенду», а я-то, да и ты сам, — за что мы воюем? Ну-ка, садись и работай! Впереди вся ночь, еще выспишься.

Я стиснул зубы, взял ручку и углубился в работу. Праздники души бывают редко, все решается будничным трудом. Хочется тебе или нет, работай. Святое слово — работа!

Вечером Данилов крутил маховик печатной машины. Иван хотел было включить мотор, электроэнергия на этот раз была, но Данилов сказал, что номер газеты с «Легендой» он отпечатает лучше, чем бездушный мотор. Он прочел мой очерк в гранках, прекрасно понял смысл, подтекст о новой жизни в тайге и крутил маховик с таким

усердием, что через полчаса лицо его покрылось потом. Отпечатав тираж, он осторожно взял газетную полосу и под электрической лампочкой долго вглядывался в ярко оттиснутые строчки и шевелил губами.

— Можно взять газету? — спросил он у Ивана.

— Дарю, — сказал Иван. — Хочешь, вторую дам?

— Мне одна нада, пускай другую люди читает, — сказал Данилов и нахмурился, видимо, рассердился на Ивана за расточительность.

Он старательно сложил газету, спрятал ее в карман пиджака, дождался, когда и я просмотрю газетные полосы, и пошел вместе со мной в комнату редакции.

— Следователь сказал — свидетель давай... — без всякого предисловия начал Данилов. — Наталья видела, как Федор вином меня угощал и я вином его угощал. Наталья говорила нам: «Не нада».. Мы ее не слушали и до беспамятства дошли... Ничего я потом не помнил. Так была. А следователь не верит, говорит — свидетель давай... Может, говорит, ты чужую вину на себя берешь...

Я ждал, что он еще скажет, уж очень неожиданно было услышать про Наталью и следователя. Данилов молчал и тоже смотрел на меня в ожидании.

— Ты сказал следователю, что Наталья все знает? — спросил я. Данилов покачал головой.

— Нет, не сказал... Получится, что Федор тоже виноват.

— Ты думаешь, Наталья не захочет рассказать?

— Она не расскажет, — с уверенностью сказал Данилов, продолжая смотреть на меня.

— А если расскажет? — спросил я, понимая, однако, что Данилов прав.

— Нет... — сказал Данилов и опустил глаза. — Ты не думай о ней плохо, — добавил он. — Наталья не расскажет, она любит Федор.

— А следователь верно говорит, нужен свидетель, — сказал я в раздумье. — Поговорил бы ты с Натальей.

Данилов лишь молча отрицательно покачал головой.

Спустя неделю, возвращаясь из мастерских в редакцию с замечками для очередного номера, я неторопливо шагал по тропке через полосу тайги, отделявшую одну часть поселка от другой. Осложнение со свидетелем для Данилова не давало мне покоя. Может быть, мне самому поговорить с Натальей?.. Среди деревьев нахлынула волна нежного аромата, как и тогда, во время плавания на «Индигирке». Я невольно остановился, с трудом освобождаясь от своих мыслей. Подле стрелчатых, столпившихся бок о бок пепельно-серых, лишенных хвои лиственничек вытаили из-под снега ветви с почерневшими прошлогодними листьями, кто-то расширял здесь осенью или прошлым летом тропу и порубил тальник.

По тропе навстречу мне шла Маша в стеганке с узко схваченной



талией, с платком, сброшенным на худенькие плечи и освободившим тугие струи иссиня-черных на солнце волос. Она еще не успела заметить меня в переплетении теней на снегу. Видимо, и она почувствовала запах притретых солнцем ветвей тальника, остановилась, закрыла глаза, в которые било солнце, и глубоко вздохнула. Ноздри ее расширились, губы едва обнажили полоску зубов. Она стояла неподвижно, отдав лицо солнцу, всей грудью вдыхая свежий воздух.

— Опять тальник пахнет...— сказал я и тотчас раскаялся в своем неосторожном восклицании: зачем было ее тревожить?

Она вздрогнула, открыла глаза и поспешно накинула на волосы свой темный старенький платок.

— Весна пришла...— сказала она. Тень пробежала по ее лицу, и она совсем неожиданно для меня, без всякой последовательности тихо произнесла: — А у Натальи ребеночек будет... Федоров, он и не знает. Наталья постеснялась сказать про то Кирющенко, когда он приходил с письмом от отца. Скажи сам, попроси разыскать Федора.

Я не находил, что сказать. Она обошла по сугробам место, где я стоял, с трудом вытаскивая из вязкого снега свои маленькие валенки. Выйдя на тропу, быстро и легко зашагала прочь. А я все стоял, вдыхая аромат увядшего тальника, и мне почему-то вспомнилась Наталья, какой я видел ее на пароходе — в лыжном костюме и Федоровой телогрейке, вспомнился морской рейд и мое главное стремление найти на Севере выдуманных героев.. И выстрел в тайге вспомнился, и Данилов, и Федор, какими они тогда были. Жизнь не может быть плохой или хорошей, жизнь такая, как есть, но у каждого в ней своя судьба...

## V

В редакции я рассказал Рябову о том, что узнал от Маши. Как-то повелось, что я стал рассказывать ему многое: о непонятном отношении ко мне Натальи, о том, что следовательно нужен свидетель, а Данилов не хочет просить Наталью... Рябов обычно был скуп на советы.

Мои слова о том, что Наталья ждет ребенка, произвели на него странное действие: он выслушал меня, оставил недописанную статью, молча встал, напялил ушанку, флотскую шинель и вышел. Я догнал его в холодном коридоре, спросил, куда он. Мне пришла в голову дикая мысль, что он направляется к Наталье. Зачем?

— На почту, — сказал он, — письма жду...

Рябова не было до самого вечера. На следующий день он появился в редакции хмурый, молчаливый. Я спросил, получил ли он письмо, которое ждал. Он отрицательно покачал головой.

— Якутская почта на оленях только сегодня в обед придет, — сказал он. И неожиданно продолжал: — К чужим детишкам прикипел, как — и сам не пойму. Придешь вечером к себе, ляжешь, по-

тупишь свет и заснуть не можешь. Их мордашки, как живые... Особенно старшенькой... Если с почты не вернусь, ты уж как-нибудь тут сам... Полосы для Кирющенко подготовь, с утра надо будет снести.

С почты Рябов опять не вернулся. Не пришел он и на следующий день. После обеда я взял у Ивана две выправленных полоски и отправился в контору. Беря у меня корректуру, Кирющенко не поинтересовался, где Рябов, хотя я опасался такого вопроса. Заодно я рассказал и о просьбе Маши. От себя добавил, что если бы отыскался Федор, был бы и свидетель.

Кирющенко слушал, опустил глаза, и тонкая короткая морщинка меж бровей рассекала его лоб. Он взглянул на меня и развел руками:

— Где же теперь его сыщешь?.. — Помолчал и спросил: — Ты когда-нибудь с Рябовым разговаривал, как он живет, что у него дома, в семье?

Я с подозрением посмотрел на Кирющенко, знает ли он что-нибудь и почему спрашивает? Рассказывать о разводе мне не хотелось, Рябов на это меня не уполномочивал.

— Да так... — неопределенно сказал я, — немного...

— Что же ты? Работаешь вместе с человеком и даже не поинтересовался, как он живет, что у него... Хорошо ему или плохо. Может, помочь чем надо. Меня учишь уму-разуму, а сам?.. Сам-то ты как с человеком?

Я слушал, опустил глаза, не смея взглянуть на Кирющенко. Что скажешь, прав он. Рябов в порыве откровенности рассказал, а я и не подумал прийти к нему, посидеть вечером, да просто вместе чаю выпить...

— Письмо он какое-то получил, — продолжал Кирющенко не укоряющим другим тоном, — как будто от дочери. Не мог я у него понять, что-то в семье случилось, девочка просит приехать... Гринь утром пришел, сказал, что Рябов в беспамятстве. Я у него был, смотреть страшно. Люминала принял, видно, чтобы заснуть поскорее, врачи говорят, не рассчитал, большую дозу принял, отравление наступило. Лежит поперек кровати, одного стекла в очках нету, меня не узнает... И в комнате холодина, печку с вечера не затопил. Кое-как поговорил с ним... Как это у нас получается: живем рядом и не знаем, что с человеком.

— Я к нему пойду... — сказал я, едва сдерживаясь, — потом за полосами вернусь...

— Незачем идти, в больницу отвез, — сказал Кирющенко, — партбилет забрал, в сейф положил. Врачи говорят, схватил воспаление легких. Принимай пока редакционные дела, будем надеяться, ненадолго. В общем, выводы нам с тобой надо делать... Вот так сорвался человек, а мы с тобой где были? — Кирющенко окинул меня пристальным взглядом. — Ты-то сам сейчас не вздумай психовать,

работать некому будет, что надо было — сделали. Там за ним Наталья присматривает, ей довериться можно, все перья распустила, никого к нему не пускает, меня сразу выпроводила. Поставит его на ноги, точно я тебе говорю, человек она такой... — Кирющенко помедлил, подбирая слово, — надежный. — Помолчал, глядя в пространство, и добавил: — Знает она откуда-то, что у него в семье неладно, то ли Гринь сказал, то ли прочла письмо, с ним было... Я пока здесь полосу считаю, а ты иди принимайся за следующий номер, одному теперь придется. Нельзя, чтобы газета у нас задерживалась, не простит нам этого народ. Все, можешь идти!

Очередной номер газеты вышел, как всегда, без опоздания — в среду, а я уже сидел над материалами следующего номера. В тот день, когда Рябову стало плохо, после разговора с Кирющенко, я отправился было в больницу. Наталья и на порог не пустила, встала в дверях в накинута на плечи пальтишке и вымолвила одно только слово: «Уходи»... Теперь же я решил, что можно навестить больного, хотел порадовать оттиском корректуры.

Рябов лежал, не похожий на себя, обросший клочковатой, темной с рыжим отливом щетиной, осунувшийся, ослабевший. Неподвижные руки его поверх одеяла приобрели странный восковой оттенок. Глядел я на него и испытывал неловкость оттого, что сам здоров и лицо после мороза в теплой палате горит румянцем. Я оглянулся, нет ли поблизости Натальи и вытащил из-за борта кителя свежие полосы, развернул их. Лицо больного чуть-чуть оживилось, он слабо прикоснулся к сыроватым листам корректуры. Ноздри его дрогнули, их достиг острый запах свежей типографской краски.

— Оставь, — сказал он, — пусть рядом лежат. Гринь обещал очки починить... Мне здесь еще недели две с гаком лежать — Наталья сказала. А доктор говорит: «Там видно будет...» Не сочти за труд, приноси корректуру и газету.

Вошла Наталья, зыркнула глазами на полосы, сказала, что время посещения истекло. Я ушел, не спросив Рябова, какое письмо он тогда, уйдя из редакции, получил. Лишь на следующий день, когда Наталья оставила нас вдвоем, сказав, что пойдет проведать Машу, я решился спросить. Рябов закрыл глаза и долго лежал, не отвечая. Он не брился, борода отросла еще больше. И борода и болезнь старили его.

— Плохо, брат, получилось, — заговорил он, взглядывая на меня. — Старшенькая написала, что отца не любит, знать не хочет, зовет приехать, говорит, что со мной хочет остаться. Такой разлад у них там начался...

Рябов снова закрыл глаза и лежал неподвижно, отдыхал. Ослаб совсем за время болезни. Взглянул на меня и продолжал:

— Уж такими она словами просила приехать... так уж всю свою душу мне раскрыла... А письмо всего ничего: половинка тетрадь-

ной странички... в клеточку... Лежу и думаю: нельзя мне к ним ехать. Что там начнется — ад крошечный... Девчушка мать любит, я знаю. Как ее от матери оторвешь? Лежу и думаю: исчезнуть надо для той семьи, перестать существовать. Не имею права напоминать им о себе. Тут уж не во мне дело, а в них, во всех них. Я как-нибудь перетерплю. Выдержу как-нибудь. Поправлюсь, окрепну, а остальное сама жизнь за меня доделает. Спасибо Наталье, самое страшное помогла перетерпеть. Сидит подле ночью, я ее гоню, спать иди. Нет, сидит и ждет, когда я усну. Глаза пробовал закрывать — не уходит, знает, когда я хитрю, а когда в самом деле засыпаю...

Через день я снова зашел в больницу со свежееотпечатанной газетой и понял, что Рябову стало немного лучше. Наталья сразу ушла, не стала нам мешать. Он расспрашивал о делах в затоне, о том, что планирую дать в следующий номер. Я рассказал, как близко к сердцу принял Кирющенко его болезнь и как выговаривал и мне и сам себе за невнимательное отношение друг к другу.

— На пользу пошла ему твоя наука, — усмехаясь, сказал я. — Что там ни говори, а понимает он свою слабину... Бывает он у тебя?

— Каждый день, — сказал Рябов и помолчал. — Понимаю, что добра мне хочет и душой не кривит, и не могу с ним просто. Неловко как-то, знаю, что отрывает время от своих дел, что они ему покоя не дают, и не могу слова по-человечески сказать. Глупо, взрослый человек, редактор, — Рябов усмехнулся, — и не робел перед ним никогда; что не робел — спуску ему не давал, когда считал его неправым. И вот не могу просто так с ним... Вижу, что он ждет объяснений, знаю, что поможет, сделает все, о чем его попросить, даже на «материк» отпустит, и все равно не могу. Вот ведь привычка въелась к этим деловым разговорам. Больше тебе скажу: как увижу его в дверях, радуюсь, как бы сама жизнь ко мне в палату заглянула с ее противоречиями, суматохой, напором... Так бы, кажется, и поговорить с ним о затонских делах, о судоремонте — с ним же всегда интересно, ты знаешь... А вот сядет он здесь и вижу — сказать ему мне нечего, не привык он так просто болтать, а о деле ему врачи не разрешили со мной разговаривать, чтобы не волновать. Сидим друг перед другом истуканами и молчим... Оставим эту скучную тему. Как там у Данилова? Все еще свидетеля требуют?

Я рассказал, что недавно был у следователя, хотел выяснить, нельзя ли обойтись без свидетеля. Он спокойно объяснил, что верит Данилову и хочет ему добра, но без свидетельских показаний смягчить приговор суда будет трудно, закон есть закон. А Данилов все еще не хочет просить Наталью сходить к следователю.

— Ей, знаешь, тоже не сладко, — сказал Рябов. — Я как-то тут завел было разговор о Федоре, вижу, глаза слезами набухают, и замолчал. Любит она Федора, и ничего ты не сделаешь. Какой он ни есть, любит, и все! И слава богу, что на свете еще есть такая

любовь. Ты знаешь, я не сторонник высокопарных выражений, у тебя всегда их вычеркиваю, а тут хочу сказать: да здравствует любовь!

Я подумал, что он начинает выздоравливать, и не только от воспаления легких. Жажда жизни постепенно возвращается к Рябову.

На улочке у больницы от избытка чувств я глубоко вдохнул холодный и какой-то необычный, не просто прозрачный, а цветной — синий воздух. Огляделся и впервые за эти тягостные для себя дни вдруг увидел, как все — и близкая тайга с кое-как понатыканными на прикрытом снегом болоте лиственницами, и поселок, и снега за домами, и сам воздух — все стало синим и налилось обжигающим глаза светом.

Я шел по улочке над протокой к дому редакции и думал о том, как хорошо жить и как еще много нам надо сделать — всем нам, в нашем крохотном поселочке, чтобы встретить навигацию окончанием судоремонта. Но думая о судоремонте, я почему-то представлял себе не пароходы и баржи, не паровые машины и привальные брусья, а людей, с которыми жил бок о бок и которые, как мне казалось, сейчас так же радуются и свету, и синему воздуху, и просто жизни...

## VI

Солнце сияло в чистом небе напролет с утра до ночи. Сугробы заметно осели, кое-где их бока оплавились тонкой стеклянной корочкой, щепка около домов и палаток вытаяла и зачернела. Вечерами тайга за поселком, уставшая от дневного голубого огня, стояла сонная, покойная, отдаваясь легкому морозцу. В стеклянной тишине на улочке был слышен ровный перезвон — под ногами лопались выросшие за день в сторону солнца ледяные иглы... У всех проснулся бродяжий дух, в затоне только и разговоров было о близившейся навигации, о скором завершении судоремонта и о том, кто на каких судах будет плавать. Да и я, лишь недавно вкусивший речной жизни, вглядываясь в слепящую даль пока еще замерзшей, но вот-вот готовой вскрыться реки, испытывал странное беспокойство.

Как-то разом потеплел ветер. Дома на берегу стали словно проваливаться: вода в протоке, поднимаясь со всплывшими судами поверх примерзшего ко дну льда, топила береговую кручу. В главном русле Индигирки по сизому льду потекли робкие прозрачные струи и засинели речные дали. Лед полутораметровой толщины на Индигирке вместе с пятисоттонной баржей, стоящей на городках, стал медленно подниматься, а воды в пробитой во льду, к устью протоки, канаве все еще не хватало для того, чтобы баржа всплыла и ее можно было бы до начала ледохода вдернуть катером в протоку.

И опять, как и во время зимнего аврала, решили взорвать лед

ниже устья протоки и успеть до ледохода увести баржу в затон. На Индигирку лишних людей не пускали. Стáриков приказом объявил, что подготовка к навигации всплывших в протоке судов должна идти обычным порядком и что во взрывных работах и буксировке баржи будут участвовать лишь назначенные им люди под его личным руководством. Опять он брал на себя ответственность за исполнение сложного и опасного дела.

Меня никто не приглашал на взрывные работы, действовал приказ Старикова посторонних не пускать. Я просто пришел ранним утром на берег Индигирки. Рябов все еще лежал в больнице, кроме меня, другого представителя редакции во время важного события быть не могло. Около устья протоки лицом к лицу столкнулся с Кирющенко. Он был занят разговорами со Стариковым и подрывниками, среди которых стоял Луконин, но все-таки на минуту оторвался от них и спросил, как здоровье Рябова, просил сказать, что сегодня не сможет у него быть и тут же продолжал уточнять план взрывных работ. Сказал, что запальные шнуры надо увеличить вдвое против технически необходимой длины, заведомо обезопасить рабочих от преждевременного взрыва. Стариков согласился. Темная баржа, виновница всеобщего беспокойства, сиротливо стояла в отдалении посреди разлившейся поверх льда воды. Казалось, что воды вполне достаточно, но на самом деле она была неглубока и баржа все еще покоилась на скрытых под поверхностью потока городках.

Взрывники в стеганках, резко выделявшихся густой чернью на серебре идущей поверх льда воды, и в сапогах выше колен, с кайлами и пакетами взрывчатки, привязанными к палкам, спустились к реке и спокойно, точно они шли по улочке поселка, небрежно разбрызгивая воду, запагали по льду Индигирки. У каждой скважины работало по двое: один бил во льду отверстие, другой закладывал в него палку со взрывчаткой. Цепь взрывников ясно определила план взрыва: они расположились ниже протоки, охватив баржу полукольцом, примыкавшим одной стороной к берегу. Первыми подожгли бикфордовы шнуры самые дальние и побежали к нам. Дождавшись их, поджигали шнуры те, кто был ближе к берегу.

И вдруг, когда все уже столпилось на откосе берега в ожидании взрыва, на той стороне Индигирки показалась темная фигурка спешившего к реке на лыжах человека. За плечами у него виднелся ствол ружья, весь он был чем-то увешен. Он съехал по мокрому снегу и раскатился по льду, покрытому водой.

— Охотник! — воскликнул Кирющенко. — Откуда его нелегкая?..

Человек быстро заскользил по льду прямо навстречу торчавшим из скважин палкам, на которых невидимо тлели запальные шнуры. Концы их, согласно просьбе Кирющенко, были оставлены длинными, и всем нам стало ясно, что охотник добежит до палок в тот момент, когда заряды начнут рваться один за другим и крошить лед.



— Стой! Стой! — закричал Луконин и взмахнул рукой. — Куда-а?! — Заорал он и неожиданно для нас бросился к реке и, отчаянно разбрызгивая воду, побежал по льду навстречу охотнику. — Стой!.. Стой!.. — кричал он, на бегу взмахивая руками.

Охотник было остановился, но почти тотчас, видимо, не понимая, в чем дело, двинулся дальше. Луконин подбежал к нему у первой, дальней, вешки со взрывчаткой, с разбега налетел на него и повалил на лед. Неподалеку от барахтавшихся на льду темных фигурок высоко вверх взметнулся фонтан воды, перемешанной с кувыркающимися и отблескивающими на неярком солнце раннего утра кусками льда, и только вслед за тем дрогнула земля под ногами и донесся оглушающий грохот взрыва. Тотчас взметнулся фонтан воды у следующей скважины, потом у следующей и взрывы стали приближаться к берегу, на время закрыв от нас дымом и ледяным крошевом лежавших на льду людей. Река пришла в движение, разбитый лед некоторое время словно в раздумье покачивался на растревоженной взрывами воде и стал медленно сплывать вниз по течению. На одной из льдин все еще черели фигурки лежащих людей. Из устья протоки вырвался катер и, выперев из воды форштевнем белоснежный бурун пены, помчался к ним. На баке катера стояли два матроса, один багром отпихивал льдины, другой держал наготове спасательные круги. Люди на льдине медленно поднялись и стояли на своем ненадежном покачивающемся под их тяжестью плотике, широко расставив ноги и держась за плечи друг друга.

— Вот вам Луконин!.. — сказал Кирющенко и оглядел нас ликующим взглядом. Лицо его заалело, и мне показалось, в глазах остро блеснули искорки слез.

Катер со спасенными развернулся и устремился к барже, времени терять было нельзя, после взрывов лед сверху мог двинуться сплошной массой и смять и баржу и катер. На баке баржи стояли матросы с буксиром в руках. Стальной канат подали на катер, едва тот подошел к барже. Вода за кормой катера забурлила. Некоторое время казалось, что огромная баржа стоит на месте, но вот она едва заметно подалась вперед и послушно двинулась за крохотным по сравнению с ней суденышком в сторону протоки; перед ее высоким форштевнем чуть-чуть взбугрилась вода.

По бортам баржи всплывали кругляки городков, на которых она простояла всю зиму.

— Пошла! — воскликнул Стариков. — Пошла, ребята!..

Он, как ребенок, громко засмеялся и неумело, перед своим лицом, захолопал в ладошки, видно, редко приходилось ему выражать таким образом свои чувства. И все стоявшие подле него и так же, как и он, не привыкшие к сентиментальности люди, тоже зааплодировали. Мы двинулись по берегу, сопровождая вползавшую в протоку неповоротливую громадину. Нам не пришлось ускорять шага, баржа двигалась

совсем медленно, но с каждым мгновением все более и более отдаляясь от опасного главного русла.

Я шагал позади всех, и странное, тревожное и волнующее чувство охватывало меня. Как же я мог до сих пор не понимать, что история со спасением пятисоттонной баржи вовсе не какое-то исключительное происшествие, о котором только и можно писать, как о происшествии. Нет! Это не случайное событие, это настоящая наша жизнь. Все, что здесь в тайге, далеко от обжитых мест, делают люди — ведь это же подвиг. Недавно я обошел тогда еще стоявшие на городках в протоке суда и понял, как много было сделано. Конечно, все это свершалось на моих глазах, но вот так, разом увидеть отремонтированные машины, механизмы, покрашенные корпуса судов — не приходилось. «Когда успели? — в удивлении спрашивал я в тот день себя, направляясь в редакцию. — Откуда у людей столько сил? Громадные баржи и пароходы по несколько сот тонн весом одними ручными домкратами оторвали от льда, подняли на городки, отремонтировали. Работали в пургу, в пятидесятиградусные морозы, без доков и подъемных кранов... Дважды спасли эту баржу... Для горстки людей — титанический труд! Когда-то Кирющенко предупреждал меня о разлагающей силе полярной ночи. Да, были у нас и пьянство, и поножовщина. А все-таки сделали! Как-то перемололось все то плохое — вот ведь чудо! Может быть, мы все сообща, незаметно, исподволь ломаем то, что прежде мешало людям жить?.. Это же подвиг многих людей. Только я не умею писать по-настоящему, сочиняю «заметки» с холодной душой. Но о подвиге и пиши, как о подвиге. А они, эти заметки, нужны своим чередом. Только научись же различить в каждой мелочи долю, пусть кроху подвига, и тогда все, что ты будешь писать, осветится священным огнем. Боже мой, как много понадобилось времени, чтобы открылись глаза и проснулась душа. Вот когда можно с чистой совестью сказать: работать, работать!..

Я не заметил, как баржа прошла самое мелкое место устья, через которое не могла перебраться осенью, и, только когда она совсем вошла в протоку, обратил внимание на увешанного гирляндой уток охотника на палубе катера рядом с Лукониным. Это был Данилов. Он стоял, держась за поручни, и улыбался нам. Катер подвел баржу к берегу и, сделав разворот, сам уткнулся носом в сырую землю. Данилов прыгнул на берег, взрывники, беззлобно ругаясь и смеясь, окружили парня.

— Откуда я знал? — оправдывался тот. — Думал, люди меня встречают, охота был счастливый... — он протиснулся к следователю, который был здесь же и которого я прежде как-то не рассмотрел в группе людей на берегу Индигирки перед началом взрывных работ.

— Это твой утка, — сказал Данилов, с трудом сняв с себя тяжелую связку уток с отблескивающими перламутровой зеленью и сине-

вой шейками и ярко желтевшими на солнце плоскими клювами, попытался надеть ее на следователя.

Тот, смеясь, отстранил его и переспросил:

— Утка моя?

— Твой, твой... — Данилов радостно закивал, — бери, твой утка...

— Отдай их товарищу Луконину, пускай он поделит между взрывниками, — сказал следователь. — Он спас вместе с охотником и уток, пусть их и забирает.

— Ладна, — с готовностью согласился Данилов. — Как ты сказал, так и будет. — Он качнул связку птиц и с усилием перекинул через плечо Луконина.

— Поделите, ребята, — сказал Луконин и сбросил гирлянду уток с плеча на мягкую талую землю. — Охотника не забудьте, и товарищу, — он кивнул на следователя, — тоже чтобы утятины досталось...

— Всем хватит, — сказал кто-то в толпе, окружавшей Данилова, — видать, потрудился Коля, со вчерашнего дня ушел в тайгу.

## VII

Данилов отказался взять свою долю, сказал, что неохота ему управляться с утками, обдирать перья и потрошить. Мы вместе пошли в поселок.

— Следователь говорил, свидетель давай... — сказал Данилов. — Я пошел тайга, уток стрелял, думал — отдам многа уток, он забудет один свидетель... — Данилов горестно покачал головой.

— Да что ты, Коля, что ты говоришь?! — воскликнул я.

— Совсем глупый стал... — сказал Данилов, все так же покачивая головой, — совсем глупый... Я сам теперь понимал, нужен свидетель. — Кулаком он потер глаза, размазывая по лицу слезы. — Я никого не хотел убивать.

Он шел подле меня, давясь глухими рыданиями. И тяжело и страшно мне стало.

— Я поговорю с Натальей... — сказал я.

— Не хочу, — Данилов покачал головой, — ей плоха будет...

— Чего же ты хочешь?

— Не знаю... Совсем, как малый дите стал...

Было еще раннее утро, тонкий ледок розовел в тени на лужах, прохладой тянуло из тайги, где меж кочек прятался слежавшийся грязный снег. Рябов все еще находился в больнице, хотя совсем поправился, врачи требовали не выходить на холод три недели, так полагалось после воспаления легких. В редакции я по-прежнему работал один и поспешил теперь к себе готовить материал в очередной номер.

Я сидел за правкой заметок, а мысли о Данилове не давали

покою. И вдруг я понял, что не смогу спокойно работать, пока вся эта история со свидетелем не распутается. Надо что-то делать, как-то уговорить Наталью, дальше тянуть нельзя. Самому мне просить ее не хотелось, особенно после неудачной попытки Рябова в больнице затеять разговор о Федоре. Как бы совсем не испортить дела, меня она почему-то терпеть не могла. И тут у меня возникла идея попросить Машу. Я довел до конца правку очередной заметки и отправился разыскивать девушку.

Канторка Гриня, где теперь жили Наталья и Маша, неузнаваемо преобразилась. На окошечке светилась пронизанная солнцем марлевая занавеска, в углу стоял деревянный топчан, застеленный ослепительным пикейным покрывалом, над ним на стене была прибита оленья шкура с густой шерстью, от одного вида которой комнатка становилась уютнее. На табуретке за столиком сидел Гринь, не в шинели, как обычно, а во флотском кителе. Перед ним на лавке разместились трое возчиков, также без верхней одежды, слушали его наказ.

— Так что, Никифор,— говорил Гринь,— тебе дров возить весь день на бровку против «Двадцатки», пары поднимать, навигация для нас — перво-наперво, сам понимать должён.

Никифор, краснолицый детина с выпуклыми глазами и ворохом русских волос, согласно кивал. Увидев меня, он отодвинулся, уступая краешек скамьи и продолжая внимательно слушать Гриня, объяснявшего, где брать метровые кругляки для подвоза к пароходам. Гринь одними глазами поздоровался со мной и продолжал свой инструктаж, выдерживая солидность начальника. Не любил он, когда мешали его разглагольствованиям.

Ни Натальи, ни Маши здесь не было. И тут я вспомнил, что их и не могло быть, Гринь объяснял же, что с утра обе уходят на работу, а он в их отсутствие проводит деловые совещания.

Наконец возчики были отпущены. Гринь сидел, склонив голову и глядя на свои сильные руки с набухшими венами, просвечивающими сквозь светлую кожу. Вены особенно выделялись в голубом пламени, ломившемся в оконце.

— Ребеночек у радистки народится,— сказал Гринь,— Федоров... Знаете вы про то, Маша сказала...

Подняв голову, он посмотрел на меня своими чистыми светлыми глазами. Встал, поднял с лавки шинель, натянул ее на себя, напялил ушанку.

— Придут они скоро, на обед,— сказал он, останавливаясь передо мной.— Маша из общежитий, радистка из больницы, Рябов, говорят, совсем поправился, хлопот ей поменьше стало. Сейчас придут, уходить надо.

Мы вышли на ослепляющий свет. Солнце сильно пригревало, грязный снег у конбазы почти весь стаял.

Гринь остановился и неожиданно сказал:

— Да что перед вами, извиняюсь, таиться... Давно приглянулась мне Маша. Слова ей не мог сказать. И сейчас тоже: приду, когда она ушла, уйду, когда еще не вернулась... Не время с ей об том... Может, сама когда догадается...— Гринь улыбнулся одними глазами.— Слушается меня, как отца, вижу, верит мне. Пускай сама поймет, тогда, может, скажу.— Гринь одернул шинель, поправил ушанку.— Вот вам сказал и малость полегчало...

Он стоял, раздумывая над чем-то и, сказав: «Бывайте...», пошел к складам.

Показалась Маша в телогрейке и легкой ситцевой юбке, совсем не для ранней весны наряд. Шла она с ведром в руке, из которого торчал тальниковый веник. Заметив меня, Маша отвернулась и заторопилась пройти мимо.

— Подожди,— крикнул я.

Она остановилась, озорно помахивая ведром и искоса поглядывая в мою сторону.

— Чего тебе? — спросила она.

— Пойдем в дом, чего же посреди улицы...

В комнатке ловким движением плеч Маша сбросила телогрейку, слегка откинув голову, стянула с нее платок, обеими руками пригладила волосы. Я оглядел светлую комнатку, неловко стало оставаться в верхней одежде. Ворочая плечами, еле-еле освободился от телогрейки, снял ушанку.

— Садись,— пригласила она.

Мы присели друг против друга. Я понял, чего она ждет от меня: известий о Федоре. Широкие брови Маши сомкнулись у переносья, темные густые ресницы вздрагивали, взгляд стал тревожным и холодным.

— Зачем ты пришел? — спросила она.

— Уговори Наталью пойти к следователю и сказать правду о Данилове и о Федоре...— Я передохнул, выпалив все это на одном дыхании.— Она видела, как Федор и Николай пили вино до беспамьства. Она одна, больше никто не знает.

Маша медленно поднялась, отступила к оконцу, широкие ноздри ее трепетали, она не спускала с меня горячего взгляда.

— Так вот зачем ты пришел?! — прошипела она.— Вот зачем...— Она не договорила, дыхание ее перехватило, голос иссяк. Она стояла, вытянув шею, и судорожно глотала воздух, которого ей не хватало.— Вы хотите, чтобы Наталья сама... Федю... в тюрьму. Как ты посмел сюда прийти? Как ты посмел?.. Чтоб она сама... Федю?..

Она упала на постель, уткнулась головой в подушку и навзрыд заплакала. Я готов был теперь вытерпеть все: несправедливые обвинения, обиду, гнев, слезы... Ради Николая.

— Колю могут посадить в тюрьму...— сказал я.

Она поднялась, слезы еще бежали из ее совсем сузившихся глаз, но она уже не плакала, злоба душила ее, она кусала свои губы, точно они были виноваты в ее слабости.

— А Наталья тебе не жалко? — воскликнула она. — Кто тебе сказал, что она видела? Ну кто? Не было ничего. Не было!

Она подскочила ко мне и, неумело замахиваясь, стала ударять меня по голове, в грудь, не разбирая куда. Ей самой было больно, временами она вскрикивала и встряхивала рукой. Я стоял, не защищаясь.

— Убирайся! — закричала она. — Ну что ты стоишь?

Она схватила с лавки мою стеганку и шапку и обеими руками запустила в меня, я едва успел подхватить одежду. Тут же в меня полетела подушка, потом скомканное покрывало, простыни, она рвала со стены оленью шкуру.

Я не выдержал.

— Дура! — с чувством сказал я.

Едва я выскочил из комнатки, как изнутри послышался увесистый удар в дверь — бух! Маша проводила меня табуреткой. В темных сенях, отдуваясь, я напялил на себя стеганку и ушанку, вышел на божий свет и, посрамленный, отправился обратно в редакцию.

К концу дня дверь редакционной комнатки приоткрылась, в коридоре стояла Наталья в Федоровой телогрейке, в платке и жестами звала меня выйти...

— На минуточку...— сказала она в коридоре, — не сердись, я по делу...

Лицо ее осунулось, глаза отвечивали странным, тревожным блеском.

— Маша мне рассказала... Я была у следователя, сказала про Колю и про Федора, — быстро проговорила Наталья. — Следователь сказал, теперь скоро суд будет, еще до навигации. Судья уже приехал...

Она помолчала, ожидая, что я скажу. Я ничего не говорил.

— Ты понял? — спросила она. — Я была у следователя, сказала правду. Иначе я не могла, Федя простит меня. Он знает, что я не могу обманывать...

Она быстро пошла по коридору, у двери оглянулась, внимательно посмотрела на меня. И вдруг вернулась.

— Ты что-нибудь знаешь о Феде? — спросила она.

— Нет, ничего, — я покачал головой.

Наталья стремительно выбежала, дверь с шумом захлопнулась за ней.

Я разыскал Данилова на «Индижирке», спросил, знает ли он, что Наталья была у следователя.



— Знаю, однако,— он как-то безучастно кивнул.— Следовательно сейчас вызывал, сказал: «Прочти, что она написала, правда ли?» Я прочел, сказал: «Все, как была, верна...» Он сказал: «А ты понял, что написано?» Я сказал: «Все понял». Он сказал: «Хорошо, иди работай...» Я пошел.

На прощанье Данилов выложил:

— Луконин сказал: «Хочешь у меня на «Индибирке» помощником штурвального плавать?» Я сказал: «Хочу...»

Он помолчал и спросил:

— Что будет с Натальей?..

## VIII

Жизнь в поселке как-то разом и круто переменялась. Баржи и пароходы непривычно возвышались совсем рядом с палатками и домами. Вода до краев заполнила протоку, и крутые тропки, зимой сбегавшие к вмерзшим в лед судам, остались под водой. Озабоченными стали лица людей и торопливее их шаг, все то, что совсем недавно волновало их, ушло куда-то и почти не вспоминалось, начались разговоры о том, что брать с собой в каюты и что оставлять «на берегу». Гринь носился с накладными: выписывал продовольствие командам судов на время плавания. Кирющенко принимал претензии недовольных назначением не на то судно, куда хотелось. Мы, редакционные работники, были заняты демонтажом печатной машины и упаковкой шрифтов для погрузки на деревянную баржу. Рябов несмело ходил среди ящиков, помогая нам с Иваном, осунувшийся, бледный, по-прежнему небритый, с каким-то посветлевшим, прозрачным взглядом после изнурительной, но уже отпустившей болезни... Одним словом, началась жизнь беспокойная, полная забот с утра и до самой цветной ночи с незаходящим солнцем и несмолкаемым гомоном перелетной птицы. В отдалении, за Индибиркой, раскинув крылья-паруса, садились на песчаную косу лебеди. Таинственно и лениво курлыкали в небе, пролетая неровным, растянувшимся углом, усталые за долгий перелет журавли, будоражили людей, заставляя их бросать работу и стоять, задрав к небу головы. Над самыми домами поселка со свистом вспарывали горевшее ночное небо стайки уток.

И в души людей закрадывалась затаенная радость...

Однажды утром вышел я из своей палатки, и десятка шагов не сделал, остановился, прислушиваясь к странному шуму. Будто проходил в отдалении нескончаемый товарный состав. Глухой однообразный рокот доносился со стороны устья протоки.

— Что это?..— охваченный невольным волнением, спросил я у проходившего мимо Луконина.

— Река, должно, тронулась, — равнодушно сказал он и пошагал дальше, не проявив ни малейшего интереса к событию, которого недавно мы все ждали в общей тревоге.

А я повернул вдоль берега к Индигирке. Нетривычно было после сугробов и замороженных снежных тропок ощущать под ногами податливую талую землю и мягко пружинившие кочки, поросшие буроватыми мхами и отблескивающими кустиками брусники. Оливково-серая штриховка тонких безлистных ветвей тальника загораживала от глаз реку, но ровный шум ледохода стал явственнее, повеяло прохладой и огуречным запахом свежести, и дышать сразу стало и легко, и привольно. Проломившись сквозь заросли тальника, я увидел реку. Вся она, сколько хватал глаз, была забита живым серебрившимся ледяным крошечком. Лед шел сплошным потоком, скорее напоминая громадный ледопад в горах, чем реку; воды среди торосов не было видно совершенно. Устье протоки закупорили обломки ледяных полей и отгородили протоку от Индигирки плотным валом. Река стала необыкновенно широкой. На том берегу светлая полоса льда проходила подле самой тайги, стоявшей так далеко, что отдельные деревья рассмотреть было невозможно. У моих ног стала медленно вылезать на берег изъеденная водой, металлически отблескивающая гремями льдина метров двух толщиной, скорее похожая на обломок айсберга. Одним своим углом она медленно и неуклонно поднималась по склону берега. Тальник без всякого видимого сопротивления под ее напором ложился наземь. Льдина вползла на поверженные стволы, как-то странно повернулась на одном месте и застыла в неподвижности. Ледовый поток полез через ее лежавший в воде край. Ледяные башни громоздились одна на другую, откуда-то из-под льда выперло одним концом ствол дерева с разлапистыми корнями. Дерево все поднималось и поднималось корнями вверх и прошло мимо, поставленное на дыбы. Место, где прежде стояла баржа, совершенно нельзя было определить, но мне показалось, что в разлившейся реке она была бы далеко от берега среди ледяных торосов.

Я прошел еще дальше за мысок, почти весь утонувший в белом серебре ледяного крошева, и неожиданно увидел стоявшего поодаль на берегу человека. На нем была телогрейка, сапоги и оставшаяся еще от зимы ушанка. Мне не хотелось мешать и делить с кем-то одиночество; я начал осторожно отступать. Человек заметил меня боковым зрением и обернулся. Рябов! Он успел сбрызнуть вершковую щетину, но темные пятна прораставшей бороды определились на его щеках.

— Красотища! — воскликнул он без малейшего недовольства в голосе. — Вот уж где полной грудью дышится!

Нечего делать, я приблизился.

Мы долго молча стояли друг подле друга, словно загнипнотизированные торжественным движением ледового потока...

Через день-два на пароходах начали поднимать пары, драили палубы, подкрашивали кое-где обшарпанные по случайности углы и двери палубных надстроек, захватанные леера на трапах и мостиках. Матросы, кочегары, масленщики, механики, шкиперы перебирались на суда, несли с берега постели, белье, а кто книги, тетради и цветы в консервных банках, обернутых газетой.

На деревянную баржу, где мы в шкиперской рубке устанавливали типографскую машину, явился Гринь. Увел меня из рубки на палубу и шепотом сказал:

— Федор объявился... Ободранный, исхудалый, смотреть, извиняюсь, страшно. У меня живет.

— Давно? — спросил я, испытывая неприятное, холодающее сердце, чувство тревоги.

— Ночью пришел, прямо ко мне... Что ты будешь делать!.. — Гринь сокрушенно покачал головой.

— Говорили вы с ним, зачем он пришел?

— Говорил. Молчит... Только просил позвать Данилова.

Стояли мы с Гринем у бревенчатой свежевыкрашенной желтой окрой стенки рубки и молчали. Я спросил, известно ли Федору о признании Данилова и Натальи, о предстоящем суде? Гринь не знал, сам Федору ничего не говорил.

— Пойду-ка вместе с Даниловым, — сказал я, — мало ли...

Данилова я нашел на ошвартованной у берега «Индибирке», подкрашивал штурвальную рубку. Я объяснил, с каким делом пришел. Он остановил кисть, долго старательно тер руки тряпьем, наверное, хотел освоиться с неожиданным известием. Вскинул на меня глаза с синеватыми белками и спокойно сказал:

— Давай, пойдем...

Федор стал и впрямь неузнаваем: темные от загара щеки ввалились, глаза смотрели с каким-то нездоровым блеском, губы потрескались. Мы с Даниловым остановились у двери, поздоровались. Федор сухо ответил на приветствие.

— Знаю я все... — сказал он. — По дороге в Якутск прослышал, вернулся. Не одному Данилову отвечать, на мне тоже вина есть. Был у судьи, написал заявление. Не держу зла, Коля, сколько же можно... — Он не договорил.

— Я пойду, пожалуй... — сказал я в нерешительности.

— Иди, — Данилов кивнул.

Вышел я на свет, на ветер с воды, и привольно стало на душе. Пришел на баржу, принялся за дело. Как будто и не произошло ничего, — ну, поговорили три человека, — а все вокруг разом изменилось, стало роднее, ближе и... лучше.

На суд в палатку-клуб светлым вечером собрался почти весь поселок. Сидели чинно, внимательно слушали, с интересом поглядывали на отоцавшего Федора — он опустился на скамью после сви-

детельских показаний в первом ряду — и на спокойного Данилова, сидевшего на отдельной скамье сбоку. Лишь изредка в наиболее драматические моменты допроса обвиняемого и свидетелей по залу пробегал ветерок сдерживаемого волнения. Данилов стоял перед судьей, худеньким якутом, ловил каждое его слово и с готовностью отвечал на вопросы.

Народные заседатели, Луконин и усатый механик Жданов, наряженные в непривычные для них топорщившиеся пиджаки, напыжившись от смущения, сидели по обе стороны от судьи.

Наталья давала показания негромким, напряженным голосом. В зале не было слышно ее ответов. Она наклонила голову, но, когда ропот достигал ее слуха, голоса не повышала. Во время ее допроса Федор, которого вызвали, как свидетеля, сидел, нагнувшись, уперев локти в колени и смотрел в пол. Данилов же не сводил с нее взгляда, едва приметно улыбаясь. Когда Наталья кончила и ушла в задние ряды, села рядом с Гринем и Машей, он весь обмяк, устало понурился и больше уже никого не слушал.

Наталья и Маша убежали из палатки сразу после того, как суд удалился на совещание. Гринь, сменивший меховую шапку на форменную фуражку, а валенки на сапоги, но по-прежнему в своей шинели, пошел было за ними, но вернулся к палатке и смешался с толпившимися здесь в ожидании решения суда людьми.

Приговор — год исправительно-трудовых работ условно — встретили аплодисментами. У выхода из палатки Данилова окружили. Тянули ему кисеты с табаком, кто-то совал редкие у нас папиросы «Беломор», хлопали его по плечу...

Было часов двенадцать ночи. В северной стороне неба меж коричневых ветвей кустов и деревьев в глубине тайги проглядывало угольно-красное солнце. Еще немного, и солнце, набирая силу, все более накаляясь и желтея, начнет подниматься по кругу, так и не скрывшись за выпуклостью Земли... И всю ночь будет птичий переполох в тайге, и люди на баржах и пароходах утихомирятся лишь под утро, и я засну в своей палатке тоже под утро, плотно заткнув оконце телогрейкой.

...А ранним утром все опять были на ногах, радовались, что солнце сияет в полный накал и что столько дел впереди, и пароходы и баржи вот-вот выйдут на речной простор, и задуют в плесах ветры, сметая с палубы ошметки красной коры от наваленных на корме листовничных кругляков, и мимо поползут заросшие дикой разлохматившейся тайгой берега... Жизнь продолжается!

С утра Кирющенко объяснялся со мной по поводу того, что бригада комсомольцев за два дня не смогла проверить санитарное состояние судов. Кирющенко укорял меня в лени. Пришел Луконин, остановился посреди комнаты, принялся мять в руках шапку. Я вздохнул с облегчением, неприятный разговор кончался сам собой.

Луконина назначили капитаном «Индигирки», он не мог сразу свыкнуться со своим новым положением, робел в присутствии начальства, хотя и сам стал начальником.

— По партийной линии подскажите Василию Ивановичу, — начал Луконин. — Уперся Василий Иванович... — споткнувшись на слове, он умолк.

Я решил пока не уходить, интересно было посмотреть Луконина в новом качестве.

— А что подсказать-то? — улыбаясь, спросил Кирющенко и встал, подошел к Луконину и тем окончательно смутил его.

— Говорит, мешаешь ты мне, Луконин. Мне, говорит, планы-приказы на грузоперевозки надо составлять... — Луконин передохнул и продолжал: — А по партийной линии он вас послушает...

— О чем же сказать начальнику затона по партийной линии? — согнав с лица улыбку, спросил Кирющенко.

— Федора хочу в команду взять. Матросом. Надежный будет матрос. Прошу Василия Ивановича в приказ отдать, а он говорит, мешаешь, потом, говорит. А когда потом?

— Вот ты о чем... — Кирющенко задумался, слегка кивнул. — Правильно, Федора надо к делу пристраивать. — Кирющенко вскинул на Луконина глаза, с напором сказал: — Слушай, товарищ Луконин, — а ведь был бы ты в партии, сам по партийной линии порядок наводил. Просить ни у кого не пришлось бы, на партийном собрании с полным правом сказал бы, коммунисты всегда поддержат. А то вот пришлось на поклон, шапку мнешь, стоишь просителем. А какой ты проситель? Хозяин ты здесь. Вон что народ про тебя говорит: пароход спас, баржу ото льда отстоял вместе со всеми. Нельзя тебе без партии...

— Хотел я, Александр Семенович, поговорить об том... Да по линии политической у меня несладко выходит...

— Что же это там у тебя такое?

— Обговорить политическое дело не умею. Слова, как бы сказать, в горле застреют...

Кирющенко расхохотался, покрутил головой, посерьезнев, сказал:

— А знаешь ли ты, что такое политика?

Луконин переступил с ноги на ногу, поежился. Смешно было видеть заробевшим крупного, сильного человека.

— Как не знать, знаю... — неуверенно проговорил он.

— Вот, когда ты первым под пароход полез, — строго начал Кирющенко свои объяснения, — а потом и другие тебе на помощь — пароход вы отстояли — это и есть настоящая политика. Был бы ты коммунистом — люди сказали бы: «А ведь первым коммунист Луконин полез, повел за собой других...» Политика была бы вдвойне!

— Первым не я, первым Данилов полез, — неуступчиво сказал Луконин.

— А знаешь, что я тебе скажу? — торопливо заговорил Кирющенко, и было необычно видеть его разволнованным. — В том и сила нашей жизни, что вчерашний охотник, человек, по пьяной лавочке поднявший нож на товарища, сегодня первым, как ты говоришь, полез под пароход — не из озорства рискуя жизнью, не по пьяному делу, а потому, что жить захотел по-другому, не так, как прежде, жить со всеми заодно. Не удивлюсь, если года через два Данилов заявление принесет... В том и сила нашей партии, что она вбирает в свои ряды тех, кто не боится первым идти. Вот в чем настоящая политика, товарищ Луконин. А слова у тебя в горле застревать перестанут — будь уверен. Ты другого бойся — чтобы трепачом не стать, вот болезнь посерьезнее...

Кирющенко почему-то посмотрел в мою сторону.

— Да ладно, сегодня мы этот рейд закончим... — пробурчал я.

— Пиши-ка заявление, сколько тянуть можно, — сказал Кирющенко Луконину. — Я же знаю, ты рекомендации собираешь.

— Это я завсегда...

— Ну так о чем разговор! — воскликнул Кирющенко. — Одна рекомендация, считай, за мной. Вторую Василий Иванович даст...

— Он разговаривать не хочет...

— Так это он раньше не хотел, а придешь к нему с партийным делом, он или все отложит, или время назначит.

— Неужто?

— Точно тебе говорю. Иди-ка, иди к нему. Он коммунист, понимает, что значит, когда человек с партийным делом...

— Жданов, механик, мне еще обещал... — заметил Луконин.

— Правильно, он тебя давно знает, будет у тебя третья рекомендация.

— А с Федором как? — спросил Луконин.

— Вот ты ему заодно и о Федоре скажи, — посоветовал Кирющенко.

Луконин ушел. Подобревший Кирющенко заговорил:

— Жданов-то мне рассказал, что Луконин завел с ним речь о рекомендации. Давно я к Луконину присматриваюсь. Люди к нему тянутся, настоящий капитан будет. Хороший есть у нас народ! Сам с такими сильнее становишься. — Он помолчал и уже официальным тоном сказал: — Перебирайся и ты на «Индиگیрку» к Луконину, поможешь ему в начале навигации поработать с коллективом команды, а там видно будет... Вот еще что хотел тебе сказать: понадобится рекомендация, считай — одна за мной.

На «Индиگیрку» я перебрался в тот же день к вечеру, после того как мы закончили установку печатной машины и наборных касс на деревянной барже. Луконин указал мне нижнюю одноместную каюту, иллюминатор которой выходил наружу над самой водой по соседству с колесом. В раскрытый иллюминатор я услышал, как



на палубе Наталья звала Федора, просила помочь перенести с берега аккумуляторы. Устроившись в своем новом жилье, я поднялся на палубу и увидел Федора. Он стоял около распахнутой двери каюты радистки, прислонившись острым плечом к дощатой стенке надстройки и сунув руки в карманы брюк. Наталья вышла из каюты, заперла дверь на ключ, и они, согласно отстукивая каблукками по стальной палубе, зашагали к трапу, переброшенному на берег. И мне не терпелось без дела, я поднялся на мостик и принялся помогать Данилову докрашивать рулевую рубку. Опять мы, все четверо, были на «Индигирке».

...Недели через две в первом часу ночи «Индигирка» буксировала баржи в верхнем сумасшедшем плесе. Ночь была расцвечена дневными красками. В передний широкий иллюминатор кают-компаний видны были острова с желтевшими на полуночном неярком солнце стволами тополей и для ночи неправдоподобно изумрудными, хоть и неяркими кронами, виднелись густо-голубые разводы на речной шири, расплавленный металл отраженного неба в тихих заводах... Краски были чистыми, с глянцевым отливом. У самого борта шумели буруны шиверов, прибрежные скалы в кривунах грозили разбить баржи на поворотах, перекааты занимали почти весь фарватер. Мы только что погрузили с берега дрова, и теперь Дуся угощала нас круто заваренным какао со свежим мягким, как пуховая подушка, ситным, который только она одна и могла выпекать в духовке пароходного камбуза.

В кают-компанию вошла Наталья. В руках она держала листки, выданные из тетради, исписанные карандашом ее мелким почерком. Она не раз появлялась на палубе и в кают-компании со служебными радиограммами, и потому никто не обратил на нее внимания. Она подошла ко мне и протянула листки. Это было первое сообщение о начале войны.

## IX

...Безрадостными были сводки с фронтов, лишь работа помогала нам держать себя в руках. Мы трудились на разгрузке и погрузке барж, в рейсах я готовил политинформации, материалы для нашей газеты, которые Наталья передавала по радио на другой пароход Рябову.

Однажды часа в три ночи, после того как я прочел в кают-компании очередное сообщение Совинформбюро, принятое радисткой, и опустился к себе, пришел Федор. Постоял у двери, глядя под ноги, глуховатым голосом сказал:

— Отбил телеграмму Кирющенко, чтобы отпустили на фронт. Отказал, прислал ответ — ждите распоряжений. — Федор сжал че-

люсти, желваки прокатились по его темным, опавшим щекам.— Не могу палубу пшаврить, когда там...— Он не договорил.— Все одно — уйду, пешком уйду... Без меня на «Индибирке» не убудет, а там пригожусь...— Он помолчал.— Может, еще Коноваленко встречу...

Посмотрел на его, теперь горевшее пятнистым кирпичным румянцем лицо, и понял, что уйдет, ничто не удержит, Федоров характер знал.

— Как летом через болота, реки, озера?.. Как дойдешь?

— Не привыкать...— суховато сказал он.

— А Наталья?

— Отпускает,— сказал он.— Договорились.

Мы помолчали.

— Проститься пришел...— сказал Федор.— Ты старое не помни. Мало ли как бывает...

Он первым протянул мне руку. Ладонь у Федора была неподатливой на пожатие, твердой, с заскорузлой кожей.

Он ушел с парохода в небольшом якутском поселке в верховьях реки. Наталья проводила его на берег. Как они прощались, мы не видели. Вернулась она строгая, с остро блестящими сухими глазами, и заперлась в своей каюте.

После ухода Федора какое-то тяжелое состояние подавленности овладело нами. Известия с фронтов были безрадостными. Скупые сводки Совинформбюро, которые Наталья каждую ночь принимала по радио, говорили, что положение на фронтах тяжелое, один за другим западные города наши переходили в руки противника. Может, Федор и прав: как ни трудно ему было покинуть Наталью и пробиваться через тайгу, он идет теперь на подмогу, а мы?.. Медленно потекли дни в рейсах, в погрузках и разгрузках барж, в составлении корреспонденций для газеты, и казалось, каждый день безвозвратно уносил с собой частицу надежды. Что мы можем сделать, как повлиять на ход событий, да хотя бы даже в этой глуши подробнее узнать, понять, что там происходит?.. Кирющенко, видимо, прекрасно знал состояние людей и вскоре по радио предписал мне, пользуясь катерами, переезжать с парохода на пароход и проводить беседы о фронтовых и международных событиях. Слушали меня с таким вниманием, с такой верой в нашу победу, что я старался как можно полнее рассказывать о том, что сообщалось по радио в передачах для газет, и проводил ночи у приемников то на одном, то на другом пароходе, что, впрочем, не исключало и участия в погрузочных работах. И это было хорошо...

Однажды ночью, когда я оказался вновь на «Индибирке», в очередной срок связи Наталья приняла срочную радиограмму с «Чкалова». Луконину приказывалось пройти на Аркалу к лагерю геологов с двумя мелкосидящими стотонными баржами и забрать

кокс, пережженный из угля, добытого во время разведочных работ. Поступления кокса с «материка», говорилось дальше, не ожидается, нельзя допустить остановки вагранок в мастерских на соседней реке, чугунное литье необходимо там для ремонта горного оборудования. Ничего больше в радиограмме не сообщалось; где сейчас геологи, каким образом удалось пережечь уголь в кокс без специальных коксовых печей, кто это сделал? Текст радиограммы, подписанный Стариковым и Кирющенко, был сухим, официальным, без подробностей и даже намеков на эмоции, в обычном для Старикова стиле. В конце говорилось, что ответ должен быть сообщен немедленно. Луконин тут же ночью собрал в кают-компании команду и вслух прочел радиограмму. Насупил светлые выгоревшие брови и, ни на кого не глядя, привалился широкой грудью к краю стола.

Первое смятение прошло, и кто-то из матросов сказал:

— Наш катер в прошлую навигацию на мели в Аркале присох. Васильев на плоту уплыл, а мы две недели катер воротками тягали... А в твою бумагу ты еще раз загляни, там прописано — пароходом да баржами. Это как?..

Розоволицый здоровяк с приоткрытым ртом и отблескивающими глазами, не двигаясь, вопросительно смотрел на Луконина. А тот, тяжело привалившись к столу и опустив глаза, молчал.

— Черный вода нада ждать...— неожиданно сказал штурвальный Данилов из угла, где сидел.

— Верно, Коля,— сказал Луконин и поднял на него воспаленные от солнца с кроваво-красными белками глаза.— По второму паводку, как мерзлота начнет таять в берегах. По черной воде, а иначе не пройти... Так чего, ребята? — спросил Луконин, оглядывая своих товарищей.— Отобьем радиограмму Василию Ивановичу и Александру Семеновичу: как есть военное время, пойдем на Аркалу. А пойдем в срок второго паводка, как всегда на Индигирке бывает, в конце июля, может, с перехлестом на август, с малыми стотонными баржами. Так, что ли, братва?

— Так... Верно говоришь...— слышались голоса.— В другое время не пробиться, только пароход и баржи ломать... Пусть так будет: пойдем...

— А ты как? — спросил Луконин у здоровяка матроса.

— Чего как?... не понял тот и с подозрением уставился на капитана.

— С нами, али где на берег сойдешь?..

Я заметил, как при этих словах Наталья потупилась, уж очень было похоже, что Луконин помянул недоброй мыслью Федора.

— Я как все...— сказал парень.— Чего ты меня обсматриваешь? Как все я, на кой мне берег сдался?

Луконин помолчал, опять обвел товарищей пристальным взглядом воспаленных глаз.

— Завязано, братва! — сказал он. — Идите кто отдыхать, кто на вахту. Как решили миром, так и будет, чтоб реву не зачалось, когда до воротков да перегрузок дело дойдет. Так, что ли?

— Так, так, капитан, — сказал усатый механик Жданов, живо, с хитровой доброй улыбкой поглядывая своими угольно-темными глазами на Луконина. — На тебя будем равняться...

Поднялся было и я вслед за всеми, да Луконин остановил. И Данилова попросил остаться. Мы присели за стол рядом с ним.

— Ну, ребята, вы на Аркалу зимой катали, место, где геологи стоят, помните? Сможете показать на подходах, сколь еще останется?

— Ладна, — сказал Данилов, — покажем... — И для того чтобы поубедительнее уверить Луконина, еще раз сказал: — Ладна...

— Составь телеграмму, — взглянув на меня, сказал Луконин, — от всей команды, вроде как бы обязательство, как бы с политикой, понял? Я не умею, а у тебя, говорят, получается...

— А надо ли?.. — неуверенно спросил я, вспомнив свою реляцию после охоты за лосями. — Наобещаем, а потом... Время такое...

Луконин подпер красным с толстыми венами кулаком щеку, наморщил лоб глубокой складкой на переносье. Потом встрепетул, сказал с облегчением, точно куль муки сваливал с плеча:

— Так ты просто напиши: пойдем по второму паводку точка Луконин точка.

— Вот другой разговор, — обрадовался я. — Как раз сейчас срок связи. Только тебе придется писать и подписываться самому, иначе радистка не передаст, она никому, кроме капитана, не подчиняется.

Я протянул ему свой блокнот, он долго, старательно выводил на страничке буквы, подвинул мне блокнот.

— Так? — спросил он. И когда я, пробежав радиограмму глазами, одобрительно кивнул, сказал: — Боязно мне с этими бумажками, свыкнуться с ими не могу. Я, знаешь, стряхнул мешок от муки и, как Василий Иванович мне рассказывал, спускаю туда все документы для отчетности. Из мешка куда им деться? Он говорил, ни одна у него не пропала. Осенью вывернул на стол, потом неделю с ими разбирался, все, как были, налицо и оказались. Мешок вернее всего... Отнеси телеграмму Наталье, будь другом, а я на мостик поднимусь, кабы, неровен час... Кривуны скоро...

— Свалишься ты, — сказал я, — вторые сутки не спишь, дойдем до Аркалы, отдашь концы в самый нужный момент.

— Всякий момент — самый нужный, — назидательно сказал Луконин. — Успеется с отдыхом, после навигации успеется...

— Видал я, как ты после навигации зимой отдыхал, — усмехаясь, заметил я и — нечего делать! — отправился к Наталье.

Не очень-то хотелось мне встречаться с ней, всякий раз, увидев ее, я испытывал какую-то странную неловкость, будто именно я был виноват в том, что ушел Федор. Уж слишком предубежденно я отно-

сился к нему и тем осложнял его жизнь, и ее тоже. И теперь, когда Федора не было, мне казалось, что я, оставаясь рядом с Натальей, обладаю преимуществом, на которое не имею права, и что Наталья тоже это понимает и никогда мне этого не простит.

Дверца каюты радистки была открыта, я на всякий случай постучал. Наталья не ответила, она сидела за столом с наушниками, быстро записывала какую-то радиограмму, как всегда покачала головой, когда я вошел, чтобы ей не мешали. Я положил перед ней листок с текстом. Она окончила записывать, быстро прочла его, включила рубильник передатчика и заработала ключом, отстукивая точки и тире. На меня она, казалось, не обращала ни малейшего внимания, и в душе я поблагодарил ее за это, она давала мне возможность спокойно уйти. Я сделал движение к двери.

— Подожди, — сказала она, — Кирющенко спрашивал, вручила ли я капитану план-приказ на Аркалу, почему долго нет ответа. Наверное, сейчас ответит на эту, — она кивком указала на листок, который я перед ней положил.

## Х

«Чкалов» начал отвечать, Наталья стала быстро записывать, передвинув журнал радиограмм так, чтобы я мог читать принимаемый ею текст. Стариков и Кирющенко одобряли наше решение идти на Аркалу во второй паводок. Наталья переписала на бланк текст телеграммы, попросила меня отнести Луконину, сказала, что сейчас начнется передача сводки Совинформбюро, нельзя отходить от приемника.

— Потом приди, возьми сводку, я сразу лягу, еле держусь...

В ее словах не было и намека на неприязнь, все-то я выдумал. Она переборола себя, относится ко мне просто, как и ко всем.

— Почему ты не сказала, я бы мог сам вести запись передачи для газет, — сказал я.

— Все ждала сводки о нашем наступлении, — Наталья слабо улыбнулась, — хотела сама принять, Федор там уже, наверное, — объяснила она свое желание. — Наступление обязательно будет. Обязательно! — с силой повторила она.

Я поднялся на мостик, отдал Луконину в рулевой рубке листок радиограммы и спустился в каюту радистки, решив, что запись в эту ночь буду вести сам, прогнью Наталью спать. Она сидела с наушниками на голове, склонив голову на руки, и спала.

Я осторожно снял с нее наушники, приемник был выключен, включил его, сводка только начиналась. Едва услышав слова диктора, доносившиеся сквозь надетые на меня наушники, Наталья встрепнулась, словно умываясь, провела обеими ладонями по лицу, подняв

локти, не открывая глаз, завела на голову разлохматившиеся прядки темных волос.

— Заснула, даже не успев включить приемник,— пробормотала она.— Каждый раз меня будил голос диктора... Все, теперь уже не засну, дай наушники...

Записывая, я покачал головой, так же, как делала Наталья, когда кто-нибудь входил в рубку во время приема или передачи.

— Иди спать,— сказал я.— Иди...

Наталья не уходила. Радиопомехи мешали вести прием, я отстроился от них одной рукой, другой продолжая записывать. Наталья все еще была здесь. Я мельком глянул на нее, она сидела, склонив голову на скрещенные руки. Тронул ее за плечо, она не пошевелилась, глубокий сон вновь охватил ее. Я с трудом разбудил Наталью, сказал, чтобы она легла. Она встала и с закрытыми глазами, видимо, сил не было поднять век, ощупью, опираясь о переборки, ушла во вторую половину каютки.

Вскоре мы подходили к затону за мелкосидящими стотонными баржами для рейса на Аркалу. Вода Индигирки потемнела, напоминала болотную жижу, вспучины и разводы на ее поверхности стали еще более заметны, река, вздуваясь, ускорила свой бег. Песчаные косы и невысокие, лишенные растительности острова на глазах как бы проваливались, вода топила их. Мимо плыли вывороченные с корнями деревья, опметки грязной пены и крупные пузыри, какие иногда поднимаются в лужах во время теплого ливня. Второй паводок — «черная вода» — начался.

В затоне мы узнали, что многие пароходы и баржи ушли вниз, получен приказ перегнать их морем на соседнюю реку. Там нужнее будет во время войны техника и не хватает людей на добыче уже разведанных запасов золота, вольфрама, олова. Геологическая партия была отозвана в Москву. Перед отъездом геологи пережгли добытый ими уголь в кучах, прикрытых пластами дерна, и таким примитивным способом получили кокс, единственное, что они могли для нас сделать. Постройка дороги к месторождению и его разработка откладывались на неопределенное время.

Поселок затона опустел, многие уплыли вниз, на соседнюю реку, вместе с ними покинули затон Гринь и Маша. Старикова назначили начальником проводки судов по морю, и его тоже не было. Перед самым отходом «Индигирки» на Аркалу снизу приплыл на катере Кирющенко, он хотел увидеть Луконина, удостовериться, как идут дела у нового капитана, и проститься с теми, кто осенью останется в Дружине. Попросил собрать в кают-компании команду, говорил недолго, сказал, что убежден в успехе порученного «Индигирке» рейса, потому что коллектив команды сплочен, а капитан хорошо знает поров реки. Сказал, что рано или поздно мы погоним врага обратно на запад и очистим свою землю от захватчиков. Его спокойствие



и уверенность передались всем нам, стало легче на душе. После беседы он отозвал меня в сторону, как-то странно посмотрел на меня и попросил пройти в мою каюту.

Как и прежде, я помещался в нижней каюте, неподалеку от когеса. Кирющенко остановился посреди каюты и, вперив в меня взгляд, сказал:

— Перебирайся на катер, поплывем догонять «Чкалова». Делать тебе здесь нечего, Рябов уже уплыл вниз, а ты назначен в другую газету, в горное управление. Далеко, отсюда не видать... — Он невесело усмехнулся.

Я стоял, не зная, что сказать.

— А как же рейс на Аркалу?.. — пробормотал я.

— Луконин справится, — сказал Кирющенко, — команда поверила в него, идет за ним. Я тебе больше скажу: единственный капитан, который может доставить с Аркалы кокс — это Луконин. Остальные боятся Аркалы, как черт лаdana, я с каждым говорил, прежде чем Стариков послал радиogramму, которую попросил и меня подписать. Недаром мы Луконина в партию приняли... Недаром! — добавил он.

Я молча стоял перед ним, не в силах произнести ни слова. Для всех нас на «Индиgирке» Аркала стала синонимом нашего участия в войне, синонимом победы. Он понял меня, сказал:

— Надо свои личные чувства в узде держать... Я вон тоже подал телеграмму товарищу Ворошилову, и Стариков тоже, просились на фронт. Ответ получили: до особого распоряжения; нужны на месте. Так-то, брат! Не ты один... — Он замолчал и повернулся к иллюминатору. Я знал, как выглядит Кирющенко в такие минуты горьких раздумий: глаза расширены, устремлены в пространство и ничего не видят перед собой, губы бескровны, лицо мертво... Он резко повернулся ко мне. — Собирай вещи, пошли на катер, Луконину медлить нельзя, вода поднялась. Да и тебе спешить надо, твое место там, где берут металл.

Он стал, как обычно, энергичен, решителен, напорист. Глядя на него, я понял, что начинается другая, трудная полоса моей жизни, вдали от Индиgирки, с другими людьми.

«Чкалова» мы нагнали у самого моря. Кирющенко ждала радиogramма с «Индиgирки». Луконин обидно коротко сообщал, что задание выполнено, пароход идет вниз по Индиgирке, буксируя баржи с коксом. Я читал эту радиogramму, заглядывая через плечо Кирющенко и ругая в душе капитана «Индиgирки» за отсутствие подробностей. Но ниже следовал текст, видимо, составленный самой Натальей, с пометкой «Для газеты». Радистка сообщала, что команда, выполняя задание, работала без сна трое суток. Пароход несколько раз садился на мель и его стягивали воротками, сооружаемыми на берегах. Вверху, у бывшего лагеря геологов, Луконину пришла единственно спасительная мысль перегородить две боковые протоки

брезентами. Вся вода устремилась в третью, главную, протоку, и пароходы и баржи прошли опасный перекат, даже не задев дна...

Кирющенко протянул мне листки с текстом Натальи.

— Это тебе... — сказал он и отвернулся, скрывая выражение своих глаз.

Я не удивился его чувствительности. Может быть, он еще не совсем научился тому, чего желал ему Рябов — проникать в наши души, и в этом смысле у него многое впереди, но мне давно была известна способность этого человека радоваться мужеству и стойкости своих товарищей.

## XI

С тех пор как я получил первую и единственную радиограмму от Натальи, прошло немало времени. Судьба журналиста перебрасывала меня с одного горного предприятия на другое. Я потерял связь со своими товарищами и почти забыл о них, когда однажды, на второй год войны, вновь услышал об Индигирке. Начальник отдела снабжения горного управления Филимонов позвонил в поселок, где я тогда находился, и сказал, что можно поехать на Индигирку.

— Дороги еще нет, — слышался его хриловатый голос сквозь трески неисправной линии, — нужно забросить продовольствие и технику для первых на Индигирке горных предприятий.

— Как же без дороги?... — перебил я и осекся.

— Спроси что-нибудь полегче... — Ко мне донесся едкий смех пополам с хрипами и тресками линии.

Я представил себе лицо Филимонова в тот момент: круглое, припухшее от вынужденной бессонницы, с колючим взглядом и совершенно бесцветными бровями, заметными только потому, что они были густы и, казалось, жестки, как щетина. На его долю выпал тяжелый труд, с которым справился бы не каждый: ему поручали забрасывать грузы в новые, только что разведанные геологами районы, как правило, без дорог, на автомашинах, тракторах, бульдозерах, самолетах. Он умудрялся самолично сбрасывать без парашютов с маленьких самолетов даже электролампочки так, что они оказывались целехоньки. Заранее сказать, как сделать то, что ему поручалось, ни он, ни кто-либо другой, никогда не могли. Объяснения приходили позднее, после того как дело бывало сделано, грузы лежали там, где им полагалось быть.

— Еду!.. — крикнул я в телефонную трубку, спеша рассеять сомнения начальника снабжения на мой счет, вызванные неуместным вопросом.

— Вечером выходи на дорогу, место в кабине для тебя оставлено. Когда вернемся, неизвестно; или грудь в крестах, или голова в ку-

стах...— деловым тоном, без малейшего оттенка патетики, сказал Филимонов. Трески и хрипы оборвались.

Нет еще и двух лет войны... Ожидание фронтовых сводок, тревоги и радости — от одной сводки до другой. Мелочи будничной жизни... Поездки с одного горного предприятия на другое в кабинах автомашин, на кучах угля, на лесовозах... Тяжкие разговоры в горных управлениях о критических корреспонденциях — критику любят только на словах... Радость встречи с каким-нибудь сильным по характеру человеком... И за всем этим неизменный вопрос: а что на фронте?.. Я и не знал, и не думал, что все эти месяцы войны геологические отряды продолжали разведку в верховьях Индигирки. И вот, пожалуйста, новое задание Филимонову...

Вечером я выйду на дорогу... А где сейчас мои давние товарищи? Федор пропал для меня бесследно, добрался ли он до фронта? Месяц назад, в марте сорок третьего ко мне дошло первое письмо Коноваленко в конверте с воинским штампом и номером полевой почты. Наверно, оно было похожим на тысячи других фронтовых писем, но меня оно потрясло. Коноваленко после ранения под Сталинградом вернулся в свою часть, воевал в разведроте в звании сержанта. «Очистим свою землю от погани, будь надежен,— писал он.— Вот уж не ожидал, что мне, Коноваленко, — ты же меня знаешь! — рано или поздно придется учить уму-разуму Европу. Справимся! И грешник сгодится...» Читая письмо, я как бы ощутил бег времени, даже дух захватило: Петр Коноваленко будет освобождать Европу! Кирющенко я видел последний раз весной сорок второго. Я принес ему заявление, мы тогда еще были рядом. Он сдержал свое слово, одну из необходимых рекомендаций выдал мне этот суховатый, но чистый и неподкупный человек. Я ничего ему не сказал — ни оправдаю доверие, ни благодарю за доверие, ни просто благодарю. Мне понадобилось усилие воли, чтобы скрыть волнение...

Время жизни и работы в Дружине ушло безвозвратно. Жизнь тогда казалась мне трудной и бесконечно сложной. Но как она была легка на самом деле! Легка потому, что я жил плечом к плечу с теми своими товарищами. Теперь мне часто приходилось один на один решать, что делать. Такова жизнь «собственного корреспондента». Постепенно я освоился со своим новым положением, наверное, стал самостоятельнее, взрослее и почти перестал тосковать по дружинникам. Только Кирющенко вспоминался в критические минуты и постоянно возникала мысль: «А что на фронте?» Мысль неотступная, как удары хронометра, неотвратимая и тревожная, как голос совести, как призыв к мужеству...

Вечером я шагал среди заснеженных отвалов пустой породы, громоздившихся по обе стороны дороги. От того места, где кончалась дорога, до Индигирки было почти четыреста километров гористой тайги. Как-то мы туда доберемся?..

Машины подошли в темноте. Яркие тонкие, как иглы, лучи прожекторов издали уперлись в меня. Машины остановились. Я подбежал к распахнувшейся дверце передней. Филимонов, усмехаясь, кивнул. Лицо его было совершенно таким, каким я представил его во время разговора по телефону: слегка опухшим, усталым.

— Влезай, — сказал он, — будешь третьим, все десять машин забиты, это тебе не курорт... Там, сзади, какой-то водитель знает тебя, — добавил он, когда я втиснулся в кабину и едва сумел захлопнуть дверцу.

— Может быть, — равнодушно сказал я. — Многие мне знакомы.

— Да, конечно, ты все время на колесах. — Филимонов махнул рукой. — Трогай!

Машина помчалась, как бы втягивая под радиатор золотистую в лучах прожекторов дорогу. Задул боковой ветер, неся струи поземки; точно вереницы белых мышей перебегали дорогу. Мы молчали, замороженные стремительным движением сквозь ночь. Поднялись на какой-то перевал, спустились в темную долину. Часа через полтора дорога кончилась. Водитель крутнул руль и осторожно съехал на времянку среди болотных кочек. Строители дороги проделали первую колею, забрасывая вдоль будущей трассы технику и рабочих. Потом мы покатали в извилистой, ослепительно сверкающей стеклянной галерее. Сначала я даже не понял, что это такое. Оказалось, обындивевшие ветви и стволы деревьев таежного ручья. За каждым поворотом русла возникали фантастические, как бы светившиеся изнутри, арки, колонны, баллюстрады...

Я сидел в кабине немного боком, иначе не помещался, и мне было видно, какой почти детской радостью светятся глаза Филимонова. Оказывается, он был не чужд ни романтике, ни красоте природы... когда нечего было делать. Говорить же с ним о посторонних вещах, когда он был обложен накладными, сметами, описями, было опасно, мог ответить грубостью, просто прогнать. Только со мной он еще сдерживал себя, понимал, что у меня тоже дело, но и я сам, узнав его, старался не попадаться ему под горячую руку.

Водитель, крупный, сильный человек, не поворачиваясь к нам, бесцветным голосом сказал:

— Говорите о чем-нибудь, а то и вы заснете, и я за рулем засну. Бывало такое. О чем-нибудь, лишь бы говорили...

Филимонов повернулся, видимо, внимательно посмотрел на водителя, опять стал следить за сверкающими выхваченными светом фар из черноты ночи деревьями.

— Знаешь, — сказал он, хоть и не глядя на меня, но явно обращаясь ко мне, — была у меня девушка...

Водитель неожиданно резко затормозил, и мы с Филимоновым ткнулись шапками в ветровое стекло.

— Ты что? — спросил Филимонов, поправляя шапку и взгляды-  
вая на водителя.

— Судорога... — лишь бы что-то сказать, промолвил водитель,  
видимо, как и я, пораженный филимоновским вступлением.

— Останови машину, да пойдй промнись, — сказал Филимонов, —  
так мы рожи себе в кровь поразбиваем.

— Прошло уже... — пробормотал водитель.

— Да, так вот, была у меня одна девушка... — продолжал  
Филимонов.

Водитель опять притормозил.

— Ты что, издеваешься, что ли? — спросил Филимонов совер-  
шенно серьезным тоном.

— Бугор... — смущенно пробормотал водитель.

— До сих пор и бугры были, и кочки, так ведь нормально еха-  
ли. Пойди промнись...

— Дороги-то нет... — нехотя сказал водитель. — Разве это дорога?

— Да... Девушка, понимаешь... Такая дивчина, скажу тебе, —  
помолчав, проговорил Филимонов, — с косами, Ниной звали...

Филимонов надолго затих.

— Померла, что ли? — не выдержал водитель.

Филимонов не ответил, каким-то странным, надтреснутым голо-  
сом продолжал:

— Воевали в одном отряде, в двадцать девятом году, басмаческую  
шайку ловили. В Ферганской долине. Стреляла не хуже меня, в сед-  
ле держалась по-кавалерийски, а сама была тоненькой, легонь-  
кой... — Филимонов опять замолк.

Я покосился на него. Он глядел прямо перед собой.

Водитель затормозил, наверное, тоже захотел посмотреть на  
Филимонова. Нас вновь кинуло на стекло.

— Да ты что, черт... — своим обычным, до последней нотки трез-  
вым голосом воскликнул Филимонов.

Водитель молчал.

— Ручей крутит... — пробормотал он с запозданием.

— Наскочили мы на засаду, — заговорил Филимонов, — положили  
коней... Рядом со мной стреляла, в горячке я и не заметил, как  
затихла. После боя поднял, не дышит уже... Пуля прямо в лоб, в са-  
мую середину. Не пряталась, стреляла до последнего вдоха... Жить  
мне тогда не захотелось, не знаю, как и выкарабкался, еле опомнился.

— Да, повоевали люди... — сказал водитель. — И там сейчас, на  
материке, наступление идет... А у нас ни тебе выстрелов, ни тебе  
сражений...

Мы надолго замолчали.

Как я заснул, не помню. Проснулся от сильнейшего удара голо-  
вой в ветровое стекло. Филимонова тоже ударило. Оба мы сползли  
с сиденья. Упершись руками в край стекла, сдвинулись на место.

Прямо против машины в каком-нибудь метре от радиатора ослепительно светилась мраморная в обхват колонна. Пригляделся, увидел, что это ствол лиственницы, забитый снегом. Вовремя мы остановились! Водитель сидел, привалившись к спинке и запрокинув голову.

— Дальше не поеду, — сказал он. — Заснул вместе с вами... Машину разобью, вас угроблю. Спать надо.

## ХИ

Мы молчали, все еще приходя в себя. Водитель был в том же положении, с откинутой головой, будто спал.

— Нет, поедешь, — вдруг зло сказал Филимонов, — еще как поедешь.

— Не поеду!

— Ну-ка, вылазь, — приказал Филимонов. И тон его голоса, и неправильно произнесенное слово говорили о том, что он готов сейчас на все.

Шофер рывком оттолкнулся от спинки, открыл дверцу, выбрался из-под руля на подножку и спрыгнул в снег.

Мы также вышли на снег. Сзади нас стояла вереница машин, длинные иглы света прорезали затихшую, припорошенную снегом тайгу, звонко разносились голоса людей.

— Что там у вас? — крикнул кто-то.

— Умоюсь и поеду, — ответил Филимонов без малейшего сомнения в голосе. — Ну-ка, давай... — негромко сказал он водителю и сам зачерпнул пригоршню снега.

Мы принялись ожесточенно «умываться» колючим снегом, вытерли намокшие лица шапками. Остатки сна слетели, я забрал в легкие побольше свежего воздуха. Хорошо!

Шофер не пытался протестовать, молча влез в машину. С шумом захлопнув дверцы, он слегка сдал машину, объехал лиственницу, и покатили дальше.

В середине ночи опять начал одолевать сон. Филимонов чертыхался, ерзал на сидении, и в конце концов, увидев в свете фар наспех сколоченную халупу дорожников, распорядился подвернуть туда. Лучи прожекторов выхватили из темноты развороченный вокруг гусеницами тракторов снег, обрывки стальных тросов, железные бочки с горючим, черные пятна, оставшиеся от костров, которыми разогревали моторы и коробки передач.

— Часок отдохнем и дальше, — сказал неугомонный Филимонов.

Мы вошли в халупу. Теплый спертый воздух, как вата, окутал нас. Кто-то чиркнул спичкой. Неверный огонек осветил вповалку спящих на замызганном полу людей. Начали пристраиваться, где могли, раздвигая спящих, бросая на пол кто чем богат — телогрейки,



тулуны, полушубки. Сон у меня пропал, я вышел наружу. Моторы заглохли, фары погасли, ночь скрадывала очертания машин. Люди разбрелись, кто куда — в халупу, в кабины машин, где грели неостывшие моторы. Лишь неподалеку от меня стояли двое и негромко разговаривали. Знакомые мягкие интонации голоса одного из них поразили меня. Я приблизился и заглянул в его лицо. Призрачный свет ночи, неизвестно откуда берущийся, обрисовал скуластое лицо с удлинненным разрезом глаз и широким переносьем.

— Николай! — воскликнул я. — Колька Данилов!..

Улыбка едва блеснула в темени его глаз.

— Узнал, однако... — проговорил он. — А я тебя давно приметил, еще как садился в машина.

Я крепко ударил его по плечу, он поймал мою руку, с силой сжал ее.

— И ты на Индигирку! — воскликнул я.

— Ну-у! — протянул он чисто по-северному. — Вторым водителем я. Главный на машина вот... — и Данилов кивнул на стоящего рядом высокого человека. — Как узнали, пошли на Индигирка. Свой река... Помнишь, дорога я хотел строить? А теперь водитель стал. Федя, — Данилов повел головой в сторону стоявшего рядом и до сих пор молчавшего человека, — сказал: «Зачем дорога строить? Давай дорога ездить, иди ко мне в помощники». Я сказал: «Ладна, будем ездить...» Он сказал...

— Федор? — перебил я, приглядываясь к его соседу.

— Я! Федор! — сказал тот.

— А ты же на фронт ушел?.. — вырвалось у меня. — Как же так? Ну, здравствуй...

— Здравствуйте, — холодно ответил он, но руки не подал. — Подзреваете, что сбежал? — спросил он, вглядываясь в мое лицо.

— Странный ты человек... — пробормотал я.

— Какой есть, — не замедлил с ответом Федор.

Данилов решительно вмешался в разговор:

— Федор сейчас сказал: «Он будет вспоминать старое...» Я сказал: «Неправда ты говоришь...» — Данилов приблизился ко мне, и, заглядывая в мое лицо, спросил: — Что будет?

— Коля, — проговорил я с решимостью, — пойди в машину, надо мне поговорить с Федором.

— Зачем тебе один говорить с Федором?

— Ну-ка, иди, иди, — сказал я. — Давай, жми!

Данилов потоптался и нехотя пошел к машине. Мы с Федором в темноте вглядывались друг в друга. Каким-то иным казался мне Федор, трудно еще было понять, что с ним произошло, но что-то в нем было иное, чем прежде. Может быть, стал собраннее? Что-то такое было в нем... Наверное, и Федор обнаружил во мне то, чего прежде не было, мне показалось, что он успокоился. Молчал он, молчал и я.

— Извини, — сказал я, — вырвалось как-то, сам не пойму...

— Все еще помнишь старое, — другим, спокойным тоном сказал он. — Не дошел до фронта, завернули, сказали — и у нас фронт... На водителя выучился. Услышал, что горные предприятия на Индигирке открываются, подался сюда... Ладно, хватит, поспать надо... — оборвал он себя, круто повернулся и размашисто зашагал к машине.

Так я и не узнал, что с Натальей. Из темноты появился Данилов, наверное, стоял где-то поблизости, ждал, может, придется вмешаться в случае необходимости. Эх, хороший парень! Как он оказался опять рядом с Федором, что их теперь соединяло?

Данилов с охотой принялся рассказывать. Машу и Грinya давно потерял из вида, что с ними, не знал. Сам он, Федор и Наталья с трехлетним сыном жили в поселке горного управления, где была крупная автобаза. В этом же поселке редактировал газету и Рябов, по старой памяти дружил с ними. Второй раз он не женился, Данилов объяснял это просто: на Севере женщин мало. А мне показалось сложнее, не хотел, наверное, Семен случайной связи... На Индигирку Федор жену не взял, сказал — когда устроится с жильем. Наталья согласилась.

— Вот как все была, — закончил Данилов рассказ обычной своей фразой. — Однако, спать пойдем...

Он отправился в машину к Федору, я вернулся в халупу. Растрезженный разговором, никак не мог заснуть. Только начали закрываться глаза, как Филимонов принялся будить нас. Хозяева, дорожники, матерились, молили господом богом и чертом поскорее убраться вон и не мешать им отдыхать.

Морозный воздух привел нас в чувство. Посветлело. Заря едва пробивалась в черни облаков. Тайга стояла сумрачная, седая от инея, как старинное серебро. Кое-как понатыканные деревья, болотные кочки, похожие на пеньки, прикрытые снегом, бурелом... Залезли в машины и, не мешкая, тронулись в путь.

След дорожников уходил вправо, к «прижимам» скалистого берега реки Неры. Там строилась дорога, в отвесных скалах виднелись черные пасти штолен, пробитых для закладки аммонала. Кое-где, припертые к скалам, стояли высокие лестницы, будто готовился штурм средневекового замка.

Нам надо было сворачивать в другую сторону, на лед Неры. Дорожники, как было условлено с Филимоновым, сделали для нас последнее доброе дело: соорудили временный мост через глубокий овраг, преграждавший путь к Нере. Миновать его — и мы, считай, на льду Неры.

Перед самым мостом водитель резко затормозил.

— Надо взглянуть, — сказал он.

— Пойдем, — согласился Филимонов.

Вместе с ними отправился к мосту и я. Мы прошли по накату

нетолстых бревен. От шагов наших бревна «играли», как клавиши.  
— Как тут ехать? — спросил водитель, останавливаясь посреди моста.

Впервые я присмотрелся к нему. Крупный, немного обмякший человек, припухшие, наверное, от бессонной ночи, щеки, унылые темные, как переспелая вишня, глаза. Толстые ноги, толстые руки с толстыми, темными от вьевшейся грязи пальцами — рукавицы он оставил в кабине.

— Что же ты думаешь делать, как выехать на Неру? — спросил Филимонов, не вступая в спор.

Водитель не ответил, сказал, глядя под ноги в щель между бревен:

— Жидковаты устои...

— Пойдем посмотрим, — с готовностью сказал Филимонов.

Мы спустились под мост. Водитель и Филимонов огляделись.

— Выдержат, — сказал Филимонов.

— Не поеду! — водитель мотнул головой. — Рисковать не хочу. И вы меня не заставляйте.

— Послушай, — просительным тоном, которого я никак не ждал, произнес Филимонов, — поедem. Прочно стоят, это же видно.

— Не могу рисковать.

— Да какой тут риск? — возразил Филимонов, глаза его засветились улыбкой. — Ну что ты уперся?

— Кого потом судить будут? Вас?

— Меня! — теряя терпение, заорал Филимонов. — Я тебе подписку дам, беру ответственность на себя.

— Ну да, поди потом, разбирайся... — Водитель опять упрямо мотнул головой.

— Послушай, прииски на Индигирке надо срочно открывать, там металл, пойми ты, — сказал Филимонов. — Нужно нам сейчас золото вот так, — он резанул рукавицей по вороту телогрейки. — Каждый просроченный день мы эскадрилью истребителей будем терять. Пойми ты.

— А что мне понимать? Жизнь дороже...

Водитель полез было наверх по откосу оврага.

— Да жизнь тут при чем? — крикнул ему вслед Филимонов.

Водитель остановился, обернулся.

— Обвалится, куда я из кабины денусь?

Мы поднялись наверх, у моста толпились водители с других машин.

— Я под мост встану, — сказал Филимонов. — Влезай в кабину, заводи, я встану под мост. Ну, по рукам, что ли?

— Не поеду!

— Сволочь! — как-то удивленно усмехаясь, сказал Филимонов. — Ну и сволочь!

— А что вы на меня?.. — чуть не плача, заговорил водитель. —

Кто вам право дал?.. Мост комиссией не принят... Никакого права...

К Филимонову приблизился невысокий парень в телогрейке и валенках с отвернутыми голенищами. Я узнал Данилова.

— Поедем, однако, — сказал он.

— Доброе утро, Николай, — сказал я, подходя.

— Здравова! — мягко ответил он.

— Твой знакомый? — улыбаясь не свойственной ему доброй улыбкой, сказал Филимонов и сейчас же, приобретая недоступный для простых человеческих чувств деловой вид, жестковато сказал Данилову: — Заводи, я расписку напишу и под мост встану.

— Расписка не нада. Зачем? Мы так поедем. Ты смотрел, сказал можна. Мы с Федором тоже сейчас смотрел. Зачем расписка? Старший водитель, Федор, поедет, я дорога буду показывать.

— Давай, топай, заводи, — сказал Филимонов, казалось, без малейшего чувства благодарности. — Веселей только, времени у нас в обрез. Если вода пойдет, присохнем в пути. Как-никак апрель на дворе. — Он вдруг рассмеялся, пряча в щелочки свои колючие глаза, и оглядел столпившихся вокруг него людей. — Как, братва, у нас говорят: девять месяцев зима, остальное — лето...

Ему ответили смехом, шутками, прибаутками.

### ХІІІ

Где-то в конце колонны взревел мотор. Тяжело переваливаясь между кочек, пошла в объезд машина. Филимонов сразу перестал смеяться, зашагал к мосту. На бревнах наката стоял Данилов и, взмахивая руками, показывал Федору, как надо выруливать. Мы столпились по обе стороны дороги, следя за тем, как, выбираясь из кочек, ползет к мосту машина.

Спуск к накату шел по наледи, вода замерзла огромной желтовато-молочной лепешкой с натеками льда. Машина медленно съезжала по льду. Сначала мы даже не заметили, что задние колеса ее намертво прихвачены тормозами и скользят, словно лыжи. Кузов вело то влево, то вправо. Федор отчаянно выкручивал руль туда-сюда, пытаясь подчинить себе движение машины. Данилову, стоявшему на мосту, не было видно, что задние колеса на тормозах, он решил, что Федор неправильно ведет машину, и, взмахивая руками, показывал, куда ехать.

— Права, права! — орал он. — Куда на край пошла?.. Права!

Машина выходила на мост немного боком, и мы поняли, что никакая сила не в состоянии изменить направления ее движения. «Вот сейчас выйдет на бревна наката, остановится, и мы всем миром уж как-нибудь развернем ее...» — подумал я.

Но тут произошло неожиданное. Данилов, испугавшись за товари-

ща, не понимая, что машина стала неуправляемой, кинулся ей навстречу, отчаянно крича: — Куда? Куда? Свалишь машина! Стой! Стой!..

Я понял Данилова: он был уверен, что Федор и на этот раз покаывает свой характер, «лихачит» на мосту.

Машина продолжала сползать к мосту, набирая скорость, и тогда Данилов, подняв руки, ринулся к передним ее колесам, скатившимся на бревна наката, стремясь отчаянным своим поступком заставить Федора остановиться. Еще мгновение, и Данилов был бы подмят скатами. Федор сильным движением выкрутил руль, и машина, наконец, подчиняясь его воле, миновала Данилова, ринулась к краю наката, на какое-то мгновение задержалась на обрезе бревен и рухнула вниз. Федор уберет Данилова, но времени на то, чтобы выпрыгнуть из кабины, ему уже не осталось.

Глухой удар, потрясший весь мост до основания, скрип перекрученного металла, грохот взрыва — все смешалось и на какое-то время потопило в хаосе звуков шум моторов и крики людей. Затем наступила тишина, сквозь которую прорывалось легкое потрескивание горевшего под мостом бензина. Ядовито-черный дым и смрад от вспыхнувшего тряпья окутал нас. Мы полезли под мост. Машина лежала кверху колесами, показывая небу свое брюхо с рычагами рулевых тяг и карданным валом. Переднее колесо, совсем не пострадавшее, медленно вращалось. Кабина и капот мотора были смяты, почерневший, облитый бензином снег горел. Филимонов первым достиг машины и стал выламывать искореженную, заклинившуюся дверцу кабины.

Федора с трудом вытащили. Все лицо его было залито ярко-алой на утреннем солнце кровью. Он медленно-медленно двигал распухшими синими губами, точно что-то беззвучно шептал. Умер он через несколько минут у нас на руках. Кто-то прикрыл телогрейкой лицо умершего с бурыми пятнами присохшей крови. Данилов сел на снег возле тела, и напрасно мы пытались увести его в сторону.

Полдня мы вытаскивали из-под обломков ящики с консервами и мешки с мукой и догружали машины. Сдерживая на тросах кузова, переправили машины по мосту, завернули труп Федора в брезент, привязали его поверх груза на нашей машине и помчались по льду Неры. Сидели в кабине и молчали, каждый про себя тая свои мысли.

Уже когда отъехали от моста километров пятьдесят, Филимонов заговорил:

— Смелый был парень... Поди ж ты, товарища спас, а сам погиб. Живем рядом с человеком и не знаем души его, пока не откроется она в беде. Да поздно бывает...

Что-то в его мыслях перекликалось с моими, было и страшно, и горько, и обидно.

— А как увидеть душу? — спросил я.

— А так...— сказал Филимонов с такою решительностью, с какою он обычно говорил только, когда был занят выполнением какого-нибудь своего сложного снабженческого дела. — Человеколюбивее нам быть, вот что я тебе хочу сказать... Кабы знать, я бы сам на мост вышел...

Водитель неожиданно тормознул, должно быть, от переживаний, и машина наша с ходу завертелась волчком на гладкой, как зеркало, наледи. Мы с Филимоновым расперлись руками в кабине на случай, если опрокинет. Не опрокинуло. Совершив несколько вальсообразных движений, машина замерла. Водитель откинул голову на спинку сиденья и закрыл глаза.

— Ты что, сдурел? — спросил Филимонов. — Бога благодари... Опять судорога? Ну-ка вылазь, промнись!

Водитель покорно и беззвучно сполз из кабины на лед. Мы тоже спустились на ледяное зеркало. Отражение машины в нем было похоже на цветную рекламную картину.

— Пронесло, — сказал Филимонов. — Считаю второй раз родились.

— Так вы же все торопите, скорей, скорей... — загнусавил водитель. — Говорите человеколюбие, а сами...

— Я бы тебе с удовольствием морду набил, — деловым тоном сказал Филимонов. — Жмешь шестьдесят миль в час, девяносто километров, и на гладком льду тормозишь. Кто так делает? Хватит проминаться, ну-ка, давай, залазь обратно, времени терять нельзя.

В кабине, продолжая свою мысль, обращаясь к водителю, Филимонов заметил:

— Человеколюбие совсем не в том, чтобы труса жалеть...

Водитель искоса взглянул на него и ничего не сказал.

Мне хотелось спросить Филимонова, что значит, по его мнению, человеколюбие, но я не стал перебивать своих мыслей. А вспомнился мне почему-то Кирющенко. Что он сейчас сказал бы? «А-а, журналист, — начал бы он с обычным своим напором. — Может, чего-то мы не сумели, недоделали... Но умер он человеком...»

— А в чем же все-таки? — с запозданием спросил я.

— Что ты? — сказал он, с трудом поворачиваясь ко мне в тесной кабине. Его мысли были, конечно, заняты делом: как найти на Индигирке нужный ручей, построить там склады, поставить палатки, и мало ли чем еще.

— В чем, по-твоему, человеколюбие? — объяснил я свой вопрос.

Глаза Филимонова спрятались в щелочки, он едко рассмеялся, сказал:

— Спроси что-нибудь полегче...

А Кирющенко все не уходил из моих мыслей. «Да, журналист, — продолжал бы Кирющенко, — бывали у нас ошибки, спору нет, были, но в главном мы все-таки оставались правы, время попусту не теряли. Вот чего не забывай!..»



К вечеру наши машины вкатили в поселок геологов Усть-Нера. Передали труп в морг больницы, составили акт о гибели Федора. Переспали несколько часов и в темноте раннего утра отправились дальше, на этот раз по льду Индигирки, потом по льду ее притока Ольчана. Вдали, ниже по Индигирке, долго еще был виден заснеженный хребет. Там, за горами, стоял затон Дружина, где начиналась моя настоящая жизнь...

В долину ручья мы добрались с трудом. Машины то упирались амортизаторами одна в другую и нахально пропихивали переднюю сквозь трехметровой мощности снежный надув, то подтягивали сами себя лебедками на тросах, учаленных нами за стволы матерых лиственниц, то приходилось строить временки-мосты через ямы под тонким льдом, обезвоженные зимой, пилить и рубить загородившие проезд деревья и бурелом...

Поздно ночью машины приползли к заброшенной таежной избушке геологов. Здесь поперек долины, как мы знали, и были пробиты разведочные шурфы, со дна которых геологи вытаскивали в бадейках синюжную глину — «пески», как ее называли, — содержащую россыпное золото. Мешки с мукой, ящики, какие-то тюки мы сгружали при свете ущербной луны, то и дело выползавшей из черно-лиловых от радужного круга, мятущихся туч. Пришли в избушку, уставшие до последней степени, перемазанные мукой, потные, с каким-то колючим мусором за шиворотом. Растопив печку, попадали на пол и заснули. Я спал без сновидений, как в черную яму провалился.

На другой день встали молчаливые, медленные в движениях, мысли о несчастье не покидали нас. Принялись строить склад. Я ошку ривал топором спиленные лиственницы и думал о Федоре. Вечером присел рядом с Даниловым на пол у печки, попытался завести разговор о будущем горном предприятии и о том, как важно было пробиться сюда. Хотел расшевелить и его и самого себя, говорить о чем угодно и не молчать, не таить в душе тяжесть. Но как я ни старался увести мысли Данилова в сторону от несчастья, он не захотел поддерживать моей хитрости. Был сумрачен и неразговорчив, и я тоже замолчал. Поздним вечером Николай вымолвил, что ему не дает покоя судьба Натальи. Я сказал, что Рябов, умевший жить для других, поможет ей перенести горе. Данилов молча кивнул. Мысль о Рябове немного успокоила нас обоих. Лишь утром на постройке склада Данилов как будто «отошел». Да и все повеселели. Дружная работа — лучший лекарь от горя людского.

А у меня на душе становилось все тягостней. Узнай я Федора получше там, в Дружине, больше бы судил самого себя. Запоздалое признание: жизнь не повернешь вспять...

---



Сканирование - Беспалов  
DjVu-кодирование - Беспалов





**54 коп.**

**• СОВЕТСКАЯ РОССИЯ •**